

СВОБОДНЫЙ
МОСКОВСКИЙ
журнал

ПОИСКИ

1

ИЗДАТЕЛЬСТВО

Детинец

1979

**СВОБОДНЫЙ
МОСКОВСКИЙ
журнал**

ПОИСКИ

1

**ИЗДАТЕЛЬСТВО
Детинец
1979**

Московская редколлегия журнала «Поиски»:

*Петр АБОВИН-ЕГИДИС, Владимир АБРАМКИН, Владимир ГЕРШУНИ,
Юрий ГРИММ, Раиса ЛЕРТ, Глеб ПАВЛОВСКИЙ, Виктор СОКИРКО.*

The Free Moscow Magazine "Poiski"

Issue No. 1 Moscow 1978.

Copyright 1979 by DETINETZ Publishing Corp.

Published by:

Detinetz Publishing Corp.

4330 48-th Street D-1

Long Island City, N. Y. 11104

U. S. A.

**Все права сохраняются
за издательством «Детинец»**

All Rights Reserved

Художник-оформитель ЛЕВ МАКСИМОВ

Printed by:

Russian Phototypesetting Corp.

243 W 56 St.

New York, N. Y. 10019.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Стр

Приглашение	1
Петр ПРЫЖОВ. <i>Третья сила</i>	3
СТИХИ, ПРОЗА, ДРАМАТУРГИЯ	
Борис ЧИЧИБАБИН. <i>Два стихотворения</i>	75
Юрий ДОМБРОВСКИЙ. <i>Ручка, ножка, огуречик...</i> Рассказ	79
Александр СЕДОВ. <i>Стихотворения</i>	95
М. ЛИЯТОВ. <i>Какой-нибудь Мендоса</i> . Пьеса	101
СЛОВО УЗНИКАМ АРХИПЕЛАГА	
Юлия Вознесенская. <i>Записки из рукава</i>	149
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАМЕТКИ	
Владимир ГЕРШУНИ. <i>Юбилей одного стихотворения</i>	207
«ПЕРЕКРЕСТОК»	
М. ГЕФТЕР. <i>Есть ли выход?</i>	215
Бернар-Анри ЛЕВИ. <i>Варварство с человеческим лицом</i>	255
КУЛЬТУРА	
Григорий ПОМЕРАНЦ. <i>Толстой и Восток</i>	275
Представляем сборник «Память»	285
Глеб ПАВЛОВСКИЙ. <i>Память и мы</i>	289
Нравственное значение неофициальной культуры в России. Материалы	
<i>конференции в Музее Современной Живописи</i>	
Вадим НЕЧАЕВ. <i>Нравственное значение неофициальной культуры</i>	305
Марк ПЕККЕР. <i>Ученые и «вторая культура»</i>	315
Ольга ПЕККЕР (СЛАДОВСКАЯ). <i>Памяти жертвам культа личности</i> ..	317
Священник о. Лев (КОНИН). <i>Предутренние сны России</i>	319
Татьяна ГОРИЧЕВА. <i>Держаться на высоте любви</i>	323
СОБЫТИЯ И СУДЬБЫ	
В. АБРАМКИН. <i>23 июля 1918 года...</i>	327
Открытое Письмо заключенных в Московской Губернской Тюрьме	
(Таганка) по делу «Рабочего Съезда». Публикация В. ГЕРШУНИ.	
Р. ЛЕФТ. « <i>На круги своя</i> »	337
В защиту П. Г. ГРИГОРЕНКО. <i>Открытое письмо</i>	352
Микола РУДЕНКО. <i>Последнее слово</i>	357
Десять лет «Хронике текущих событий»	363
Джордж ХЕЙФЕР. <i>Переводы</i>	365
Некролог	373
Открытое письмо в редакцию китайского независимого журнала	
«Искания»	
Репрессии против журнала «Поиски»	375
Репрессии против журнала «Поиски»	379

ПРИГЛАШЕНИЕ

Нашему замыслу соответствовало бы название, слишком длинное для журнала – ПОИСКИ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ. Нисколько не урезав замысел, мы сократили лишь название, и к участию в наших "ПОИСКАХ" приглашаем всех, кто за взаимопонимание. Всех, кто убедился, что нет ничего сейчас рискованней и неотложней этого: полного понимания, которого нельзя достичь, к которому не пробиться иначе, как совместной работой мысли, не ограничивающейся одной-единственной позицией, заведомым углом зрения, единственно возможным способом ставить вопросы и доискиваться ответов.

Сказанное, разумеется, чересчур общо. Призыв к взаимопониманию уместен в любое время и при любых обстоятельствах. Разве мыслимо такое время, когда отпадает нужда в понимании, поскольку на все вопросы уже даны окончательные, "исчерпывающие" ответы? Да и потребность во взаимности, в движении от многообразных начал к проблемам, жизненно важным для многих, если не для всех, – эта потребность, далеко не всегда и не всеми признаваясь, сегодня не покажется и новинкой. Призыв к взаимопониманию – либо общее место, либо он нуждается в разъяснении.

И тем не менее мы рискуем утверждать, что сегодня этот призыв ясен без долгих обоснований. Нам – в Советском Союзе, вероятно, это ощутимее, чем где-либо. Мы пережили с 1953 году целую полосу надежд и крушений, избывания старых и новых иллюзий. Надо полагать, это время дало многое, и не нам одним. Но теперь виднее, что оно, переломившись в 1968-м, пришло к концу. Теперь заметнее не только сделанное, но и то, что не сделано и сделано быть не могло. И это последнее не менее, если не более важно, чем первое. Глядя на собственные наши тупики, вложив персты в наши язвы – кто рискнет сказать с полной уверенностью в правоте: я знаю лечение, я вижу выход?! Каждая неувязка в отдельности, каждая несообразность, взятая врозь, кажутся устранимыми – было бы только желание, умение и "соответствующие люди на своих местах"... Но идет время, и все ощутимее, заметней: пропущенные в свое время возможности – самая неподатливая реальность сегодня, как и связь между всеми диспропорциями и напастями, как и

отсутствие "соответствующих", и беспомощность тех, кто желает перемен, не ведая, с какого бока за них приниматься, не накликав беды хуже нынешней. Тупики наши оттого и мысленные и нравственные – разрывы между поколениями и внутри поколений, которые, похоже, не только не сглаживаются, но делаются все глубже и раздражимей. И вряд ли оттого, что яснее стали ныне ответы, предлагаемые отдельными течениями и людьми. Скорее, наоборот: жесточенность, вражда – от застревания на чем-то первоначально отрицающем. Но даже и тут, в этом необходимо-критическом, клеймящем смысле мы оказались неспособны пробиться вглубь, к "причинам причин", дойти до корней трагедии, образовавшей эпоху, и до природы тупиков, составляющих русскую злободневность, уклад жизни и быт: самое простое и труднее всего выносимое.

Прежде говорили: не может быть свободен народ, угнетающий другие народы. Сегодня это следует дополнить и уточнить, сказав: не может быть ни свободен, ни уверен в будущем народ, притягивающий собою одним – своими успехами ли, глубиной ли своего отчаянья – определять всесветное будущее. Эта истина не так проста – и не только потому, что задевает государственные престижи, национальные самолюбия, претензии первенства, богатства, силы. Она отнюдь не проста и по существу.

Взаимная уступчивость и терпимость – превосходные качества. Право оставаться собой – великое право, становящееся новой международной нормой: суверенитетом Мира, где впервые за всеми народностями, за всеми человеческими сообществами признано право на независимость в решении своих внутренних дел, как и право на равную причастность к судьбам Мира в целом. Два права – нераздельных и вместе с тем все труднее совмещающихся.

Мир миров, стремящийся стать человечеством, – вправе ли мы попустить, чтобы "правом оставаться собой" распоряжалось многоликое насилие, всякое принуждение к единомыслию, любой владелельный запрет на идейные искания, на движение проблем, не знающих кордонов?!

Таковы самые общие основания к тому, чтобы сделать **поиски взаимопонимания** исходной позицией для совместной работы. "Только" поиски – оттого, что на пути к согласной встрече исходно разноначального не одни внешние препятствия. Поэтому мы приглашаем к дискуссии без ограничивающего регламента и с этой, сугубо предварительной заявкой, которая может стать более четкой программой лишь в процессе **поисков**.

ТРЕТЬЯ СИЛА

(Симптоматика новой Конституции)

Опубликованный четвертого июня 1977 года проект новой, четвертой по счету Конституции страны, кажется, и по сей день не оценен. Таким его, вероятно, утвердят и в роли Основного закона.

Одни заведомо и задолго приговаривали – знаем, мол, знаем, что это будет за "конституция"..! Прочие ничего не предполагали и едва ли помнили вышедшее полжизни тому (25 апреля 1962 года) постановление "О выработке проекта новой Конституции СССР". Те, кто все знал заранее, искали в проекте 4-го июня видоизменение все той же, сорок с лишним лет "действовавшей" Конституции 1936 года: не все ли равно, которая по счету выполняться *не будет?*.. А не ждавшие ничего заглянули в ее текст с мимолетной корыстью: нет ли прибавки к зарплате, не обещан ли третий выходной? Не записано ли, что пора прижать начальников и объявить коммунизм?.. Ничего подобного не находя, убеждались и они – все по-старому. Нельзя даже сказать, что кто-то был обманут в своих ожиданиях: как все и предполагали, ничто не меняется. На этом будто бы и стоит проект 4-го июня, подтверждая своим газетным говорком: не менялось и не изменится, не надейтесь: зато *мы* теперь можем *то*, можем *это*, а вот *вы* теперь попробуйте только – *не то*, пикните лишь – *не так!*..

Это заранее открывало путь и ожидавшейся критике Конституции и ожидаемому "всенародному одобрению": конституция *та же*, однако с некоторыми *изменениями* — в ту или в другую сторону. Спорят про то, в какую сторону изменений больше, в ту, чтобы *поприжать*, или в ту, чтобы немного *приотпустить*. Еще одна, неизбежная линия пересудов: *добавят* ли нам чего-нибудь еще по новой Конституции, или не добавят, а урежут и нынешний ассортимент..? Эта тема вполне позволительна всем и уже реализовалась, в ходе печатного "обсуждения".

После опубликования проекта критика с готовым мнением и одобрение с готовой корыстью, оба рванулись в прорытое русло. Скептики "знали", чего ждать — и нашли то, что знали. Согласные и не гадали, с чем предстоит "согласиться" — но, прочтя готовое, узнали в нем то, что одобрили бы и так. Не одно ли и то же критиковали скептики и одобряли "одобрители"? Да и как иначе: возможен разве спор о том, *чего не добавили* в Конституцию 36-го года? Неизвестно еще, вытерпит ли она любые "добавки": от такой, как уравнивать все зарплаты и побольше вешать, до такой, как даровать все свободы и побольше "выпускать"... А что нам ставить в пример: уж не саму ли третью, Сталинскую конституцию? И потому... ВСЕ ТО ЖЕ! — с уверенной гадливостью определяют одни и отворачиваются, — все то же, только еще глупее и злей.

ВСЕ ТО ЖЕ САМОЕ... — равнодушно перелистают газету другие — их большинство.

...ВСЕ ТАК ЖЕ? — *наверх*, а не в газеты глядя, озадаченно спросят трети.

— ТО ЖЕ, ТАК ЖЕ, спокойно работайте!.. — слышится *сверху*.

"ВСЕ ТА ЖЕ недостаточная ясность в трактовке основных гуманитарных прав... ВСЕ ТА ЖЕ неполнота их списка, хотя список увеличился... и ВСЕ ТА ЖЕ перегрузка граждан "*обязанностями*", список которых тоже увеличился, по сравнению..." Таковы голоса иноземные и, в сугубом меньшинстве, — местные (меньшинстве, приближающемся к небызывестной единице).

Но когда ВСЕ ТО ЖЕ столь безмерно, оно приобретает необъяснимые и странные свойства! С одной стороны, свойство *самоочевидности*: и тот, кто ни о чем, в сущности не осведомлен, заведомо верит, что происходит ВСЕ ТО ЖЕ САМОЕ; и тот, кто все — и новое, и старое — заведомо одобрит, не менее убежден: да, ВСЕ ТО ЖЕ! *Необъяснимо же и странно*: в чем это и когда мы стали *согласны*: — отвергающий и одобряющий, осведомленный — с неведающим и, по-

жалуй даже, с единственным распространителем разрешенных вестей, — официозом?

Правда ли, что у нас, в СССР ничего не происходит?

Правда ли, что в здешней немоте и беспамятстве, где водит людьми, их фразами и предрассудками прошлое, и не разобрать, то ли поумнело оно, то ли поглупело еще, — правда ли, что здесь царит одно лишь *вечное настоящее*, вечное *"все то же"* — без конца, без истоков и связей, не меняясь в своей основе? И можно ли освободить из *"всетожества"* хотя бы мысль, зрение — иначе, как проклятиями его *самоочевидности*?

Встреча, которой был удостоен проект *четвертой конституции*, Конституции СССР 1977 года, как бы отвечает на это — *нет*, не выйдет; очевидность сильнее нас! Предрешены все ответы — и ЗА и ПРОТИВ.

Не в этом ли бессилии перед упорством готовых ответов — вся магия Четвертой конституции? Если мы, в критике, в безразличии либо в хвале ей, равны самим себе, предпочитая не *"вглядываться"* — то и проект встречает нас во всем блеске и всеоружии своего *безразличия* к нашему мнению, нуждам, язвам и действиям. Впрочем, незаинтересованность тут напускная и ничего общего не имеет с пресловутым *"формализмом"* и *"бюрократическим бездушием"* — напротив! Нынешнее безразличие — неформально, оно даже не вполне бюрократично... Оно активно выражает себя сериями *правовых нововведений*. Кажущееся это безразличие исполнено живейшего *интереса* ко всему, что полагает государственной прерогативой, и потому нигде не оставляет людей наедине с их заботами.

Не нуждается ли самая эта *механика* в таком существенном звене, как внутренняя неизменность наших *"за"* и *"против"*? Не есть ли предрешенность ожидаемой от нас встречи новой Конституции — ее же родная, естественная среда тому неочевидному, что норовит она узаконить?

Сегодня, проходя вдоль фанерно-дюралевых и кумачевых метражей *ответа* ("*...Поддерживаем и одобряем!*.."), то и дело попадая в перекрестья радио-ответов ("*Не поддержим!*.. *Не одобрим!*.."), нельзя ли нарушить правила этой популярной игры? Не следует ли нам *ВГЛЯДЕТЬСЯ* И *ВСЛУШАТЬСЯ* в странное произведение, о котором все все знают, не читав — и без того, мол, ясно, что *"там"*. А там, пока всем все *"ясно как день"*, — идет напористая, скрытая, ладная перекройка всей правовой схемы прежней Третьей конституции. Без обоснований, без предувещаний, что *"устарело"*, — но при тщательном сохранении из прежней всего, — что

готово без возражений встать в *новый* порядок, *новый* Закон *нового* государственного строя СССР.

1

НОВУЮ КОНСТИТУЦИЮ СССР ВЫНАШИВАЛИ ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ.

Из них два-три года следует отнести на счет Преамбулы, согласно которой наша государственная традиция начинается в *послеоктябрьском* периоде истории СССР.

"...сохраняя преемственность идей и принципов Конституции РСФСР 1918 года, Конституции СССР 1924 года и Конституции СССР 1936 года..." (Преамбула)

О "преемственности" четырех конституций мы еще поговорим. А пока, нисколько не споря с Преамбулой, отметим лишь смелость заявления, будто "провозглашающий" Конституцию "советский народ" возник значительно позднее Октября 1917 года, от которого ведет свою родословную провозглашаемая в ней "советская власть":

*"В СССР построено развитое социалистическое общество (...)
Это – общество..., в котором возникла новая историческая общность людей – советский народ"* (ПРЕАМБУЛА)

Итак, нас заверяют в том, что шестьдесят послеоктябрьских лет – единственный контекст идей и принципов будущей Конституции.

Попробуем же не забыть об этом контексте. Тем более, что поначалу это нетрудно. Ведь первой же фразой своей Преамбула сообщает о

"государстве нового типа, основном орудии защиты революционных завоеваний, строительства социализма и коммунизма" (Преамбула),

–как результате Революции 17-го года. Что ж, возвратимся к первой пореволюционной Конституции РСФСР 1918 года (наиболее удаленная во времени точка поможет выявить и степень преемственности). Та как будто подтверждает заявление преамбулы о "государстве нового типа" – в статье 9-й:

"Основная задача рассчитанной на настоящий переходной момент Конституции РСФСР заключается в установлении (...) мощной Всероссийской Советской власти в целях полного подавления буржуазии, уничтожения эксплуатации человека человеком и водворе-

ния социализма, при котором не будет ни деления на классы, ни государственной власти”.

Естественно, возникает вопрос – раз государственной власти велено быть *орудием* целей, конституционно признаваемыми основными для всех – *то чьи* это цели и *чье* “орудие”?! Ведь поскольку есть “орудие”, то должен отыскаться и тот, *кто орудует: где он?* Кто устанавливает эту “мощную власть” или, говоря языком 1977 года, – “основное орудие”?..

На этот вопрос Первая конституция дает немедленный ответ – следующей же статьей. Хозяин государства, автор его целей – ОБЩЕСТВО.

“Российская Республика есть свободное социалистическое общество всех трудящихся России” (статья 10).

Итак, суверен Первой конституции и владелец государства – “общество всех трудящихся”. Республика – это общество. Но для Четвертой тот же вопрос – кто субъект, хозяин государства – не так прост. Оказывается, что этот вопрос “У КОГО СУВЕРЕНИТЕТ?” – неудобен для нее. И у этой заминки своя биография: уже Третья, сталинская конституция определила Союз республик как “социалистическое государство”; однако и для нее вопрос “ЧЬЕ?” – не стоял:

“СССР есть социалистическое государство рабочих и крестьян” (ст.1). Республика была обществом. Союз республик стал уже *государством*. Однако формально неизменной пока оставалась конституционная основа – *люди* в сообществе и труде. Но здесь-то новая конституция немеет, либо дает *разные* версии ответа в разных местах текста – причем *ни один* из них не соответствует ее действительному мнению.

Темнить начинает уже преамбула, хотя в ней и первенствует “общество”.. Может, оно и субъект?

“В СССР построено развитое социалистическое общество”: (...) Это общество подлинной демократии, политическая система которого обеспечивает эффективное управление всеми общественными делами, все более активное участие трудящихся в государственной жизни, сочетание реальных прав и свобод человека с гражданской ответственностью” (ПРЕАМБУЛА)

Даже народ обязан своим возникновением “развитому социалистическому обществу” – в чем, правда, есть доля мистики... Кроме того, если верить преамбуле Четвертой конституции, обществу принадлежит и *вся собственность*:

"Советская власть (...) утвердила общественную собственность на средства производства..." (ПРЕАМБУЛА)

Что же тогда государство? Преамбула постулирует в СССР "общенародное государство". При "развитом обществе", при "общественной собственности" и при том, что сам народ – внутриобщественное явление, – "общенародное государство" должно бы быть конституционным *орудием общества*, формой правовой, самоорганизации, а общество – хозяином государства, его суверенным распорядителем.

Однако преамбула – не статья закона, а лишь декларация о намерениях его. Обязательной силы у нее нет. Поэтому заглянем в ту главу проекта, где разбирается *социальная основа* государства – т. е. для трех прежних конституций, *основное* в нем. И вот первая странность, еще сравнительно неброский нюанс Четвертой конституции. Глава "ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО", *открывавшая* собой прежнюю, Третью конституцию – в проекте новой переключивалась с первого номера – на *третий*. На новом месте и название у нее стало расплывчатое: "СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И КУЛЬТУРА" – зато *предшествуют* ей теперь "ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (1) и "ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА" (2).

Действительно – странно, ведь только-только мы читали в преамбуле:

"Это – общество... политическая система которого обеспечивает эффективное управление всеми общественными делами...", как вдруг все перевернулось: приказчик оказывается впереди того, чьими делами он управляет. Место, однако, не довод. Не все ли равно, под каким номером числится суверенитет? – Да, но *где он, суверенитет?..*

Стоило перейти от "торжественной части" к статьям проекта, как исчезло начисто из виду то самое *развитое* общество. В самом деле, чем выражена его конституционная "развитость", что *она* вправе делать? Во всех статьях раздела *об обществе* (если доверять родной грамматике, вместе с ней задавая вовсе не провокационные вопросы: КТО ДЕЛАЕТ? ЧТО ДЕЛАЕТ?) действующее лицо *одно* – *государство*.

Статья 19 – "ГОСУДАРСТВО способствует..."

" 20 – "ГОСУДАРСТВО ставит своей целью..."

" 21 – "ГОСУДАРСТВО заботится..."

" 23 – "ГОСУДАРСТВО неуклонно осуществляет курс..." и, помимо того, "ГОСУДАРСТВО обеспечивает..."

Статья 24 – где так буквально и сказано, что *”В СССР действуют и развиваются ГОСУДАРСТВЕННЫЕ системы...”*, и *”ГОСУДАРСТВО” поощряет деятельность...”*

” 26 – *”ГОСУДАРСТВО обеспечивает и организует...”*, и, напоследок,

” 27 – *”ГОСУДАРСТВО Заботится”*.

Правда, наш список еще не полон – есть еще статьи 22 и 25.

Статья 25 позволяет добавить, что там, где в разделе прямо не действует государство – *никто* не смеет *”действовать”*, а только согласно неясной формуле *”существует”* (*”...существует единая система образования”*). В каких пределах протекает это существование, каков его конституционный статус, неизвестно, но и общество тут *”не при деле”*. Так же и статья 22:

”В СССР последовательно претворяется в жизнь программа превращения сельского труда в разновидность индустриального, расширения в сельской местности сети учреждений..., преобразования сел и деревень в благоустроенные поселки”.

Опять же – хотя программа резко затрагивает общество, само общество не упомянуто. Чья же программа, кем претворяется? Легко ответить, сравнив со статьей 19 того же раздела:

”ГОСУДАРСТВО способствует (...) стиранию существенных различий между городом и деревней...”

Следовательно, *”программа” – государственная*, а наш список – полон. Во всем разделе, трактующем основы общественного устройства – действующий субъект *государство*, только оно одно может осуществлять конституционно значимую общественную деятельность. Из девяти статей этой главы – четыре вообще не упоминают об обществе.

Но и наоборот! Общество, которое в преамбуле выступало *”развитым”* и провозглашалось основой политической системы, в третьей главе подпадает под надзор своего же *”орудия”*: статьи 19 и 27, обрамляющие весь раздел, признают общество *объектом воздействия* со стороны государства:

”Советское ГОСУДАРСТВО способствует усилению социальной однородности ОБЩЕСТВА...” (статья 19)

”ГОСУДАРСТВО заботится об охране и приумножении духовных ценностей ОБЩЕСТВА...” (статья 27)

Итак, в третьей главе Четвертой конституции нами выявлено три разновидности *”общественного устройства”*:

– либо действует государство, а общество *присутствует при государственной деятельности*;

- либо общество является *объектом* этой деятельности;
- либо оно просто *не существует*, а действует – неведомо кто.

Но такова лишь одна глава, – а ну, как пройтись по всему тексту? Чем обернулась при сопоставлении Третьей и Четвертой конституций обещанная "преемственность"..?

Поразительно: государство названо самостоятельным лицом только в *одном* месте Конституции 1936 года. И смешно сказать, что за место: в 6-й статье, где трактуется государственная форма собственности, мельком упомянуто про

"...организованные ГОСУДАРСТВОМ крупные сельскохозяйственные предприятия (совхозы, машинно-тракторные станции и т. п.)"

И – все? Все. Зато уж в Конституции 1977 года государству, начавшему "вести себя", есть где разгуляться: *двадцать пять раз* оно только *прямо утверждено* единственным автором общественной деятельности, чтобы в заключение *обязать* своих граждан оберегать его интересы.

"способствовать укреплению ЕГО могущества и авторитета" (статья 62).

Когда и как *орудие* "развитого социалистического общества" успело перенять у своих учредителей *их* суверенитет в *свою* собственность, и что это значит, понять нам пока нельзя. Но, в сравнении с богатством угодий государства, для которых в проекте избрана эпически описательная форма, бросается в глаза даже и *глагольная* неполноценность его граждан.

Если государство – "воспитывает" – граждане его, люди, личности "ОБЯЗАНЫ ЗАБОТИТЬСЯ о воспитании". Государство "обеспечивает охрану" – граждане "ОБЯЗАНЫ охранять", "ОБЯЗАНЫ беречь". Они даже не *управляют* просто и без всяких, но – стиль! – "ИМЕЮТ ПРАВО УЧАСТВОВАТЬ в управлении"..! Нюанс заметен, не правда ли? Только государство действует всегда и во всех случаях его необозримой компетенции, тогда как люди, общество, граждане, в сфере *их собственных интересов* имеют лишь сомнительное и осторожное "право" действовать – но чаще просто "обязаны действовать". Во всех случаях их "право", "долг" и "обязанность" трактуются государством, исходя из *его*, государства, приоритета. Чем же обусловлена активность самого государства, каковы основания его приоритета? Опосредованные никем, они обусловлены только Основным законом, провозгласившим государство самостоятельное и своевластное.

Могут возразить: дескать, лексика Четвертой конституции –

подробность, не такая уж и существенная. Трудно согласиться. Тем труднее, что отмеченные *формулы* Основного закона – *все сплошь* – нововведения, все сплошь являются *правкой* текста прежней, Третьей Конституции. Если такова "преемственность" Основных законов, то она *не в том*, что провозглашали *основным* три прежние конституции. Новизна внедряется именно за счет основного принципа, основного конституционного наследия Октября – за счет суверенитета ОБЩЕСТВА трудящихся, граждан. И наоборот – слабо редактировались статьи, которые перечисляют занятия граждан, сферы жизнедеятельности и государственные институты. Но и эти формулы в новом порядке Четвертой конституции превратились в ведомственные таблички у государственных подъездов.

Что же пытается сообщить "выправленный" текст? К чему сводится "фразеология", превращающая ОРУДИЕ общества – в его СУВЕРЕНА, в "первое действующее лицо"? Что значат конституционные "подлежащие", в целом, в их *совокупности и нераздельности*?. Рискнем удалить цветы пустословия и иные, к делу не идущие прослойки – и сблизить, согласовать между собой перечисляемые конституцией *государственные прерогативы*, НЕ МЕНЯЯ НИ ЕДИНОЙ БУКВЫ (ни даже падежей!). И вот на наших глазах возникает вмонтированная в проект Четвертой конституции

ХАРТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВОЛЬНОСТЕЙ

(В кавычки взят неизменный текст проекта новой Конституции СССР)

- Статья 69: "СССР – единое союзное многонациональное ГОСУДАРСТВО"
- " 74: "суверенитет" которого распространяется на всю ЕГО территорию";
 - " 74: "территория" которого "едина и включает территории союзных республик";
 - " 15: "экономика" которого "составляет единый народнохозяйственный комплекс, охватывающий все звенья общественного производства, распределения и обмена на территории страны"
 - " 25 и в котором "существует единая система образования".
 - " 3 "Демократический централизм сочетает единое руководство... с ответственностью каждого ГОСУДАРСТВЕННОГО органа и должностного лица за порученное дело".

Статья 1: "СССР есть социалистическое общенародное ГОСУДАРСТВО," в котором "построено развитое социалистическое общество".

Преамбула: "Это – общество, в котором созданы могущественные производительные силы", и, хотя

Статья 10: "Советская власть... утвердила общественную собственность на средства производства", сегодня они "ГОСУДАРСТВУ принадлежат".

" 9: "Основу экономической системы" государства "составляет социалистическая собственность на средства производства";

" 10: "основная форма социалистической собственности" есть "ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ".

" 9: "ГОСУДАРСТВО охраняет" свою собственность "и создает условия для ее приумножения", для чего

" 11: "ГОСУДАРСТВО содействует развитию колхозно-кооперативной собственности и ее СБЛИЖЕНИЮ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ".;

" 10: "В исключительной собственности ГОСУДАРСТВА находятся: земля, ее недра, воды, леса, ГОСУДАРСТВУ принадлежат основные средства производства,

Преамбула: (которые составляют "общественную собственность")

" 10: "промышленные, строительные и сельскохозяйственные предприятия, средства транспорта и связи,

" 50: ("возможностью использования" которых "гарантируется свобода слова, печати...")

" 10: а также "банки, торговые и социально-бытовые предприятия, основной городской жилищный фонд"

" 44: (которым государство обеспечивает для своих граждан "право на жилище").

" 24: "В СССР действуют и развиваются ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ здравоохранения"

" 42: – которой государство обеспечивает "право на охрану здоровья";

- " 24: *социального обеспечения,*
- " 43: *– благодаря которой "Граждане СССР имеют право на материальное обеспечение"*

Статья 24: бытового обслуживания, общественного питания и коммунального хозяйства. ГОСУДАРСТВО поощряет деятельность... в области обслуживания населения".

- " 13: "Источником роста общественного богатства", приумножающего
- " 10: "ГОСУДАРСТВЕННУЮ собственность",
- " 13: "является свободный труд советских людей". Поэтому "ГОСУДАРСТВО... способствует превращению труда в первую жизненную потребность советского человека".
- " 40: "Граждане СССР имеют (...) право на выбор профессии, рода занятий и работы... с учетом общественных потребностей"; ;
- " 39: но поскольку "использование гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб интересам общества и ГОСУДАРСТВА", то
- " 4: "ГОСУДАРСТВО, все ЕГО органы берут на себя "охрану... интересов общества".
- " 21: "ГОСУДАРСТВО заботится об улучшении условий труда"
- " 23: следующим образом: "ГОСУДАРСТВО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ курс на повышение:
 - а) "уровня оплаты труда", при том, что оно же,
 - " 13: *– Государство осуществляет контроль за мерой труда;*
 - " 23: б) "...реальных доходов трудящихся" при том, что именно
 - " 13: *– "ОНО определяет размер налога на доходы;*
 - " 23; в) "...в соответствии с ростом производительности труда", причем именно
 - "ГОСУДАРСТВО обеспечивает рост производительности труда".*

Прембула: "Высшая цель Советского ГОСУДАРСТВА – построение коммунистического общества".

Статья 14: "Высшая цель общественного производства при социализме – наиболее полное удовлетворение растущих материальных и духовных потребностей людей",

- ” 23: ”в целях более полного удовлетворения которых”,
- ” 13: ”ГОСУДАРСТВО, сочетая материальные и моральные стимулы, способствует превращению труда в первую жизненную потребность”.
- Статья 19: ”ГОСУДАРСТВО способствует усилению социальной однородности общества”, для чего оно же,
- ” 27: ”ГОСУДАРСТВО заботится об охране и приумножении духовных ценностей общества”, способствуя
- ” 19: ”стиранию существенных различий между городом и деревней, умственным и физическим трудом”.
- ” 23: ”Создаются общественные фонды потребления. ГОСУДАРСТВО обеспечивает рост и справедливое распределение этих фондов”.
- ” 20: ”В соответствии с коммунистическим идеалом... ГОСУДАРСТВО ставит своей целью расширение реальных возможностей... развития личности”.
- ” 47: ”Гражданам СССР в соответствии с целями коммунистического строительства гарантируется свобода научного... творчества.(...) ГОСУДАРСТВО создает необходимые для этого материальные условия”, тем, что
- ” 26: ”ГОСУДАРСТВО обеспечивает планомерное развитие науки”
- ” 72-5: ”определение основных направлений научно-технического прогресса”,
- ”130-1: ”проведение единой политики в области науки и техники
- ” 72-5: ”Введению СССР в лице его высших органов ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ и управления подлежат: (...) разработка планов развития... и социально-культурного строительства СССР”,
- ” 39: ”по мере выполнения” которых государство ”обеспечивает расширение прав и свобод”.
- ” 59: ”Осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения гражданином своих обязанностей”.
- ” 62: ”Гражданин СССР обязан оберегать интересы Советского ГОСУДАРСТВА, способствовать укреплению ЕГО могущества и авторитета.
- ” 66: ”Граждане СССР обязаны заботиться о воспитании детей”, ибо
- Прембула: ”воспитание человека коммунистического общества”,
 ”построение” которого есть ”высшая цель... ГОСУДАРСТВА”; –

включено в "ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВА", которое

" 53: "оказывает помощь семье".

"Семья находится под защитой ГОСУДАРСТВА".

Статья 130: "Совет Министров СССР (...) осуществляет меры по защите интересов ГОСУДАРСТВА и "обеспечению ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ".

х х х

Невозможно сказать, что все это — один только "стиль", а не новая, неслыханная в праве концепция Государства. Трудно признать случайностью десятки "обмолвок", все до единой в общем духе: СССР — не страна, населенная людьми, не народ граждан, не трудовое общество, а монолитный и безлюдный организм, сверхчеловеческое Государство, живущее отдельно от своих граждан и дарующее им "от себя" право жить и работать. Экономика, общество, труд, семья и культура, все многообразие человеческого мира намертво схвачено *одним* только людским изобретением — одним из самых опасных: государством, органы которого своевольны и вправе заниматься тобой в любом аспекте твоей жизни. Это оно, Государство, всех объединяет, обо всем заботится, всем распоряжается, всех использует и за всех решает.

Но в чем же состоит эта его деятельность, чем она отлична от нашей, человеческой? В чем принцип государственной всепричастности? Почему граждане обязаны только работать и неусыпно блюсти авторитет государства, тогда как оно само занято таинственным и непознаваемым "строительством коммунизма"? Что за странное разделение труда? И каким образом успевают государство совмещать строительство своего "коммунизма" с контролем за мерой труда и потребления, охраной семьи и многая, и многая... Третья конституция ведь такому "упрощению" не поддается не потому, что она "лучше, а потому что, искренне или нет, она вынуждена была основываться на *другом принципе* — на октябрьском принципе общественно-трудового суверенитета.

Основываясь на утопленной в проекте "хартии государственных вольностей", естественно предположить: Четвертой конституцией собираются провозгласить СУВЕРЕНИТЕТ ГОСУДАРСТВА — *НАД ОБЩЕСТВОМ И НАРОДОМ* но значит ли, что "государство над обществом" у нас — это "деспотическое государство"? В банальности этой — тайна. И что, у нас же, значит — "общество"?

Наконец, нам возражат. Самое первое и очевидное из возражений — ПАРТИЯ. Есть партия, понятие которой теснейшим образом связано у нас с понятием власти — власть — только в партийном владении и применении, истолковании. КПСС — хозяин власти. Больше того — скажут нам — самовластное государство и НЕВОЗМОЖНО.

Невозможно судить о политической жизни и строе СССР, не обратившись к его идеологическим целям, хранителем и толкователем которых призвана быть партия. Как *общественная организация*, партия, доколе она есть, исключает угрозу отрыва государственных органов от общества, являясь "намордником" на аппарате истребительных средств. Но тогда, выходит; и критика наша вся впустую: нет у нас своевольного государства, раз нет, и быть не может в СССР *ничего не зависящего от партии*, каковая (читай "Устав КПСС!") СУЩЕСТВУЕТ ДЛЯ НАРОДА И СЛУЖИТ НАРОДУ!..

Серьезное возражение. Его не отвести простой демонстрацией неощутимости результатов такого партийного "заступничества". Недостатки конституционной практики — еще не аргумент против самой конституционной модели.

...Если *такая* модель *есть*.

И поскольку она является *конституционной и уставной*. Вот это мы сейчас и рассмотрим.

2

ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ КОНСТИТУЦИИ (1918, 1924 гг.) МОЛЧАТ О ПАРТИИ и ее "роли". В них нет и такого понятия, даром что обе провозглашают целью общества трудящихся социалистический идеал. Единственная статья Первой конституции, на основе которой допускается возникновение и действие партий — и не одной коммунистической, а любого их числа, — гласит:

"В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы союзов РСФСР... оказывает рабочим и беднейшим крестьянам всяческое содействие, материальное и иное, для их объединения и организации" (ст. 16).

Если и мыслима тут "руководящая роль" той или иной партии, — это *общественно-политическая роль* — та, которую невозможно "закрепить" законом. Ведь роль партии в качестве *общественной* организации может быть сохранена только *общественными же* усилиями и стараниями ее привлечь на свою сторону активную часть общества.

Конечно, и тогда уже эта конституционная версия была в разладе с переходом главных прерогатив власти к РКП(б), не разделенной со слабеньким в ту пору советским аппаратом. Но и этот переход развивал общую с Первой конституцией исходную формулу, где общество — *неограниченный* ни в чем революционный субъект, тогда как партия — его революционный авангард.

Олицетворяя государственную и правовую неограниченность советского общества, партия столь же неограниченно руководит государством. Но — как руководить, *через что?*

Подобно ли *общественной* организации, *через* общество и его волю влиять на деятельность госаппарата? Или наоборот — используя политическую систему, пытаться воздействовать *на* общество, на его волю средствами государства? Останется ли она тогда *партией общества, его "частью"*?

Конституция 1936 года *упредила* эти вопросы. Конституция "узаконила" ВКП(б) — КПСС в советской системе, упомянув, наконец, о партии именно в статье-наследнице той, что в 1918 году предоставляла трудящимся "свободу союзов" (16 статья Первой конституции). Но теперь эта свобода гораздо *уточнилась*.

В соответствии с интересами трудящихся и в целях развития организационной самостоятельности и политической активности народных масс гражданам СССР обеспечивается право объединения в общественные организации... (далее перечислялось, в какие именно), "...а наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса и других слоев трудящихся объединяются во Всесоюзную Коммунистическую партию (большевиков), являющуюся передовым отрядом трудящихся в их борьбе... и представляющую руководящее ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных" (статья 126).

"Свобода союзов" ужесточается *перечнем* таких "добровольных организаций", в которые *можно* объединиться: ВКП(б) мыслится как предел возможных будущих объединений.

Заметим и то, что партия пока еще состоит из *граждан*: "граждане объединяются". Тем самым статья формально отводит ей *конституционную* роль добровольной организации граждан, управляющей государством, не покидая пределов общества. Хотя, разумеется, есть многообещающий зачин в том, что какая-то добровольная организация исключает в дальнейшем появление себе подобных "*наперед*", будучи "высшей формой" из всех.

Здесь таилась директивная недоговоренность — родная стихия всех творений И. В. Сталина. Ведь традиция Октября с ее тол-

кованием партии как "элиты мировой революции" внутри России уже к тому времени была объект преодоления. Язык был у нее отнят и отдан другим, чтобы те скрывали им *свои* мысли. В самом деле: что такое конституционно признанный "авангард", — если не то, что партия, которой дано руководить всей жизнью страны, сама внутренне изъята из компетенции *права*?! Конституционная норма Тридцать Шестого года начинается "по ту сторону" внутрипартийной жизни, не имея к ней никакого касательства — но именно *изнутри* партии ее должны направлять. Узаконенный "авангард" становится незаконным контролером конституционного порядка, определяемого *помимо права*.

В сравнении с этим даже такие "откровенные" понятия послеоктябрьского режима, как "революционное правосознание" и "классовое чутье" были безобидней, не годясь для постройке '*устойчиво противоправной ситуации*. Той впору пришелся параллелизм "законности", которая все "укрепляется"... и "руководящей роли партии", которая все "повышается"... *по ту сторону законности*. "Закон" есть просто регламент, ведомственный распорядок карательных органов, но есть "выше закона", что легко обратимо *во вне* закона. Стоит лишь снять экстерриториальность партии в стране (как это было сделано в 37 году) — и произвол внутри партийной жизни становится бытом и повседневной нормой для всей страны.

"Конституционность" строя формально кончается вслед за избранием его органов! Граждане государства фактически избирают *не* органы управления, а передаточный механизм неограниченной власти партии над собой, не демократическое руководство государства, а *аппарат руководящей роли* ВКП(б). Политический строй раскалывается надвое: есть законность, ограниченная волей авангарда — и авангард, ограниченный не зависящим от него "аппаратом руководящей роли". "Руководящая роль", приобретая абсурдный, — абстрактный смысл — откалывается от партии и, *возобладав над нею* — заправляет и ею, и всеми, и всем, разлаживая всякую *управляемость* государства.

Сохранить и упрочить такую управляемость в общих интересах (и свою же безопасность в правовых рамках) партия могла путем достижения и поголовного признания конституционного правопорядка, включив, наконец, и себя саму в этот правопорядок на общих со всеми — общественных — основаниях. Но, разумеется, невозможно укреплять "правопорядок", сохраняя за оградой "авангард", внутри которого раздувают пожар борьбы с "оппозициями". Третья конституция возносит государственный аппарат "руководящей ро-

ли” на тот уровень недостижимости, где прежде была только одна партия. И партийный аппарат однажды оказывается слабейшим партнером карательного. Ничто теперь не может помешать тому, чтобы группы функционеров, расколотые как граждане, в обход перепуганного большинства сплотились как анонимный, внутриаппаратный сброд. С тех пор главным и наивернейшим толкователем партийного “учения” и “руководящей роли” является аппарат ОГПУ-НКВД.

Столь чтимая этим учением ПРАКТИКА выдала истину сталинского преодоления революции — через катастрофу. Нет ни одного уголка страны, звена экономики, ни одной судьбы, наконец, не задетой прямо или косвенно: все несет в себе шрамы, язвы, осколки и другую память о ней, признают ее катастрофой или не признают. И четверть века спустя коренной из *основ* всей жизни СССР остается то прошлое, которое вытравляют из памяти, — но которому предоставлено исключительное *право решать все вопросы этой, сегодняшней жизни*. В монополии прошлого — руководящий *политический* центр партии и государства, а также “учет и расстановка кадров” — *своих кадров*.

Дети должны гордиться прошлым и воспитываться на его *примерах*. Но ведь их воспитатели, родители и учителя — ни *номера* не получают в библиотеке газет и журналов с *теми* “примерами”, — за те самые годы, которыми должно гордиться: ни за 19-й, ни за 25-й, ни за 37-й или 47-й год: потому что опыт *учтен без людей*, расплатившихся за него — он “учтен” теми, кого катастрофа швырнула “наверх”, избавив от всякого опыта. Извлекать из нее “исторические уроки” предоставлено *им* — тем, кто ей обязан всеми “успехами в личной жизни”.

И что же они *извлекли*?

Проект новой Конституции 1977 г. Те же — государство, партия и народ. “Революция” вышла из игры в преамбуле — и больше не упоминается. Партия стала “авангардом всего народа”, а государство “всенародным”, возрастание руководящей роли КПСС, следовательно, не означает ничего другого, кроме как — ПАРТИЯ УПРАВЛЯЕТ ВСЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СТРОЕМ. Развернулось это в интереснейшую Шестую статью новой Конституции:

“Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, всех государственных и общественных организаций является КПСС. КПСС существует для народа и служит народу. Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную перспективу

развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой созидательной деятельностью советского народа, придает планомерный, научно обоснованный характер его борьбе за победу коммунизма”.

Прежде всего, текст Шестой статьи – не отсебятина! Это выдержка из *партийного устава*, без всяких почти изменений перенесенная в новую Конституцию СССР.

Устав КПСС гласит:

”Партия существует для народа и служит народу. Она является высшей формой общественно-политической организации, руководящей и направляющей силой советского общества. Партия руководит великой созидательной деятельностью советского народа, придает организованный, планомерный, научно обоснованный характер его борьбе за достижение конечной цели – победы коммунизма”.

Текст ”хрущевского” Устава соединен с положениями прежней, 126 ”сталинской” статьи и чуть-чуть отредактирован, превратившись в 6-ю статью ”ничьего” проекта. Но ведь нам интересно именно ”чуть-чуть”...

Первая ”мелочь” – место. Недурен скачок: со 126-й – на 6-ю, на сто двадцать статей вперед! Однако не место здесь самоцель. ”Большой скачок” положения о партии переносит его из главы X – ”Основные права и обязанности граждан” (в *обход* главы 3-й, трактующей роль общества) в 1-ю главу: ”Политическая система”. Главное же – *от чего ”освобождает”* партию новая конституция – от самого понятия права.

Определение Коммунистической партии теперь вовсе *отделено от права* граждан СССР ”объединяться в общественные организации”. Теперь это две *разных* статьи, два нигде не пересекающихся понятия. Отсюда следует, что:

– членство в КПСС отныне – согласно Конституции – отнюдь не осуществление гражданской ”свободы союзов”, а *нечто иное*;

– и сама КПСС отныне – согласно Четвертой конституции – отнюдь *не того рода* организация, какие граждане СССР *вправе создавать*, на основании самой Конституции, ее 51 статьи – ”в соответствии с целями коммунистического строительства...” Партия *нечто иное*. Ее основы и даже ее понятие вынесены за рамки Основного закона, но сама она поставлена над ним.

...Позвольте, позвольте, – скажут, – КПСС и не нуждается в конституционном вмешательстве в ее основы, поскольку партия – ”форма общественно-политической организации”. Она-то ведь не

государственный институт — *добровольный союз единомышленников...*”

— А вот, оказывается, что — *нет*. Было говорено выше про выдержку из Устава, что та *ПОЧТИ* без перемен вошла в проект: уточним теперь это “почти”. Вот что: *ни* в Шестой статье, *ни* вообще где бы то ни было в Четвертой конституции партия не упоминается *ни как общественная организация, ни как организация добровольная, то есть — договорная*. Это подытоживает и подтверждает неслучайность отрыва понятия КПСС — от “права на объединение”...

— Да, только есть ведь на то ее Устав?! А в Уставе четко сказано...

— Четвертой конституции *неизвестно*, есть ли у КПСС какой-то “устав” и останется ли таковой в будущем. Вот еще одна неслучайность разграничения “партии” — и “орщественной организации”. Последняя, в *отличие* от КПСС, *обязана* быть *уставной* — и это в Конституции заботливо оговаривается *трижды*:

Статья 7: “Профессиональные союзы, ВЛКСМ, кооперативные и другие массовые общественные организации в соответствии со своими УСТАВНЫМИ ЗАДАЧАМИ участвуют в управлении государственными и общественными делами, в решении политических, хозяйственных и социально-культурных вопросов”.

Статья 11: “Собственностью профсоюзных и иных общественных организаций является имущество, необходимое им для осуществления УСТАВНЫХ ЗАДАЧ”.

Статья 51: “Общественным организациям гарантируются условия для успешного выполнения ими своих УСТАВНЫХ ЗАДАЧ”.

Видите, нельзя сказать, что Четвертой конституции совсем неизвестно понятие об уставных организациях... Оно пропадает из ее словаря лишь там, где речь пойдет *о партии*, что особенно рельефно в сравнении “соседа”, — Шестой и Седьмой статей. Седьмая — об условиях участия “массовых общественных организаций” в управлении (кстати — лишнее подтверждение того, что КПСС — НЕ из их числа!) — оговаривает такое участие уставом, Шестая тут же, трактуя то же, но для КПСС — об уставе молчок.

— А что же сам Устав КПСС? — И там *нигде* не сказано, что партия или ее члены “обязаны соблюдать Конституцию СССР”.

Так же, как Конституции ничего неизвестно об Уставе КПСС — так и Уставу неизвестно понятие *Основного закона СССР*, ни даже о существовании его.

Что же Конституция понимает под словом "партия"? Ответ легко получить *сличением* формул Устава и Конституции – 77.

Устав КПСС 1961 г.: "Она является ВЫСШЕЙ ФОРМОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, руководящей и направляющей силой советского общества".

Конституция 1977 г.: "Руководящей и направляющей силой советского общества, ЯДРОМ ЕГО ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ... является КПСС".

Простейшего взаимоналожения достаточно, чтобы узнать: ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, бесследно сгнув, обернулась непостижимым ЯДРОМ ГОСУДАРСТВА! Разве не тщетны были принятые нами розыски примет общественной природы КПСС (уставных задач, добровольности, гражданскости, обязанностей перед правопорядком), если под старым именем "КПСС" – совершенно ДРУГОЙ ПРАВОВОЙ СУБ'ЕКТ, с изменившейся природой и отношениями к населению и строю Союза ССР..? Да и как могла бы партия быть "ответственной" перед Конституцией внутренне (Устав) или внешне (4,6 статья), когда по природе своей действует *не в пределах* политической компетенции общества СССР (как прочие, уставные организации), но сама определяет эти пределы в качестве неопределенного "ядра" *неограниченного государства* – и действуя от имени государства!.. Одной общественной организацией стало меньше – но и ни одного государственного института не прибавилось: что же такое партия?

Оттого и Конституции СССР ни к чему знать Устав КПСС, что для конституционного строя партия – не организация, а *вышестоящий начальник*.

Но у дела есть и другая сторона. Пункты партийного устава отныне включены в конституцию государства. Теперь они даже формально перестают быть некими "общими убеждениями единомышленников" – это параграфы Закона, *обязательные для всех*. Ибо –

"Гражданин СССР ОБЯЗАН СОБЛЮДАТЬ Конституцию СССР" (статья 59).

Надеюсь, это – достаточно убедительное доказательство того, что партии, как "добровольного союза единомышленников", *т. е. партии* в собственном и общепринятом смысле слова – больше не существует, даже не может быть. Зато *все* граждане СССР, со дня одобрения Конституции 1977 года этим самым вступают как бы в

обязательное коллективное членство в КПСС. Членство особого рода — с обязанностями перед Уставом партии, но без права голоса во внутрипартийных — ОНИ ЖЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ! — делах. Желаящие быть лояльными, обязаны разделять партийные убеждения не "идейно", а в виде законодательных норм; при этом их "...право участвовать в управлении государственными и общественными делами" (ст. 48) становится призрачным. Ведь гражданин СССР может войти внутрь "ядра политической системы" СССР (без чего какое "участие?!") — даже не как депутат Верховного совета и не как советский служащий, но только как **ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ЧЛЕН КПСС**.

Кстати, то же и с *государством* — и оно, согласно Четвертой конституции, вступило в КПСС, поскольку

"Государственные учреждения, общественные организации и должностные лица обязаны соблюдать Конституцию СССР..." (статья 4),

а Конституция, в свою очередь, содержит в себе *уставные задачи*. И это, увы, не шутки, а "революция права".

Когда член КПСС, не согласный с пресловутыми пунктами Устава, выступает *против них*, то самое тяжкое формально возможное ему наказание — исключение из партии. А если так поведет себя гражданин СССР по отношению к *этим же пунктам* — но ставшим Основным законом..? Самое мягкое, на что он даже *формально* вправе рассчитывать — "до трех лет" ...Может ли в этом случае сохраниться в СССР *гражданская, т. е. советская* основа государства? Разумеется, нет — проект Основного закона 1977 года *формально* отменяет и ее:

Как не существует в нем общественной партии, так нет и гражданского государства.

Вытекающие отсюда новшества не менее разительны и для самого члена КПСС. Конечно, и так "добровольность" его членства — без права на добровольный *выход* из "добровольной организации" — весьма условна. Но зато уж теперь она отменена совсем. Попросту — немыслимо, чтобы граждане "добровольно вступали в ЯДРО..." или "добровольно объединялись в ЯДРЕ государственного строя". Этого не вынесет ни русский язык, ни даже всеприемлющее наше "политическое мышление". И вовсе не помыслить в установившихся понятиях добровольный *выход из ядра политической системы* — как это назвать, — что это, если не *ослабление и подрыв ядра системы*, той самой системы, авторитет коей гражданин конституционно обязан охранять и укреплять?

С членом КПСС происходят удивительные приключения. Проект Конституции ни прямо, ни косвенно не признавая реальности Устава КПСС, ухитрился тем не менее *пересмотреть* ключевое положение Устава. Без всяких там партсъездов (не поминаю уж о злополучной Программе!) — член партии, как *лояльный гражданин*, именем Основного закона СССР *перестает быть членом общества и гражданином*, он переносится в мир других отношений, другого права. Но, думается, он не вправе роптать. Ведь "членство КПСС" становится теперь конституционной *привилегией принадлежать к ядру государства*.

"Членство в КПСС" — не то же, что "гражданство СССР", а *много больше*. Потому, между прочим, из положения о партии исчезли слова, применяющиеся еще в Третьей Конституции:

"граждане... добровольно объединяются в Коммунистическую партию Советского Союза" (статья 126).

НЕ "граждане", а члены КПСС, и НЕ "добровольно объединяются", а — принадлежат к ядру. То, что дарование такой привилегии обычному гражданину — как и отнятие ее, — не регламентируется Законом (как внутреннее дело самого привилегированного сословия) — есть *норма всякой привилегии*, ее суть — в отличие от *права*.

Возможен ли теперь ВОПРОС О "правах" В РАМКАХ конституции, как он был хотя бы ВОЗМОЖЕН в рамках Третьей?

Что в сравнении с этим вся прочая начинка 6-й статьи? Вздор, пустяки, не стоящие спора. К примеру — нужно ли было составителям Конституции специально оговаривать, что *не* Верховный Совет СССР, правомочный "решать все вопросы, отнесенные настоящей Конституцией к ведению Союза ССР" (статья 106), — а — ПАРТИЯ определяет, ...линию внутренней и внешней политики СССР (статья 6).

Ведь это ведет к явному абсурду, утверждая, что *внутренняя и внешняя политика независимого государства — не им определяется, не в его ведении?* Зачем, — если и без того ясно, что КПСС

а) как ВНЕ— и НАД— конституционная группа, "направляет общество через государство: то есть сверху и извне;

б) в качестве же "ядра политической системы" КПСС неотличима от государственного политического строя и может произвольно и *на всех уровнях* — ..."донизу" и ..."доверху" — вмешиваться в осуществление власти и в гражданский быт изнутри. Следовательно, и так ясна ее привилегия неограниченной подмены законодатель-

ной и исполнительной власти, да и всех вообще учреждений и ведомств.

И зачем было сохранять все эти мелкие сталинские хитрости, вроде контроля партией "всех государственных и общественных организаций"? Одна инерция, одна только перестраховка...

Такова ПРАВОВАЯ И УСТАВНАЯ "модель" Четвертой конституции.

Нет необходимости изменять что-либо из сказанного выше о Четвертой конституции как ХАРТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВОЛЬНОСТЕЙ — можно только уточнить ее направленность и смысл. Узаконивая друг другу неприкосновенность и приоритет, Партия и Государство превращают Основной закон в их совместный "Договор о взаимных гарантиях".

Шестая статья, в силу своего ключевого антиконституционного характера, рассматривается нами как *чрезвычайный закон*: закон о единстве партии и государства, согласно духу и букве которого "руководящая роль" партии *приравнена к государственной безопасности* и неразличимо с нею слита.

3

ГОСУДАРСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ — ПОНЯТИЕ ИЗ ПРИМЕЛЬКАВШИХСЯ, СЛОВО, "само за себя говорящее" настолько, что в расчете на безотказность его восприятия — строится немало-важный официально-речевой обиход, не говоря уже о широко известной *практике*.

И тем не менее сосредоточимся все же еще раз на тексте Основного закона. Это не просто, ведь текст — *против* того, чтобы на нем сосредоточивались. Известно, как можно стократ прокручивать эти фразы и все ж ни к какому смыслу не подобраться: самое чтение препятствует себе — и внимание, скользя поверх безразличной невнятицы, либо устает, либо читает все подряд с убылью в уме.

Вот это-то и необходимо преодолеть, эту мажущую серым по серому неотличимость того, что в жизни — от того, как *пишется*. И текст сам по себе не говорит как будто ничего нового, но с каждой второй фразой он *проговаривается*: тенденцией перестановок и вставок, суммой своих алогизмов.

То же произошло и с понятием ГОСУДАРСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ и как раз по вине "ясности" его здешнего значения. Оно встречается в Четвертой конституции дважды: в статье 70/9 и в статье 130/4. Обратимся сперва к статье 70-й, и не к одному ее

9-му пункту. Согласно этой статье, "ведению Союза ССР" подлежат:

8) *вопросы войны и мира, защита суверенитета, охрана государственных границ и территории СССР, организация обороны, руководство Вооруженными Силами;*

9) **ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ;**

11) *контроль за соблюдением Конституции СССР...* (статья 70).

Следовательно, мы вправе со своей стороны сделать вывод: в обеспечение госбезопасности *не включаются ни защита суверенитета, ни охрана государственных границ или территории страны, ни организация ее обороны, ни контроль за соблюдением самой Конституции. Уточнение существенное!* "Государственная безопасность", оказывается, отлична от безопасности конституционного строя, да и защита страны от иностранного вмешательства — не ее дело. Более того, ее вообще не занимает сохранность *суверенитета страны*. Таким образом; понятие государственной безопасности — и, конечно же, самое это ведомство — перестает соответствовать своему прямому законному смыслу: *государство* от покушений *извне* ведомство это не защищает, суверенитет и контроль за соблюдением Конституции — тоже не его дело.

Уточнение сенсационное — но не последнее.

Статья 130-я:

"В пределах своих полномочий Совет Министров СССР: (...)

3) *осуществляет меры по защите интересов государства, охране социалистической собственности и общественного порядка, по обеспечению и защите прав граждан;*

4) **ПРИНИМАЕТ МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ".**

Ошарашивающая ясность — *государственная безопасность не есть "защита интересов государства"*! Одно это подытоживает все то, что мы узнали из статьи 70-й — но и далее углубляет наше знание об этом загадочном понятии: меры по обеспечению государственной безопасности не связаны, оказывается, с охраной общественного порядка и *не* имеют отношения к обеспечению и защите прав граждан.

Что же это за удивительная БЕЗОПАСНОСТЬ — и ЧЕГО, СОБСТВЕННО?..

Поразителен "нигилизм" законодателя во всем, что касается "Органов". Ведь в упомянутых двух статьях Закона из функций КГБ фактически исключены *все возможные законные* его функции. Что же *остается*...?

Могущественное ведомство, фантастическая доля государствен-

ного бюджета, самый мощный из всех "аппаратов" — целиком, на-
чисто изъятые из сферы конституционного строя, вынесены из пра-
вопорядка, обязательного для прочих, а значит — поставлены *над*
суверенитетом СССР. И это — в полнейшем соответствии с *буквой*
Конституции СССР.

*"Конституция СССР обладает высшей юридической силой. Все
законы издаются на основе и в соответствии с Конституцией СССР"
(статья 172).*

Каким следует быть закону, изданному "на основе и в соот-
ветствии" с только что рассмотренными статьями? Едва ли не таким:

... **"ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Государство обеспечивает собственную безопасность.

*Обеспечение государственной безопасности независимо в делах
войны и мира, охраны суверенитета СССР, его территории и госу-
дарственных границ.*

*Меры по обеспечению государственной безопасности в необхо-
димых случаях могут расходиться с защитой интересов государ-
ства, охраной собственности и порядка. Они не подконтрольны
Конституции СССР и свободны в вопросах защиты прав граждан
СССР".*

Можно возразить, что нельзя из того, что НЕ СКАЗАНО в кон-
ституции — извлечь *антиконституционную* норму!..

Во-первых, НЕ ВСЕ "НЕ СКАЗАНО", а сказано **ИЗБИРАТЕЛЬ-
НО НЕ ВСЕ**. Названо ведомство — и **НЕ НАЗВАНЫ ЕГО ФУНКЦИИ
И ПРЕДЕЛЫ**; упомянуты "меры" — и умолчано, **В ЧЕМ СОСТОИТ
ИХ ЦЕЛЬ**. Неоговорена "госбезопасность" именно в ее *"целях и
принципах*: т. е. в том, для провозглашения чего и существует Основ-
ной закон.

Во-вторых, мы не говорим, что **ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ ЗАКОН УЖЕ
ЕСТЬ**. Мы утверждаем только, что **ДЛЯ НЕГО ЕСТЬ МЕСТО В
ТЕКСТЕ** — причем контуры этого места точно совпадают с силуэтом
возможного карательного закона. Может ли быть действенной кон-
ституция, допускающая **ВНУТРИ СЕБЯ** — "различные модели"
...**АНТИКОНСТИТУЦИОННОСТИ?**

Дело не в том, что обнаружен "проект отмены правовых гаран-
тий" ему нечего, собственно, отменять, — к тому же для отмены
более, чем довольно "закона о единстве партии и государства". Но
достаточно ли для **КОДИФИКАЦИИ РАБОТАЮЩЕЙ НЕПРАВОВОЙ
СТРУКТУРЫ?** Шестая статья делает правопорядок невозможным —
но ведь задачей в сущности является **ПОРЯДОК!** Права не было и
нет — но ведь "порядок" когда-то был и *без права* (во всяком слу-

чае, сочинителям так представляется) – нужен КОМФОРТ ПОРЯДКА В УСЛОВИЯХ ПРАВОВОГО ДЕФИЦИТА. Противоправность – это, если угодно, продукт "рационализации" неправового строя. Цель, как видите, "достойна понимания": а результат?

Разве не тяготеют абсолютная верховная власть партии, абсолютная явная власть государства и тайная, но также абсолютная власть КГБ – к смычке, к слипанию в ОДНО? И это одно – не просто разграниченное соседство различных систем власти, но переплетение *двух различных государственных начал*: светски-бюрократического – и инквизиционного, объединяемых партией в кадровом отношении. Разумеется, такой конгломерат нуждается и в достойном себя законодательстве.

И вот проступают его контуры.

В Конституции 1936 года есть такая статья:

"Защита отечества есть священный долг каждого гражданина. Измена родине: нарушение присяги, переход на сторону врага, нанесение ущерба военной мощи государства, шпионаж – караются по всей строгости закона, как самое тяжкое злодеяние" (статья 133).

Статья недвусмысленна и логика ее проста. В отношении к возможной военной агрессии общество есть *обороняющееся отечество*, народ, оружием защищающий право на жизнь. В такой действительно крайней, исключительной ситуации член общества, совершивший какие-либо из *четырёх перечисленных в статье* преступлений, сознательно угрожает жизни и будущему народа и сам оказывается в борьбе с ним. Однако и тогда всякая "расправа" исключается: с ним поступают, как упомянуто в статье 133, по "всей строгости ЗАКОНА".

Что можно было возразить против этого? Чего можно было бы пожелать? Разве что более рельефного соотношения понятий "присяги", "стороны врага" и "защиты" с ситуацией *военного столкновения* или прямой угрозы его.

Однако, что произошло с этой статьей в тексте новой Конституции? Прямо противоположное. Статья разительно переменялась, и перемена – за счет того, что до сих пор было главным в ней. Ее действие полностью отделено от исключительных ситуаций военного положения, превратилось в *постоянную ситуацию исключительной собственности государства на поведение и жизнь гражданина*.

Новая, 62-я статья начинается не с "защиты отечества", а с провозглашения *новой, неопределенной по существу обязанности* граждан:

"Гражданин СССР обязан оберегать интересы Советского го-

сударства, способствовать укреплению его могущества и авторитета.

Защита социалистического Отечества есть священный долг каждого гражданина СССР.

Измена Родине – тяжчайшее преступление перед народом” (статья 62).

Первая фраза статьи, быть может, замечательнейшее из всех новшеств Четвертой конституции. ”Интересы государства”? Согласно приведенной выше Хартии Государственных Вольностей, интересы государства охватывают *весь круг* жизнедеятельности человека в семье, в обществе и на производстве. Оберегать их в обязательном порядке (даже не состоя при этом на государственной службе) – означает возложить на гражданина обязанность оберегать государственный *приоритет* в решении всех дел. Впрочем, тут же это прямо и говорится: ”Гражданин СССР *обязан*... способствовать укреплению его могущества и *авторитета*”, – что означает неслыханное для конституций *прямое требование к гражданину* устраниваться от его гражданской, политической компетенции, превратиться в пожизненно – ”*нижестоящее*” *должностное лицо*. Вспомним, что новое понятие *партии* – ”*ядра государства*” уничтожает для члена КПСС гражданство, заменяя его *привилегией*. Теперь гражданский статус отменяется и *для гражданина* – заменяемый *верноподданством* как долг.

”Авторитет”, защита и укрепление которого предписаны личности – понятие, которое *не может* и никогда *не будет* иметь никакого *правового смысла*. Но это и не только пугало: (не трожь!), а и *точное, откровенное* провозглашение исключительного суверенитета государства во всех делах и решениях его граждан.

Однако, мы отвлеклись. Ведь эта фраза не одинока, она *включена в статью об ”измене родине”!* Теперь понятно, для чего и в каком смысле ”усовершенствована” разбираемая статья, почему требованию ”защиты отечества”, в ней предшествует принцип ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОРИТЕТА. Значение этой статьи таким образом совершенно меняется: вместо *военно-защитного* она приобретает *карательный* смысл для ”*посягнувших на Авторитет*”. Для этого решительно меняется и определение ”*измены*”. Из бывшей 133-й статьи, ставшей 62-й, полностью устранено *точное определение* понятия *измены*: в 1936 году в ней точно перечислялись *вменяемые* в вину военные преступления (нарушение *присяги*, переход к *врагу*, ущерб *военной* мощи, шпионаж); ныне этот перечень изъят – и вместо *строго военного* ”*измена Родине*” становится *неопределенно-*

гражданским понятием, отсылающим к какому-то *новому* определению. Какому же?

Естественно, к тому же заглавному шедевру 62-й статьи, ее первой фразе, обязывающей оберегать интересы, могущество и авторитет Государства. Вот что заменило военные преступления, вот что значит теперь "Измена Родине": это – "нанесение ущерба интересам государства, его могуществу и авторитету".

Второе изъятие из прежней статьи выглядит не столь броско. Оно всего только устраняет из объявленной кары за измену *ссылку на Закон* (было: все перечисленные в ст. 133 преступления "караются по всей строгости закона"). Теперь этой ссылки нет, следовательно, гражданин, посягнувший на... – да что там, даже просто НЕ "способствующий укреплению Авторитета", тем самым отлынивает от главной своей обязанности и, в строгом соответствии с буквой Основного закона, признается *изменником Родине*. Мало того, он не заслуживает чести считаться преступником *перед законом!* Он ("укреплять законность" так уж укреплять!) совершил "тягчайшее преступление перед *народом*", следовательно он, согласно смыслу закона – *враг народа*... Что объясняет нам значение перемены "закона" на "народ": преступник перед народом, "враг народа" есть не обычный преступник, имеющий право на защиту, а то и на снисхождение – нет, это тотальный, безоговорочный ВРАГ КАК ТАКОВОЙ, человек *вне закона*.

И если мы теперь вернем 62-й статье логический строй ее предшественницы, 133-й, смысл ее отворится настежь и сама она примет свой подлинный вид:

ЗАКОН О ПОСЯГАТЕЛЬСТВЕ НА АВТОРИТЕТ

Защита социалистического Отечества есть священный долг каждого гражданина СССР.

Измена Родине: нанесение ущерба интересам государства, его могуществу и Авторитету – карается как тягчайшее преступление перед народом.

Итак? Это-то не умолчание, которое можно толковать "так и сяк". Это – РЕДАКЦИЯ, редакция В ОПРЕДЕЛЕННОМ ДУХЕ. Можно спорить – откуда этот "дух", так или иначе его объяснить: но сам-то он налицо, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ, ставящей его гражданскую безопасность в прямую связь с добродетельным отказом ее от гражданского суверенитета, от права суждения. Авторитетным может быть лишь государство.

Гражданство *предшествует личной совести* – и *предписано ей*. Родина ПРЕДПИСАНА ЛИЧНОСТИ ЗАКОНОМ и сама определяется им как – ПРОДИКТОВАННАЯ ГОСУДАРСТВОМ "РОДИНА". И личности, и "родина" – в собственности государства. Действует уравнение:

1) ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА ЕСТЬ ЗАЩИТА ГОСУДАРСТВА

2) ЗАЩИТА ГОСУДАРСТВА ЕСТЬ ЗАЩИТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ

3) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС ЕСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВТОРИТЕТ

4) ПОКУШЕНИЕ НА АВТОРИТЕТ ЕСТЬ ИЗМЕНА РОДИНЕ

5) ИЗМЕННИК РОДИНЕ ЕСТЬ ВРАГ НАРОДА.

Это уравнение монолитно исключает общество ЛИЧНОСТЕЙ и разрушает *окончательное личное суждение по совести*, – выбор. Логика одна, хотя бы политика и застревала на третьем – четвертом ее звене, временно избегая последовательного движения к пятому.

Вот и еще один "черный лаз" в тексте Четвертой конституции – для кого он *приоткрыт*? Неизвестность нарастает, зато проясняется что-то ОДНО; стягиваются в единый узел, в единый кулак неопределенные и неопределяемые, неизвестно *чьи* "полномочия". Эти полномочия – не правомочия и не должны быть правомочиями. Они достигают своей полноты лишь с устранением всех *правовых* пределов и правового контекста поведения вообще.

А полнота – вот она, окинем ее одним взглядом...

4

1) ХАРТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВОЛЬНОСТЕЙ

СССР есть Государство, единое и многонациональное.

Государство, и только оно одно, действует свободно, неограниченно и безраздельно на всей территории СССР.

Территория Государства едина и включает территории всех союзных республик.

Руководство страной, экономика и образование также едины.

Государство общенародно. В Государстве создано развитое социалистическое общество, в котором возник великий народ.

Поэтому общенародная собственность на средства производства, приобретенная некогда как общественная, законно стала Государственной собственностью; а колхозной собственности – предстоит ей стать.

В исключительной собственности Государства находятся все природные стихии на территории страны: земля, ее недра, воды, леса.

Государству принадлежат все достижения и условия цивилизации, как ранее созданные людьми на Его территории, так и те, что будут созданы ими в будущем, с использованием принадлежащих Государству орудий и средств.

Государство, и только Оно одно, обеспечивает соединение условий и продуктов труда с потребностями граждан, исходя из принципа, что первой из потребностей является сам труд, а главным условием труда является Государство.

Поэтому Государство, и только Оно одно, определяет меру труда и меру потребления своих граждан. Изменение в той и другой Государство осуществляет по мере повышения им производительности труда граждан.

Государство, и только Оно одно, является распорядителем всех общественных фондов.

Государство и Его органы охраняют общественные интересы.

Государство предоставляет всем гражданам, проживающим на Его территории, права и свободы, предупреждая против любого их использования не в интересах общества и Государства.

В интересах общества, Государство оставляет за собой истолкование этих интересов и объявляет своим гражданам, что по отношению к ним эти интересы есть безоговорочные обязанности их перед Государством.

Личность неотъемлемо принадлежит к своему Государству и существует лишь в связи с Ним. Распоряжение гражданами своей личностью неотделимо от выполнения ими обязанностей перед Государством.

Честное и добросовестное несение государственных повинностей есть священный долг гражданина. По показателям его выполнения Государство обещает в дальнейшем расширение дарованных Им прав и свобод.

Государство гарантирует личности Свое покровительство. Оно берет на себя трудоустройство, снабжение, социальное обеспечение и обеспечение жилплощадью, охрану здоровья граждан, проживающих на Его территории и пользующихся Его собственностью для добросовестного труда на принадлежащих Ему предприятиях.

Государство ставит своей целью воспитание личности в соответствии с идеалами Государства.

В интересах личности и общества, Государство заботится об од-

народности общества, распоряжаясь его духовными ценностями.

Государство обеспечивает охрану и приумножение этих ценностей, которые никто не вправе использовать в личных интересах.

Государство защищает семью и допускает ее к участию в воспитании личности. Государство возлагает на семью обязанность воспитывать детей в духе идеалов Государства.

Высшая цель жизни и деятельности Государства – построение Им коммунизма на территории СССР.

Государство провозглашает, что

– свободно располагая всеми правами на всякую свою деятельность;

– неограниченно употребляя все необходимые Ему средства для этой деятельности;

– Оно, Государство, само выбирает промежуточные этапы и формы построения коммунизма и суверенно определяет как его сроки, так и дату его окончания.

II. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

A. ЗАКОН О ЕДИНСТВЕ ПАРТИИ И ГОСУДАРСТВА

КПСС существует для народа, служит народу и руководит им.

В отличие от государственных учреждений, созданных и действующих на основе Конституции, и общественных организаций, связанных уставными задачами, КПСС действует, будучи сама по себе ядром государственного строя СССР.

Она руководит народом через Государство, определяя линию внутренней и внешней Его политики – и руководит народом непосредственно, являясь ядром всех организаций народа.

Партия вооружена своим Учением, которому обязуется хранить верность советский народ, провозглашая Конституцию Государства.

Конституция СССР и созданная на ее основе политическая система действительна в рамках ее соответствия Учению Устава КПСС. Партия сама обеспечивает соответствие Конституции СССР Уставу КПСС и его Учению.

Б. ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Государство само обеспечивает свою Безопасность.

Обеспечение Государственной Безопасности независимо в вопро-

сах войны и мира, охраны суверенитета, территории и государственных границ СССР.

В необходимых случаях меры по обеспечению Государственной Безопасности могут расходиться с защитой интересов Государства, охраной собственности и порядка. Они неподконтрольны Конституции СССР и свободны в вопросах защиты прав граждан СССР.

В. ЗАКОН О ПОСЯГАТЕЛЬСТВЕ НА АВТОРИТЕТ

Защита социалистического Отечества есть священный долг каждого гражданина СССР.

Измена Родине: нанесение ущерба интересам Государства, посягательство на Его могущество и Авторитет — карается как тяжчайшее преступление перед народом.

Итак? Упрощен один лишь стиль Закона — зато обнаружен и раскрепощен его дух. Что же касается "буквы", то каждая строчка нашей реконструкции прямо подтверждается либо положениями текста, либо соотношением его статей, правок, умолчаний.

Итак? Нельзя ли сказать, что внутри Четвертой конституции Угнездилась очень компактная и довольно *дееспособная антиконституция* — законодательная контрреформа, впервые в истории СССР закладывающая основы сознательно противоправного строя?

Мы прикоснулись к одному из самых занятных подтекстов *новизны* Четвертой конституции. Все самоуправные "органы" и "ядра" ее политической системы — в жесткой *сцепке* между собой и обеспечивают механизм согласования и принятия решений тайком. Эта механика состоит из общеизвестных "шестеренок", связанных нелегальными "передачами". Цели нашей противоконституции не те, что можно бы обнародовать. Вот откуда НОВИЗНА Основного Закона: все эти переотсылки суверенитета и авторитета, взаимозаменяемость его формальных средоточий и увертки от оглашения их функции ткнут вязь неопределенности во всем, кроме... Кроме — чего? Есть ли "по ту сторону" какая-то упорядоченная реальность? Видимо, такая имеется.

А — названа ли она в проекте Закона? И — можно ли ее — назвать?

Что за "теневая власть", избегающая сосредоточения в одном (конституционном) центре, вмняя при этом всем неукоснитель-

ный централизм?! К чему партии – с такой конституцией на руках, что прямо оставляет за ней окончательные "да" и "нет", – к чему ей безусловный и неопределяемый "авторитет государства", безусловная и неопределяемая компетенция госбезопасности?.. Ведь никому, кроме КГБ, конституция – 77 не оставила такой свободы рук: в ее тексте тот окружен полным простором, не оговорена ни одна его функция. Чего еще пожелать для себя ведомству?! Формальный "простор отсутствия" равен практической беспредельности занятий и задач "органов", не связанных даже суверенитетом Союза СССР. Не ущемляет ли это партийный авторитет?

Нисколько. Партия и сама – *надсоюзная* организация, вынесенная из-под надзора КГБ – с правом контролировать его на основании Шестой статьи, "закона о единстве партии и государства". Чем не "правопорядок": активность органов с неконституционными полномочиями – "контролируется" другим органом – надконституционным путем!

Они и без нас договорятся: "Закон о Партии и Государстве" с "Законом о ГосБезопасности". Неопределимые врозь, но дополняя и толкуя друг друга, они – единое основание для законченной процедуры деятельности за спиной граждан и их сообществ. В этой механике *партия предстает обобщенной "судебно-законодательной"*, а госбезопасность – *"исполнительной" ее властью*. Ни та, ни другая для поддержания между собою связи и единства действий просто не нуждаются в посредничестве избираемых, "явных" властей.

Эта никчемность, "нерентабельность", непрактичность легальной власти достигает особенной явности и абсолютной полноты в *крайних* ситуациях, когда выносятся решения, затрагивающие судьбу *всех*. В обычных же случаях к законным учреждениям и формам прибегают иногда за *средствами*, за всякого рода *ресурсами*, а чаще – чтобы узаконить *готовый результат*, готовые решения, принятые без огласки "где надо". Например, после того, как решение о судьбе гражданина тайком принято в последней инстанции, его можно передать в руки легальных судебных органов для вынесения над ним "светского приговора": инквизиционный строй подобной процедуры обычен и не нуждается в разъяснениях.

Теперь "закон о посягательстве на Авторитет" (статья 62-я) встает точно в оставленный для него "паз" противоконституции – декретируя для нужд последней *непрерывное чрезвычайное положение* в стране и, одновременно, – превентивный закон *против личности*.

Невозможно вообразить, чтобы механика эта собиралась так

себе, впустую, а не для того, чтобы ее запустить. Не "вопреки", а *при помощи* своих уверток и логических пустот. Кое-кого из догматиков от науки идеологий обескуражила теоретическая нищета Конституции, но именно этой тощей нетеоретичностью текста создается его блестящая *прагматика*.

Конституция "номер четыре" намерена действовать, ей незачем оставаться "листочком бумаги" — и понапрасну кое-кто себя этим тешит.

Одобрение и принятие ее — лишь пролог к неким *мерам*. Пускай они сегодня еще не согласованы, и не ясны даже их авторам — но пред этой неясностью "мер" у общества загодя отняты все рубежи *самообороны* — огласка, личное несогласие, народная самоорганизация. Мы сведены на пустые роли сообщества потребителей (статья 23) и поставщика ансамблей художественной самодеятельности (27).

Замысел?.. Сознательный, коварный расчет? Ежели он есть — то чей же, — и сколь глубоко его коварство? — Такие вопросы — в стиле сочинителей Четвертой конституции. И все же вопрос тут есть — и глубоко коварство.

Косный и неряшливо-пропагандистский жаргон, неувязки и повторы текста поразительно сочетаются с выдержанной в *едином духе* нюансировкой всех статей и положений, отражающей стройность замысла и директиву сдвига. Но мы-то знаем, что их давно нет — великих злодеев с глобально и на десятилетия впрок задуманными злодейскими умыслами. *Корявая стройность* документа не авторская, а "ничья" — это слитность самого факта, "единство действия" очень разных групп, индивидуумов и организаций, спрессовываемых в общесоюзный *типаж*. До сих пор только размытостью общего "коллективного бессознательного" создавалось впечатление о его цельности. Сегодня же он впервые высказывается языком законодателя.

У нас на глазах оформляется порядок и строй огосударственного общества, в паре с неправовым и даже неполитическим, несветским государством.

Двоякая эта реальность теперь осмыслена: новая Конституция замкнула ее конечным единством исторически беспомытной и безличной, рыхлой "всенародной общности". Предполагаемый Четвертой конституцией внутренне разобщенный "народ" — это *народ без граждан*, "общество служащих" — вне самоуправления и власти над собственным трудом, вне выбора и воли.

Да, утопия и это. Но утопия, *вооруженная до зубов*.

Утопия, рвущаяся свести воедино под именем "Власть" все приемы и приемчики *вмешательства в жизнедеятельность* человека; официально узаконить такое вмешательство ("для вашей же пользы"), без коего она не мыслит *прогресса*. Утопия — и это вполне естественно — нашедшая в КГБ наилучший из *аппаратов вмешательства* "во имя прогресса".

5

КОГДА, С НЕКОТОРЫХ ПОР, ВСЕМ В СТРАНЕ ЗАВЛАДЕЛ *РАСПАД*, ПРОДУКТЫ которого, централизованно вгоняемые обратно, вовнутрь общества — становились его бытом и духовной пищей; когда наша жизнь в СССР при автоматическом нарастании экономических, международных и иных мощностей проступила графиком "нулевого роста"; когда плоды труда упраздняют его мотивы и стимулы и обременяют собой источники развития; преимущества демонстрируют неспособность их использовать; общество столь беспомощно и подвластно, что уже почти неуправляемо — обнаружился *какой-то предел*.

Шестьдесят лет всюду копились и складывались *несоответствия*: слов и дел, целей и средств, успехов и следствий. Образовалась богатая *традиция несоответствий* всего и вся, между собою и внутри себя. В несоответствиях захлебывались все и каждый — и это единственное, что одинаково знают пьянчужка и академик: "и то не так", "и это не так" — тема общая, неисчерпаемая. Но общая — не значит понятая, обобщенная и гласная. Между тем, ничего другого нет у нас, чтобы "развивать", кроме опыта и традиций несоответствий прежнего развития. Развивать "социалистическую демократию" — но как развивать то, чего *дважды* нет: ни как "социалистической", ни как "демократии"? Только опыт несоответствий открыт и доступен всем и каждому, и наоборот — только им все и каждый могут подняться от обычного трепка к разговору всех, включающему в большую тему маленькое личное наблюдение каждого. Им-то и начиналось у нас общественное движение и личная независимость — осознанием несоответствия между бытом и — правом, и развитием этого опыта в духе гражданского несогласия. Так обнаружилось несоответствие Третьей конституции и прагматике власти, и правозащитным нуждам общества. Осознание перерастало в движение узнавания, "огласки", раскрытия наших подлинных основ — в освобождение из-под их власти, впервые оспоренной от

лица *внутренних* различий (а не привходящих и посторонних образцов).

Признать вслух, что страна в лице власти и основных народных групп зашла в *тупик*, в раздоры, нельзя: ведь любые *обобщения* относятся к числу запретительных прерогатив власти, составляя ее польный приоритет ("это *не ваше* дело!" – А чье?). Само существование несогласных было разглашением главной из государственных тайн, было вестью о кризисе, нарушавшей практику и принцип *сокрытия* вестей, монополию "центра" на огласку и обнародование.

Сопrotивление произволу и попранию как личного достоинства, так и всего конституционно-правового контекста политической жизни быстро переросло в *сопротивление* государству, неспособному доказать универсальность своей же конституции и оградить собственный строй от захвата его институтами всяким сбродом. На развязанную "охраной основ" локальную гражданскую войну – войну на распыление, деморализацию и подавление диссидентов, – *сопротивление* ответило собственной нормой солидарности, ненасилия и нравственной стойкости. Вот уже более десяти лет, как оно *неустранимо* из внутренней жизни народа – а с ним и понятие о независимой гражданской позиции, независимой *личности* – наряду с миром официальной и тайной власти – без попыток зарыться в этот мир, приобрести от него дозволенную личину и "обличать" его "недостатки" из-за государственного угла.

Разгласив открыто существование в обществе неподавленных различий, разномыслие породило определенное ТОЛКОВАНИЕ их источника: "преобладание Государства над Личностью", не защищенной от произвола никакими правовыми гарантиями. Такое толкование тем более действенно и самоочевидно, что оно положено в основу деятельной *защиты прав человека от государства*. Сопrotивление огосударствлению стало *противостоянием* личности государству.

Формулой несогласия стало: "ГОСУДАРСТВО против ЛИЧНОСТИ".

Со своей стороны и власть проявила "готовность" к развитию конфликта во *взаимное противостояние* с "отщепенцами" и демонстрирует поразительную чуткость именно к *диссидентскому толкованию* спора, позаимствовав его с обернутым знаком: "ЛИЧНОСТЬ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВА". А когда эскалация "мер по обеспечению Государственной Безопасности" выявила только меру *неуступчивости* "противостояния" им, наступил конец и возможностям огра-

ниченного *развития* нашего политического строя – и сравнительно *мирным временем* его саморазложения.

Это предел и для нас, тут живущих. Граница, за которую *выехать* – некуда.

На этом рубеже родилась первая в нашей истории конституция, которая **НЕ МОЖЕТ НЕ ВЫПОЛНЯТЬСЯ**.

Это кажется чем-то обратным здравому смыслу, ибо, как известно детям, *"конституция не выполняется"*.

Но здесь тонкость. "Невыполняемая конституция" – это не данность, а завоеванное открытие **НЕСООТВЕТСТВИЯ** слова и строя, вывески и дел. Этот зазор несогласие превратило в проблему для личности и власти. Невыполнимую конституцию государство влекло на себе, как клеймо истории, как чуму альтернативы.

Образовался опасный для саморазрушительного безразличия "основ" союз **НЕВЫПОЛНИМОЙ конституции 36-го года и требования ЕЕ ВЫПОЛНЯТЬ**. Двигала, развивала нас – именно эта "сумма", отношение между ними, где несогласие создало новую реальность, – **общество**. Вот когда власти *потребовалась* другая, **ВЫПОЛНИМАЯ** конституция. *Выполнимая* не "то же", что – *выполняемая*: если второе предполагает демократический *контроль* за выполняемостью, предполагает хотя бы само *требование* – выполнять! – то первое – "задача на сообразительность", ее надо лишь *сочинить*, по возможности, наиболее "близко к реальности" – **РЕАЛЬНОСТИ НЕПРАВОВОГО СТРОЯ, БЕЗГЛАСНОСТИ, НЕКОНСТИТУЦИОННОЙ ВЛАСТИ**.

Первое не дополняет, а отменяет второе. В действительности, подлинная, дееспособная конституция **НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ "ВЫПОЛНИМОЙ"** на 100%. Она предполагает *усилия* – выполнять, *контроль* – выполняется ли?, *критику* – не выполняет!.. предполагает и *возможность злоупотребления* правами. "Выполнимая конституция", конституция "в рамках реальности" – замковый камень всей противоправной "суммы", – *средство против осознания НЕВЫПОЛНЯЕМОСТИ И НЕВЫПОЛНИМОСТИ ПРАВОВЫХ АСПЕКТОВ*. Мол, "конституцию дадим" – но такую, которую *никто не требовал* – которая **НЕ КОНСТИТУЦИЯ**.

Зачем же она? Четвертая конституция находится во вражде со временем, она – слепок безвременья. "Ничем" могла быть *та*, Третья конституция, в *том* сталинском государстве. В новом государстве она стала заметным, гласным "ничем", а потому и вредным "ничем" – и упразднена. Но ум консервативен, он не может понять, что **УПРАЗДНЕНА И НЕЙТРАЛЬНОСТЬ ПИСАНОЙ БУМАГИ** в жиз-

ни всех. Невыполняемость упразднена за вредностью. Акт принятия Четвертой конституции — это акт расправы с Историей. Опыт учит, что такие расправы всегда бывали только началом.

Не забывая об этом, присмотримся к этой нашей, *выполнимой*”.

6

Проведем маленький эксперимент, который не стоило бы даже называть “умственным”: напротив, это проба нашей эмоциональной автоматике, замер непосредственных “гражданских реакций”. Представим себе, что вместо проекта 4-го июня в “Правде” и “Известиях” напечатан Указ следующего подрывного содержания:

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ОТ 4 ИЮНЯ 1977 ГОДА

В соответствии с коммунистическим идеалом “Свободное развитие каждого есть условие свободного развития всех”; Советское государство ставит своей целью расширение реальных возможностей для развития и применения гражданами своих творческих сил, способностей и дарований для всестороннего развития личности.

С этой целью:

1 Гражданам СССР гарантируется неприкосновенность личности. Уважение личности, охрана прав и свобод советского человека — обязанность всех государственных органов, общественных организаций и должностных лиц.

2 Граждане СССР имеют право на возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями государственных учреждений и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей.

Действия должностных лиц, совершенные с нарушением закона, с превышением полномочий, ущемляющие права граждан, могут быть в установленном законом порядке обжалованы в суд.

Граждане СССР имеют право на судебную защиту от посягательств на жизнь и здоровье, имущество и личную свободу, на честь и достоинство.

3 Советское государство, все его органы действуют на основе социалистической законности, обеспечивают охрану правопорядка, интересов общества и прав граждан.

Государственные учреждения, общественные организации и должностные лица обязаны соблюдать Конституцию СССР и советские законы.

Каждый гражданин СССР имеет право вносить в государственные органы и общественные организации предложения об улучшении их деятельности, критиковать недостатки в работе. Должностные лица обязаны принимать необходимые меры. Граждане СССР имеют право обращаться с жалобами на действия должностных лиц в государственные органы и общественные организации.

4 Преследование за критику запрещается.

Никто не может быть подвергнут аресту иначе, как по постановлению суда и с санкции прокурора.

5 *Гражданам СССР гарантируется неприкосновенность жилища. Никто не имеет права без законного основания войти в жилище против воли проживающих в нем лиц.*

Личная жизнь граждан, тайна переписки, телефонных переговоров и телефонных сообщений охраняется законом.

Граждане СССР обладают всей полнотой прав и свобод, провозглашенных и гарантируемых Конституцией СССР и советскими законами.

Социалистический строй обеспечивает расширение прав и свобод, непрерывное улучшение условий жизни граждан. Основным направлением развития политической системы советского общества является дальнейшее развертывание социалистической демократии:

- все более широкое участие трудящихся в управлении делами общества и государства;*
- совершенствование государственного аппарата;*
- повышение активности общественных организаций, усиление народного контроля;*
- укрепление правовой основы государственной и общественной жизни, расширение гласности;*
- постоянный учет общественного мнения.*

Событие, если не покидать здравого смысла – вещь невероятная. НО случись, и все ахнут: началось!.. Весна, снова весна! Март на дворе, ОТТЕПЕЛЬ!!! Это, так сказать, светлая возможность, золотой сон российского прогресса, "розовая корзина" его надежд, Права и Свобода личности!

Но ведь 4-го июня 1977 года "Известия" и "Правда" ТАКОЙ ЗАКОН ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОПУБЛИКОВАЛИ. Правда, называется он иначе: "проект Основного закона", – но, ведь, вот-вот примут! (примечание: и принят) А вместе с ним будут приняты и статьи проекта: 4, 8, 20, 39, 49, 54, 55, 56, 57, 58 – те статьи, текст которых мы "не убавив, не прибавив" и привели. Каково?! Принимается новая конституция – а вместе с нею сразу *И* "чрезвычайное законодательство" – *И* "либеральная реформа"! Поди разбери. Ведь и первое, и вторая – *один текст.*

...Как вы не понимаете? – тут-то и скажут нам. Есть силы прог-

пресса и силы реакции — одни статьи писали эти, другие — те: "конституции вообще" нет, а есть пестрый ковер, где черные нити спутаны с золотыми: надо не хаять, а расплести эту вязь — отобрав оттуда все бесценное, либеральное, золотое...

Да, да. Весьма золотое, либеральное. Даже — *чересчур*: взгляните еще раз. Что объединяет эти 10 статей? Заявление О СУЩЕСТВОВАНИИ ТОГО, ЧЕГО НЕТ. Особенно показательна статья 4: с потрясающей осведомленностью, — со знанием дела в нее собрано ВСЕ, ОТСУТСТВИЕ ЧЕГО ОБНАРОДОВАНО ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ОППОЗИЦИЕЙ... Это и не закон, а набор восточных сладостей: *у нас есть ВСЕ. Есть законность* — и вместе с тем есть надежда, что она *будет* укреплена; и одновременно дано обещание защитить тебя от ее блюстителей; *дважды* обещано *расширение* прав — но и твердо заявлено, что ВСЕ ПРАВА УЖЕ ДАНЫ.

Во всем этом суть три идеи.

Идея номер Один: ВСЕ ОБСТОИТ НАИЛУЧШИМ ОБРАЗОМ, И ЛУЧШЕ ПОМЫСЛИТЬ НЕЛЬЗЯ. Здравому смыслу трудно ужиться с таким тезисом, провозглашаемым в лоб: особенно с тех пор, как другие точки зрения выполоть нельзя. Потому эта идея уходит вглубь, порождая дочернюю идею.

Идея номер Два: НИЧЕГО, НАДО ПОТЕРПЕТЬ — ВОТ ИЗЖИВЕМ НЕДОСТАТКИ — И ЗАЖИВЕМ ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ, ПО-ЗАПАДНОМУ; С ИХНЕЙ ЗАРПЛАТОЙ И ИХНЕЙ СВОБОДОЙ. Мысль не так примитивна, — к ней сводимы немало версий незримого прогресса, социализма с человеческим (но отдаленным!) будущим и прочее. То, что при этом будто бы признается ОТСУТСТВИЕ СВОЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО НАЧАЛА — а только некое СВОЕ НАЧАЛО, во имя которого необходимо ("пока") ограничивать себя во всем человеческом и определенном — пустяк. Труднее ПОТЕРПЕТЬ, — ибо в том и состоит ведущее противоречие советской "модели социализма", что НАМ ВСЕГДА ЧЕГО-НИБУДЬ И ЧУТЬ-ЧУТЬ НЕДОСТАЕТ ДО КОММУНИЗМА!. Это рождает в непокоренном духе главную практическую мысль:

Идея номер Три: МОЖЕТЕ ЖАЛОВАТЬСЯ! В КОНЦЕ КОНЦОВ, ЭТО ВАШЕ ПРАВО.

"Не били и не бьем. — Больше бить не будем. — Когда бьют, жалуйся".

Один, Два и Три — где они ни проскочи, — в передовице, речи инструктора райкома, в статье самиздата (да, да, и там!) — наверняка приведут определенный круг лиц в мартовское возбуждение.

И ничего, что три идеи несовместимы между собой — когда они трое *суть одно*, нераздельные и неслиянные — это одно — мозговой пульт с тремя кнопками, проводки от которых все вживлены в еди-

ный наш "центр удовольствия". Жми на все три!.. – никакой беды, никаких сомнений – лишь *тройное наслаждение*.

В прежней конституции НЕ БЫЛО ЭТОЙ ИГРЫ НА ПОДТЕКСТАХ, на возможности "альтернативных прочтений": а прочтения появились, но и практика "прочтений" – практика НЕСОГЛАСИЯ как демократического развития несоответствий слова и строя – стала силой. Четвертая конституция приходит на готовенькое – НА ОЖИДАНИЕ "ВСЕ ТОГО ЖЕ" – И УЖЕ *СОЗНАТЕЛЬНО* ИГРАЕТ НА ТРЕБОВАНИИ ВЫПОЛНЯТЬ НЕВЫПОЛНИМУЮ КОНСТИТУЦИЮ.

Поместится ли в "розовую корзину" десятка статей ЧЕЛОВЕК У НАС, живущий в этой стране, озабоченный простыми человеческими заботами, которые, как не третируй их за "узость", имеют странное свойство в каких-то событиях, в какие-то минуты жизни – у каждого – расширяться до последних пределов и даже за них? Такие "институты" нашей жизни, как дети, семья, рассудок, совесть, практическая сметливость, – все это – плоть свободы, ее человеческий хлеб. Без этого *свободы*, если они и есть – не являются условиями *свободы*, которая единственна в человеке – та, которая *его*, без которой его нет... Нужно ли для человека, НЕ ПРИСУТСТВУЮЩЕГО ПРИ ВЛАСТИ, ее реализации и перехода в управление им самим – огрызки свобод, становящиеся СВОДОМ СОМНИТЕЛЬНЫХ ПРАВИЛ для ИГРЫ мышки с кошкой. С МИРОМ АБСОЛЮТНОЙ ВЛАСТИ?

Укромно ли будет личности в "розовой корзине", когда кладет зубами над ухом 62-я статья "о покушении на Авторитет"?

А между тем это неудобное существо – "личность" – в Четвертой конституции появится. Впервые у нас. Раньше не было – а теперь есть. Вокруг нее происходит нечто такое, из-за чего с ней стало нельзя не считаться: однако, и такое, из-за чего НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ ЕЙ МЕСТА БЫТЬ. Ни щелочки! Мы видели это при разборе статей, которые отнесли к "чрезвычайным": в них недомолвки, оставляющие тьму возможностей, в них фразы, которыми концентрируется невиданная мощь суверенной власти – но ПРОСТОР НИГДЕ НЕ ПРОСТОРОН ДЛЯ ЛИЧНОСТИ – напротив, тьма возможностей УТЕСНЕНИЯ ЖИЗНИ, СОВЕСТИ И КРУГА ЛИЧНОСТИ; а вся "невиданная мощь" – подчеркнуто АНТИЛИЧНОСТНА. Везде в Четвертой конституции личность опутана и сопровождается тьмой недоверчивых оговорок – превращающих ее относительные права – в беспорные невозможности. Мы опускали их с честным желанием не помешать приятному впечатлению читателя. Теперь же нам пора ему помешать.

РАЗДЕЛУ "ГОСУДАРСТВО И ЛИЧНОСТЬ" В ПРОЕКТЕ ПОВЕЗЛО В ПОПУЛЯРНОСТИ, но для того таким он и задуман.

Многие вчитывались в оговорки, сопровождающие ряд статей главы 7-й; "Основные права, свободы и обязанности граждан", и всю главу в целом.

"...Использование гражданами прав и свобод НЕ ДОЛЖНО НАНОСИТЬ УЩЕРБ ИНТЕРЕСАМ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА, правам других граждан" (ст. 39).

"...Право на выбор профессии, рода занятий и работы... С УЧЕТОМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ" (ст. 40).

"Гражданам СССР В СООТВЕТСТВИИ С ЦЕЛЯМИ КОММУНИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА гарантируется свобода научного, технического и художественного творчества..." (ст. 47).

"В СООТВЕТСТВИИ С ИНТЕРЕСАМИ ТРУДЯЩИХСЯ И В ЦЕЛЯХ УКРЕПЛЕНИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОЯ гражданам СССР гарантируется свобода слова, печати, собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций" (ст. 50).

"В СООТВЕТСТВИИ С ЦЕЛЯМИ КОММУНИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА граждане СССР имеют право объединяться в общественные организации" (ст. 51).

Легко догадаться, почему эти места обратили особое наше внимание. Ни одно из *других* прав граждан и, в особенности, — *ни одна статья* из тех, что трактуют об *обязанностях* граждан, не включают в себя никаких подобных оговорок. "Долг" есть долг, а "обязанность" есть *обязанность и только*, а ни в каких не "в целях коммунистического строительства".

Много уже говорилось о том, что оговорки эти в сущности, являются собой *ограничение* основных прав и свобод: ведь они коснулись только того комплекса статей, который оказался в центре споров и борьбы правозащитного движения. С этими оговорками права (вопреки общепринятому смыслу *права* как чего-то безусловного) приобрели, даже на вид, узкий спектр осуществимости: "интересы общества", "цели укрепления социалистического строя", "цели коммунистического строительства". За пределами этих условий "права" более не могут давать формальных оснований для противостояния власти.

Другие, это-то и имея в виду, склонны подтвердить и одобрить такой замысел, признать его хотя бы "достойным понимания". В этом находят "противовес индивидуализму", "разумную охрану

закона и порядка от анархических эксцессов”. Есть и такие, кто полагает, что в ограничениях можно увидеть дань исконно-российскому понятию права — как *дарованного* властью, и ею же затем рас- судительно расширяемого — ”сверху”, по мере роста народной куль- туры, просвещения, а с ним — и способности среднего человека к самообузданию. (Кстати, неуклюжей пародией на такое мнение слу- жит и статья 39-я проекта: расширение прав по мере выполнения официальных программ...). Но тогда и нарочитое заикание Четвер- той конституции в трактовке *прав* человека приобретает глубокий ”воспитательный смысл”: с *нашим*-то человеком, можно ли по-дру- гому?! И ограничение прав не новость, — да и не было, мол, такой конституции, по которой ”каждый делает, что хочет”...

Оба мнения дополняют друг друга в ложности, не учитывая всей новизны ”нового права”.

Прежде всего, оговорки Четвертой конституции — НЕ ”огра- ничения”, такие, например, как ограничения, откровенно вводив- шиеся в первых двух конституциях — 1918 и 1924 гг. Природа ограничений — недвусмысленность, ясность: вот *этим* — разрешено, а *тем* — нельзя; *это* позволено, а *то* нет. Ограничения имеют и свои резоны, справедливые или нет — и их приходится *называть* (что должно ограничивать, в принципе, сферу и срок самих ограничений; ведь не бывает вечных политических ситуаций!). Существование открытых и откровенных ограничений, ”поражений в правах” — оставляет возможность их *оспаривать* — хотя бы теми, чьи права су- дить и спорить этой же конституцией НЕ ограничены.

Оговорки нынешней Конституции — *Не таковы! Неясность и неопределенность* — это их замысел, их природа. Соответствующие статьи превращены ими в такие, на которые *вообще никому* нельзя ссылаться без *истолкования*. А критерий такого истолкования — не указан!

Да и откуда ему быть, когда, например, разговор пошел о ЦЕ- ЛЯХ КОММУНИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА?.. В чем вообще эти цели и кому это известно? — А не надо знать!

В том-то и суть. Ни вы — ни он — ни я, *никто* из нас не допущен решать — ”в целях” упомянутого строительства или ”не в целях” использует он данное право; поступает ли он ”в интересах трудя- щихся” — или, напротив, их ”попирает”!.. Такое решение, такой вопрос, вообще *такая* наша компетенция — в принципе невозможна в рамках Четвертой конституции и не предусмотрена в ней нигде.

Выходит, не только право — но И ОГОВОРКА В ПРАВЕ НЕ ДЛЯ

НАС, не для того, чтобы граждане взялись судить да рядить, КАК им пользоваться правами, чтоб не войти в разлад с "интересами общества и государства". Напротив, оговорка для того и дана, *чтоб мы не вздумали рассуждать о праве*, чтобы не взбрело нам в голову *толковать* Основной Закон Государства. Суть оговорок – *индивидуальная их нетолкуемость*. Всякое твое толкование обличает распушенность и "анархию мысли", оно уже есть рискованное и "безответственное" *использование* права на *свободу мысли*. Всегда ведь спросят: а в целях ли коммунистического строительства все эти ваши толкования? Укрепляют ли они наш строй?! Где уж тут "использование прав"...

Выходит, оговорки – никакие не "оговорки", а *уничтожение соответствующих статей* Конституции; они – *скрытая отмена правовых гарантий наперед, на весь срок действия* новой Конституции: постоянное чрезвычайное положение. "Оговорки" – это пометки, совет "лояльному", "нашему человеку": а не совался бы ты сюда, дорогой, "в интересах общества"... и в своих собственных! А в отношении диссидентов они – колода крапленых карт, продиктованные условия *будущей* игры: хотели? Получайте Конституцию, на которую никому, кроме прокурора, ссылаться не резон.

Естественно, ни "воспитательного", ни "консервативного" ничего в этом нет. Ограничения в гражданских правах могут играть охранительную роль в обществах, где некоторая *часть* граждан полагается угрозой для общества, в целом пользующегося полным правовым объемом (например, – *рабы*, если они есть, или осужденные, когда они составляют весомую долю граждан). Ограничения и предполагают деление общества на лидирующую, "активную" и "пассивную" часть, причем источником ограничений выступает община "активного права", в своих пределах полноправная, которая и способна ограничить эти пределы или их отменить.

Наши оговорки совсем другого рода. Они "ограждают" *всех без исключения граждан* от прав человека. Не какая-то *часть* их (что строго-настрого запрещает статья 34-я: у нас все равны!), нет, все *одинаково поражены в правах*, и само общество превращено в сборище пассивных граждан, неспособных даже произвести между собой "учет общественных (т. е. своих же собственных) потребностей".

Вот и весь секрет оговорок. Почти не скрываясь, все они отсылают к единому толкователю – государственному Авторитету – и одному толкованию – верноподданному отказу от толкований.

"Президиум Верховного Совета СССР:

...4) дает толкование законов СССР” (статья 119).

Такова сегодняшняя быль конституционной *преемственности* в гражданской способности *судить*. А начало ее, в *Первой*, 1918 года конституции было такое:

“...Народному комиссариату просвещения ввести во всех без изъятия школах и учебных заведениях Российской республики изучение основных положений настоящей Конституции, а РАВНО ИХ РАЗ’ЯСНЕНИЕ И ИСТОЛКОВАНИЕ”.

Права 1977 года – особого рода. Это права, *даруемые* личности от государства, при этом на неопределенных, им же толкуемых условиях. В объем условий заранее входит и *неприменение* некоторых из прав (специально для того “помеченных” *оговорками*). Но и после дарования права – лишь в твоём *пользовании*, – являясь принципиально *собственностью государства*. Права, их объем и применение, не входя в твою гражданскую компетенцию (такой и нет вовсе), оборачиваются сетью **БЕЗУСЛОВНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ**, *государственных повинностей*, которые также своей неопределенностью целиком выдают личность государству. (Феодальное право берет, наконец, реванш за реформы Петра I).

Государству придан облик и строй **СИСТЕМЫ, ПРОТИВОСТОЯЩЕЙ НЕЗАВИСИМОЙ МЫСЛИ И ПОВЕДЕНИЮ ЧЕЛОВЕКА** – власть законодательно науськивается на **НЕСОГЛАСНЫХ**. В *норму* строя возводится провокационное “сосуществование” с утесненной личностью и подозрительное выжидание всяческих козней со стороны граждан.

Главная угроза тут – в принудительной мобилизации разобщенного народа, *всех нас*, на грязную войну государства с личностью гражданина, каждого из нас. На другое отношение к разномыслию – даже на добрую волю – новая Конституция не дает никаких *законных оснований*: те отпали вместе с понятием *гражданского общества*, и всей *октябрьской конституционной традицией*, отменившей некогда либерально-демократическую. Первая традиция упразднена, вторая – не состоялась.

Мы отреклись от правовой, конституционной практики на том основании, что мы “революционное общество”. Правда, когда мы находили неудобными для себя идеологические обязательства, накладываемые марксистской традицией (выборность чиновников, открытая дипломатия, независимость культуры от бюрократии и прочая “блажь”), ссылались на то, что СССР не революционная секта, а “великое государство, которым надо эффективно управлять”.

Зато сегодня **МЫ НЕ ЯВЛЯЕМСЯ НИ РЕВОЛЮЦИОННЫМ ОБ-**

ШЕСТВОМ, НИ КОНСТИТУЦИОННЫМ ГОСУДАРСТВОМ, НИ ДАЖЕ ГОСУДАРСТВОМ ЭФФЕКТИВНЫМ! Но революционные фразы еще полезны, чтобы ими **ОБОСНОВАТЬ РАЗРЫВ НАШЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ С ЕВРОПЕЙСКОЙ (ТО ЕСТЬ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ, ПРАВОВОЙ, РАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ, РЫНОЧНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ) ТРАДИЦИЕЙ.**

Что же мы такое — Не правовое — и НЕ деспотическое (“тоталитарное”, монархическое) государство, НЕ революционное — и НЕ антиреволюционное общество? На первый взгляд, уже теперь готов удовлетворительный *ответ.*

В СССР сегодня утверждается “антидиссидентское” государство, бессмысленно вмешивающееся во все автономии из принципа: “развитие сверху — вниз”. Государство это готово признать в обществе *кроме себя* — только *внутреннего врага*; и в этом лишь смысле “признает” возможное разномыслие граждан.

Жизнь людей сообща нуждается в споре их различий, и нужно, чтобы предмет такого спора оставался общественным и доступным для каждого. Необходимо, чтобы все, в чем заинтересованы мы и чем живы — хлеб и культура, труд, жилище, порядок в обществе и безопасность семьи — все было здесь, на перекрестии человеческих отношений, узаконенных *в праве решать все.* Но стоит всему перейти в “казну” — и, чуть только спор, в лоб спорщику выпрыгнет черт: Государственная Безопасность! А за ним всегда таится *некто*, кому спор невыгоден либо просто не нужен: он-то и нажал на пружинку.

Диалог здесь невозможен — и с кем? ...Все могут быть втянуты в провокационную распрю без виноватых: **КТО ИЗ НАС “ДИССИДЕНТ”?!** Вместо решения проблем идет розыск инакомыслящих: диссидентов от образования, от медицины, от экономики — и каких-нибудь еще.

Так возникает положение, когда государство карает, но не властвует, партия “направляет” — но не управляет, общество “едино” лишь в тех вопросах, которые никто не решает, и спорит по тем, о которых его не спрашивают; народ помалкивает, трудится. (И куда-то все уплывает из рук, как в прорву: способности, идеи и нервы; сама жизнь). Будто бы всегда все как-то “само решается” — и всегда не оттуда, откуда должно решаться, не теми и не так, уже после того, как “вопрос в дрызгах вытащен за счет незаменимых человеческих ресурсов, за счет качества жизни и труда.

Казалось бы, так может длиться вечно. Неудобно, противно,

но — почему нет...? Ведь *шло* — позавчера, сегодня; то же предполагаем назавтра.

...А за спиной, пока все "шло", приготовилось уже нечто новое. Проштое, оказавшись под главной из угроз — под сомнением в его незаменимости, в противостоянии "личность — ГОСУДАРСТВО" вдруг приобрело вторую юность. Спор, акцентирующий силовые и политические ресурсы за счет мозговых, обрастает (уже оброс!) заинтересованным отребьем, пользующимся обстановкой и "свободой рук", которые всегда открывает конфликт. Противясь и разрядке конфликта, и его естественному развитию, отребье это предопределяет моральную безысходность событий, которым ОТКАЗАНО в понимании. Отсюда итог — тупик, русский общественный "нуль".

В *таком* споре усиливается лишь пустой, но опасный миф ГОСУДАРСТВА — то как символ неколебимой, единоспасающей силы, то как тоталитарное Зло.

Разделяемый равно державой и оппозицией, миф этот ошарашивает сознание, отпугивает даже от безопасных поступков. Рефрен: "Что *они* могут? *Все* могут. А что *может быть*? Хуже..." — заполняет умы, калечит совесть (торопящуюся сподличать еще до того, как ее призовут к выбору). Перед лицом небезопасного государства человеку остается самому озаботиться своей безопасностью — выбрав *не быть* или "*как бы*" не быть. Дилемма чести и подлости, мужества и трусости или заменяется сомнительным проектом "умереть с музыкой", уйти из государства — громко хлопнув, на память, его дверь. Не беда, что редкие откликаются на призыв к несогласию — ими не могут быть и не бывают многие: хуже, что призыв долетает до большинства остальных безнадежным кличем, в котором чудится мокрый хруст костей.

Однако этот миф разрушителен и для самого государства! Чудовищный груз его притязаний на "всеприсутствие" предполагал бы усиление именно *административно-хозяйственного* бюрократического аппарата. Но проект Конституции логикой чрезвычайного положения втягивает весь аппарат в карательную активность, как бы отменяющую все остальные задачи.

...Что и делает их очевидно неразрешимыми для государства, превращая в балласт, в бессмыслицу весь его суверенитет. Видимо, новое устройство СССР открывает поприще для *силы*, которая не заинтересована в реальном, повседневном решении реальных задач.

Обнаружилась и вползла в законодательство сила, которая свободно чувствует себя в рамках Четвертой — и ГОТОВА ДЕЙСТВОВАТЬ

ВАТЬ НА ЕЕ ОСНОВЕ. Но кто носитель ее, кто *субъект*? Совпадает ли он с какой-то из признанных и установленных Конституцией сил?

В "ВЕЛИКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЯХ" ЕСТЬ ЧТО-ТО НЕИЗБЕЖНО БЕСЧЕЛОВЕЧНОЕ.

Из-за непомерной их громадности люди теряют из виду то необратимое, что происходит внутри каждого. Многие, видно, думают, что возможно разгуливать вдоль оси происходящего, оставаясь свободным, если что — вернуться к упущенной развилке и "выправить" курс. (Примерно так советовал М. Калинин на партсъезде 25-го года: голосуй "за" со всеми, а в уме держи — "поправим на практике").

До сих пор "что" и "кто" волновало больше, чем "кого" и "как". Дотошно изучали изменения в структуре и функциях и табличках героев нашего шестидесятилетия — партии, "органов", Советов, профсоюзов, начисто упуская, что сами-то изменения зигзаги событий — были *реальнее и мощнее* институтов и аппаратов, которыми они совершались. Ни один зигзаг не проходил бесследно для людей — тогда как партии, классы и группы исчезали без следа... Зато *само* бесследное исчезновение людей и их созданий — этот *опыт*, эта *жуть* — оставались прописью в сознании уцелевшего. Поэтому судьбы людей и наполняемых ими учреждений, предприятий сообществ — в большей степени определялись именно этой *памятью*, чем даже пресловутыми злодейскими "директивами". Определялись не спорным вопросом — ЧТО ДЕЛАТЬ, а точным ответом: КАК ДЕЛАЛИ - и НА КОМ.

До поры это скрадывалось героикой реализации "великих замыслов", а на ту вскоре набегала сутолока *провалов*. В сведение счетов за них втягивались исторические эпохи, партии, ведомства и национальности, но и тут обязательно — жизни: без счета. То, однако, что жизнь не прерывалась все эти годы, сорок ли, шестьдесят, а *ими жила* — это самое прочное, почти непошатнувшееся и страшное. Ведь происходившее и посейчас не отпускает людей "восвояси". Войдя внутрь народа, *став им*, прошлое обернулось основами сегодняшней его взаимоожесточенной распри. Оно властвует — но не сознается.

В *основах* безнародно обобщился каждый наш год, взятый в его личном и общем итоге — в тупике. Это и есть материализованные "шестьдесят" — материализованные в каждом прожившем их и выжившем в них человеке. "Основы" эти долго противились любой огласке, они были несовместимы с любой "конституцией", превра-

щая все правовые процедуры — в бюрократические любезности. Демократическое движение измерило их силу дорогой ценой, хотя еще не извело до дна. Так мы узнали, насколько сегодняшний итог вчерашних событий и судеб — враждебен завтрашней *жизни всех*. Сила и мощь основ — не в догмах и не в ядерном, танковом или дипломатическом потенциале нашей сверхдержавы; она — в повседневной *неоспоренности*, при малейшей угрозе которой она из гнетущей переходит в тупо-карательную. Неоспоренность исключает *внутренний выбор*, различия внутри народного сообщества. А подзапретный выбор превращает сообщество в *множество*, в котором исключена законность разнообразия, в сброд, который всегда подвержен *разброду*.

Все мы сегодня разные — двести восемьдесят миллионов *разных людей*. Различия же на сегодняшнем языке суть "пережитки" и "недостатки". Они молчат, им не дано право голоса, им никто помешать не в силах. Но и закон об этом молчит. Наши различия не существуют для Основного закона — здесь это не норма, а "имеющий место" факт, наш "личный произвол", своеволие, опасно близкое к разномыслию. Их почему-то терпят, но любое из различий завтра может быть признано преступным и подрывным.

Что происходило в людях и с ними все эти сорок лет "действия" Третьей конституции — такие сорок, что, потеснившись, растворили все, без остатка, послеоктябрьские шестьдесят? Здесь нужен был бы спор, но его нет, а стоит ли заменять отсутствие спора собственной "теорией"... и возможно ли это сделать? Без того теорий этих плавают в советологии да в Самиздате как фрикаделек в супе — *не сообщаясь, не соглашаясь*. А между тем, что до них нашей загадке — *основе* нашего общества, столь таинственно-неуловимой, но при том доступной, навязчивой и постылой; упорно противостоящей человеку и обществу людей?

Молча видоизменяясь, гигантскими скачками завладевая все новыми ресурсами общества, государства и быта, эта "основа" сама не стала ни объектом социологии, ни темой огласки. За полвека она где утратила, — чаще же и не обрела никаких точных, измеримых контуров. На какие "единицы" и "части" она подразделяется, без чего не могла бы держаться — все у нас тайна, все неведомо и гадательно — ведь ни разу эти "элементы основ" не могли ни выразить, ни быть кем-то названы вслух. Искусственно приторможенные "здесь", где-нибудь "там" попросту политически оболганные (ведь существовала целая сталинская система измышления противоречий),

элементы, входящие в *основу* нашего общества и государства, до-селе только *возможны*, а не *есть*.

Наш проклятый *предмет* не просто "вне" анализа и теорий, но и упрямо *сопротивляется* превращению себя в *теоретическую* проблему, — тем, что противодействует превращению себя в предмет *демократического* спора, гласного преобразования. Не потому ли так смехотворно беден итог всех попыток "взять" советскую историю советологическим штурмом? В арсенале этих попыток — объяснения, составленные из двух-трех банальностей (борьба "ленинской секты" за тираническое одновластие, спор революции с термидором, борьба "бешеных" с "умеренными" — и, конечно, вечный, вечный ТОТАЛИТАРИЗМ) — чередуются с цветами воображения, экзотическими гипотезами орвелловского Левиафана, византийско-татарских истоков Руси и таким же "вечным возвращением" опричнины и Петра-Антихриста.

Что, если оттого ни одна не годна, что все понемножку верны? Оттого, что все традиции, нравы, уровни нашей "основы" *не размежеваны*, занятые в ней силы не нашли и не узнали себя, — в сущности, ни одна не состоявшаяся..? Вот обычная повседневность, из основных: далеко отстоящие, по всему разные люди — разной душевной расположенности, культурных и нравственно-психологически несовместных *типов* — вынуждены бок о бок тереться всю жизнь из-за *одного-единственного, государственного* пути к успеху и признанию? Обреченные на жизнь в карьеристской толчее, искореженные этой давкой они коверкают и пути, которыми пробиваются, т. е., прежде всего, — *официальные*. И разве редкость, когда личность, по всем нравственным данным устремленная в *гангстеры*, именно по этим-то данным приневоливается жизнью к руководящей, идеологической, а то и научной карьере? Защищает, например, докторскую диссертацию, а самому диссертанту (по всем ухваткам видать) — вот бы планировать в кругу соучастников налет на универмаг или, там, перекупку игорного притона.

Основы нашего общественного состояния неделимы. То, что гарантирует человеку какую-то работу, а, следовательно, свою долю вещей и уверенности в завтрашнем дне — соединено с ускользанием суверенитета из рук этих "обеспеченных" — в размещенную "тут же", чресполосно с повседневностью каждого, но далекую и недоступную сферу *власти*. Если бы попытаться возвести *эти* основы в Основной закон, мир увидел бы, наверное, самую сумасшедшую "правовую" конституцию. НЕВОЗМОЖНО НОРМАЛИЗОВАТЬ ЖИЗНЬ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА, ПРИЗНАВ НОРМОЙ И КАК-ТО

”УПОРЯДОЧИВ” — ЕГО *СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ*. Величина несведенности нормы и практики, официальной ”реальности” и доступной простому глазу данности — равна полувековому взаимоотчуждению разных итогов Октября и бесповоротному распаду послереволюционного общества — суверена.

Нет, лишь стронувшись с утопанной государством мертвой точки, в собственное движение, общество смогло бы признать в своих вездесущих и всеильных *недостатках* — искаженное и задавленное *разнообразие различий*, отделив от них все случайное, насильственно втиснутое в ”основу” либо произвольно к ней причисленное. ”Основа” общества должна оказаться в центре спора и сомнения — **МОЖЕТ ЛИ ОНА ВООБЩЕ БЫТЬ ОСНОВОЙ, ПОЧВОЙ СВОБОДНЫХ РАЗЛИЧИЙ** внутри нормальной и согласной жизни людей? Лишь такой, проникнутой речью и мыслью, эта почва нашей жизнедеятельности перестанет быть общим *роком*, став тем, что можно возделывать и преодолевать.

Как и каким анализом — в этой давке без виноватых, в месиве центробежных тенденций и реакционных стремлений, среди всего, что за шестьдесят лет ”не успело” приобрести подлинное лицо, имя, тип, — могли ”возместить” теорией *отсутствие* общества, нуждающегося в знании и критике самого себя?

Но оставлен другой путь — анализ основ *их же анонимностью, непрявленностью*.

”Непонятность” — не одно из свойств того, что происходит с нами сейчас; она — принцип, ось происходящего: безнародность свершений и невыговоренность вершившихся итогов. Итоги все равно подводятся, только *без нас и против нас*, и наш долг — их понимать. С этим шутить опасно, такова единственная сейчас полная ясность: *несделанное и непонятое* ранее — ”сегодня” *вдвойне непонятно* и (в том виде) неосуществимо. Все споры оборваны, несоответствия не признавались самими собой. Они стали не задачей, не темой, а *объектом* — борьбы, яростного отрицания, сменяющегося ”оттепелями” лицемерного игнорирования. Именно на опыте этой борьбы выросла сталинская машина *ликвидации противоречий* (вместе с их носителями!). Совершенствуясь и втягивая в игру все служилое общество, она приступила к *измышлению* разногласий, могущих стать объектами дальнейшей борьбы. В мире последней четверти века — сама она стала источником опаснейшего, глобальных масштабов ”несоответствия” — точкой роста общественно-го и личного Сопротивления, не ограничивающегося рамками госу-

дарственных границ, — как не ограничивается ими масштаб всемирной угрозы!

Вот где сегодня ПЕРЕДЕЛ неясности: он же есть — ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ВЫБОР, начало конца бесчеловечным тайнам наших "основ".

Дальше им не продержаться, властвуя исподтишка над умами и событиями, над речью и жизнью людей — без нашей прямой или косвенной иезуитской поддержки. А мы, в ожидании "будущей" ясности, разве можем *теперь* разрешить непонятному ПОДЧИНЯТЬ СЕБЕ НАШИ ПОНЯТИЯ И ВЕСТИ НАС НЕПОНЯТНО КУДА И К ЧЕМУ?

9

Какой-то призрак бродит по России.

Это он добивается расщепления нас на бессильные человеко-единицы: вынужденные ли искать зависимости и покровительства, вступая в несвободную связь с государством, или бунтующие, "отщепенские", противопоставляющие себя "всему и вся".

Наш призрак — сила не "официальная" и не "инакомыслящая", а ТРЕТЬЯ. Третья сила остро нуждающаяся в норме чрезвычайного положения. Ей не нужен *никакой* строгий правопорядок, демократический или нет, ибо эта сила не может быть согласована ни с какой независимой от нее *нормой*. Она готова в подходящем случае разнести ею же установленные правовые рамки, ничуть не смущаясь тем, что при этом ограничивается "авторитет" под любой вывеской — КГБ, СССР, КПСС.

То, что ограничивает законные институты, не ограничивает третью силу.

И если она сумеет, то не допустит *демократического* решения никакого вопроса, даже вопроса действительной безопасности страны.

Третья сила не оставит никому *выбора*, если итог выбора и самый его акт ставит выбравшего — будь то любой из нас, нация или весь народ — в независимое от нее положение.

Не допуская тени спора с партийной монополией в государстве, третья сила и самой КПСС не оставляет тени независимости, возможности внутрипартийных споров. К тому же она ВНЕ ИДЕОЛОГИЙ; ей ничего не стоит пренебречь догмой и превратить "общественный базис" — в маловажную подвеску к его же мнимой "надстройке" — государству, в декоративное охвостье сверхдержавы, ее красный уголок.

Третья сила – не народ, не общество, не партия, даже не Госбезопасность, хотя проникла она всюду, в каждую клеточку названных образований. В ее авангарде – *организованный сброд*.

Одной из главных задач этой силы со времени принятия Конституции 1977 года, становящейся *единственно суверенной* в СССР: не допустить привычки к разномыслию в общественном быту, сохранять тот "единым и однородным". Статья 19-я ("Советское государство способствует социальной ОДНОРОДНОСТИ ОБЩЕСТВА, стиранию СУЩЕСТВЕННЫХ РАЗЛИЧИЙ...") – это ИХ статья, пароль для всего клана борцов с разномыслием, врагов разнообразия и права каждого быть самим собою.

А диссиденты – особенно *вне* гражданского, правового, общественного контекста – те пускай будут! "Противостоящие государству" – вечный красный свет в лицо, жизнь под непрерывную, оглушительную идеологическую сирену, – это конек третьей силы. Стоит гражданину переступить отведенную ему новым Законом "черту оседлости": дом, полуобеспеченный семейный быт и служба государству, как он "диверсантом" попадает в *государство № 2* – теневую сеть номенклатур, звонков, утрясок "между своими"... Караул! все средства ведения внутренней войны – к бою!.. Вот ИХ норма, ИХ понятие о *безопасности*.

"Их"..? "Они"..? Бродячий призрак, чертово местоимение, которым в России пользуются чаще, чем "я", "ты", и "мы" вместе взятыми. В каждом разговоре виновниками выступают какие-то ОНИ – и всякий раз эти ОНИ – кто-нибудь другой. Где "их" не помещали!..

И они, действительно, повсюду есть.

Центры "их" могущества, нервы "их" коллективного бессознательного размещены по ту сторону официальных ведомств – и, вместе с тем, *внутри* каждого ведомства, в *ядре* любой государственной, общественной и хозяйственной силы, лишь только та перестает быть самою собой в правовом отношении.

"Их" всеприсутствие дублирует сферу распухшей "государственной власти". Всюду, ГДЕ ВЛАСТЬ – ТАМ "ОНИ": но где завелись "они", там власть всегда парализована, захвачена и работает на чей-то негласный интерес, который тебе нельзя знать, – обращена в источник дополнительного престижа и закулисных выгод – и их тоже знать нельзя... Все это несколько напоминает старозаветную *'кухарку, управляющую государством'*, но добавим, управляющую им – прямо из коммунальной кухни. Управление – вдоль и поперек законности, "участие граждан" – только через частное воздействие

престижем, связями и средствами, "в порядке исключения" — пусть исключений таких миллион и ими решается почти все; существенное же — *все*.

Здесь и подвох. Государство из Четвертой конституции, всеобщий правопреемник и всесильный собственник, *ни шагу* не может ступить, чтобы не выйти за пределы собственной правовой системы. Она может совершать то, что вещает, только отрекаясь от того, чтобы вообще быть *государством* — эффективным орудием общей воли.

...Чтобы, например, "охранять семью" (?), у государства нет ни оснований, ни законных средств, поскольку семья создается на основе "добровольного согласия мужчины и женщины", существует только на этой основе и прекращается без этого согласия. Тут *некуда* вклиниться *конституционно* действующей власти. Притязать на "компетенцию" во *внутри*семейных конфликтах государство смогло бы, только отрекаясь одновременно от публичного права — без которого и государства нет.

В этом случае притязания на "защиту семьи" *нисколько не лучше* отказа установить твердые рамки для Государственной Безопасности. И то же происходит буквально с каждым вторым тезисом государственного "приоритета" — например, с провозглашенным *задачей государства* "воспитанием нового человека". Что это, если не бездарная и претенциозная метафора, типа: "армия — школа жизни", "профсоюзы — школа управления", "тюрьма — школа перевоспитания"? Та же неопределимость, которая, попав в текст *Основного закона*, неизбежно становится в нем антителом, открывая черный ход для карательных истолкований и стоящей за ними *третьей силы*.

И так всюду. Всяду, где степень государственной компетенции не отвечает ни опыту нашей жизни, ни отдаленным возможностям государства — "хартия вольностей" превращает текст Конституции в условный пароль *для каких-то своих*. Да и какой вообще рациональный, административный и даже какой *бюрократический* смысл имел бы государственный приоритет в "защите духовных ценностей и использовании их", в "защите семьи", в "превращении труда в первую потребность"..? Неограниченное в *такой* степени государство — это в первую очередь государство *неэффективное*. Не фикция ли вся его мощь? И есть ли узаконенное за государством последнее слово — слово *решающее*? По тому судя, как идут дела у всех нас — нет, да это и не важно. Воспевать Авторитет Государства, ведь, не означает и не обязывает *дать* ему показать себя на деле —

помощью в решении хозяйственных и общенародных проблем. Провозглашая невозможное государство, ему не оставили возможности гражданского развития: у него нет ни малейшего общественного простора, никаких шансов действовать и развиваться.

Стоит лишь вдуматься в несостоятельность всех этих: "государство заботится", "государство обеспечивает", притязающих там, где они *десятилетиями* неспособны что-либо наладить и обеспечить, — и станет ясно: нечего ждать действительных порядка и руководства. Реальная, дееспособная *власть* не нуждается в мании величия. Ей потребовались бы *не приоритеты, а законы и правопорядок*, которые соответствуют нуждам общества и соблюдаются им. Единственное же, на что способна сказочная сторукая "власть", проектируемая новой Конституцией, что она может и намерена осуществить, — это *изъятие* у человека его гражданской, правовой, хозяйственной и, наконец, — *личной* самостоятельности, отображение всех обычных, законных статусов "в казну"... Кто же тогда станет *решать*? Никто; а расхлебываться будут все и каждый, ежедневно и повсюду, "на территории СССР, включающей территории всех союзных республик".

Наконец, такого государства *нет*, и извлекь его из бумажного ларца простым актом Верховного Совета и утвердить в обстановке социального распада немыслимо. Но в этом ли *подлинный проект*? Стремился ли он достичь абсурдного идеала — или узаконить некую *антиобщественную* перспективу "оползания" всех государственных институтов и прерогатив? "Четвертая", видно, стремится зафиксировать не более — но и не менее, чем *переход*, и в аляповатой форме этактистской утопии скрыть характер далеко идущих поползновений.

Видимо, не случайно невероятный объем прерогатив Государства возник в проекте Конституции в одной упряжке с еще более беспрецедентным для СССР понятием *личности*. "ГОСУДАРСТВО И ЛИЧНОСТЬ" — не просто имя центральному разделу Четвертой конституции, но и едва ли не ведущая ее тема. Личность определена только *через* Государство, через безоговорочное его преимущество. (Государство "базис", а личность — "надстройка": вот последний отголосок сталинской зубрежки). Соподчинив эти реальности, разъяв предварительно каждую с ее природой, ее воздухом, можно попытаться *личность без общества* "согласовать" с *государством без права* — намертво, навсегда. Поэтому и понятие *частной жизни*, неотделимое от нормы *всякого* светского государства, и понятие *общественного строя*, этого нормального *порядка* взаимодействия

мнений, инициатив, поощрения признанием, уважением и престижем — фактически изгнаны отовсюду десятками положений.

Ось Четвертой Конституции — *прямая противоправная смычка Власти и личности*. Только что это будет за *строй*, кто в нем будет свободен и волен добиваться успеха в рамках "законности"?..

Вот не только подсказка на вопрос: *кто "они"?* — но и почти весь возможный сегодня ответ.

ГОСУДАРСТВА НЕТ — НО И НЕТ НИЧЕГО, КРОМЕ ГОСУДАРСТВА. ОБЩЕСТВА НЕТ — НО И ЛЮДИ НЕ МОГУТ НЕ ЖИТЬ СО-ОБЩА. Так складывается азбука ОГОСУДАРСТВЛЕНИЯ. Здесь достигнутый и нарывающий среди нас предел распада, разложения народного сообщества. На одном массовом его полюсе царит хаос — социальный, экономический, нравственный *разброд* (по самым случайным причинам и поводам); на другом, также по всякому дурацкому поводу, возникают и укрупняются нешуточные очаги *организованного сброда*, — огромной силы во времена общественной давки. Неосуществимость, невозможность нормальной жизни, преследуя человека по мелочам — в мыслях, на службе, в частном быту — принуждает и подталкивает его к "превентивному" самоогосударствлению: к сращению своей личности с тем или иным "щупом" или корешком власти, прущей за официальные пределы. Такое "приживление" себя к государству — вот первичная клеточка огосударствления, откуда разрастается раковая ткань. Личный выбор в среде вольно признанного коллектива запрещен, он полувозможен лишь наедине с близкими — либо с самим собой. Зато материализована и все расширяется зона всякого рода *незаконных посредничеств*: пуповины, которая и соединяет подданную личность с государством — без участия общества, без правового пространства между ними. Подневольность и незаконность этого сводничества между человеком и тем, без чего ему не обойтись, как бы "не замечается" органами охраны порядка: без "левой" (в *русском*, а не *политическом* смысле!) практики не станет работать ни один орган.

Параллельно вывихнутой, несочленяющейся формальной жизнью вокруг нас — идет какая-то *другая*, и она-то стягивает в подпол наши возможности распоряжаться, соглашаться либо нет, решать. Попробовать же все-таки, "плюнув на все" — решать самому, это — инакомыслие.

Явления эти обычно рассматриваются как "засилье бюрократии", в газетах же не толкуют о разрозненных случаях произвола мелких начальников. Однако Конституция 1977 — другого мнения. Она свидетельствует, что "*мафизация*" страны — *догнала, перегнала и*

подчинила себе "бюрократизацию" государства, достигнув той точки, когда начинает нуждаться в соответствующем себе "политическом строе".

В ЭТОМ – КЛЮЧ К ТЕКСТУ ЧЕТВЕРТОЙ КОНСТИТУЦИИ.

Тогда понятна его равная в раждебность как трудовой, так и правовой демократии – в принципе и на практике.

И апологетика всеприсутствия неопределимой власти.

И слипание равно недемократических, ведомственных "суверенитетов" – государства, партии, госбезопасности, – определяемых *вне* конституции – при безграничности сферы влияния каждого из них.

И предусмотрительное "чрезвычайное законодательство", и провокационный тон всей седьмой главы, истолкователь "оговорок" которой нам теперь ясен. Это – *субъект внеправовых полномочий*, третья сила: "кентавр" с миной Государственного Человека, но с ляжками *мироеда*, для которого власть – не работа управления государством, а первооснова *его* владения, источник *его* "права голоса" и "авторитета".

...Вместо демократизации государства, вхождения суверенного общества в необходимые ему государственные и правовые институты – "огосударствление" привело к *вторжению* государственных служб и ведомств во все поры и трещины, во все различия и разломы общества.

Государство "вникает" во все дела его граждан – во все наши конфликты, вплоть до разводов и ученых споров. Но такая "проницательность" лишь ослабила его способность *знать и решать* общее, общественное, необходимое для всех. Перегружая все свои органы неполитической, частной информацией (безопасность прежде всего!), обремененная сведениями о тысяче ей ненужных человеческих мелочей, власть сама себя обрекает на *неспособность*. Ревностно оберегая бюрократический централизм своих органов, она между тем утрачивает *даже бюрократическую* органичность их строения, согласования и самоконтроля. Так вот, иронией истории и ее самой ослепшим ходом, при общенародном участии в СССР осуществился диалектический идеал "отмирания государства"... "через относительное его укрепление и усиление" (И. В. Сталин). Недоверчивое к своим гражданам, вечно в распрях, разъединенное до костей страхом и забыванием, наше общество стало человеческой трясиной, в которую забралось – и вот уже четверть века распадается, вымывается и хиреет, во славу органов своей "безопасности", некогда до жути всемогущее государство.

И теперь уже "воспитанные" в этой трясине группы, сквозь проломы в законности, сами *вторгаются в политический строй*, подобно варварам в Риме, исподтишка, там и сям орудуют и вертят государством — не становясь нисколько суверенным "свободным обществом всех трудящихся России". (Конституция 1918 года). Мы сегодня — не более, чем его перевертыш *антиобщество* — разобщенное, несогласное — и не считанное никогда! — "большинство". Сегодняшние "мы", вот эти двести пятьдесят миллионов, в правовой несuverенности уравниены с Государством. Мы не можем править или даже знать, чем там "оно" занимается — зато и оно ничего не в силах поделаться с нами, когда мы начинаем *вести себя подобно ему*: серым по серому.

Четвертая Конституция целиком построена исходя из предпосылки, что ОБЩЕСТВА, ОТЛИЧНОГО ОТ АППАРАТУРЫ ГОСУДАРСТВЛЕНИЯ (государство "плюс" личность) БОЛЬШЕ НЕТ. Но тогда и ни один коренной вопрос жизни народа, действительно, *не должен и не может* законно решаться общественным путем! ОБЩЕСТВЕННОЕ теперь имеет только два аспекта: либо "неоплачиваемое" "маловажное" — либо ПРОТИВОЗАКОННОЕ.

Конституция 1977 года — система легальных паролей для утеснителей общества. Это — не группа и не класс, а, как правило, "случайно подвернувшиеся" негодяи, составляющие на поверку *организованный сброд*, все более входящий в силу повсюду в стране. Но даже и он — всего лишь фрагмент, отвратительная "подробность" нашей потери суверенитета и независимости в своей же стране, *после Победы, в мирное время*.

Независимости личной, общественно-политической; независимости культурных и национальных решений, наконец, — *всякой реальной независимости*. Разве еще не ясно, кто сегодня берет на себя повседневное истолкование "интересов государства"? Кто пуще всех ревнует об охране его "безопасности"? Кому плевать на законы государства — но тем пуще он бдит над неукоснительностью официального "авторитета"?

Кто? *Некоторые* — но также и все.

Такие "все", среди которых эти "некоторые" мироеды и могут действовать, водить нами, идти от успеха к успеху — особо не выделяясь.

Такие "некоторые" (те самые "они"), в каких могут со временем превратиться *все* или почти все — уже и сейчас кое-где боками смахивающие на "некоторых".

У провисшей было на какую-то мировую "секунду" сталинской

пирамиды нарастает новое, *неполитическое, неревOLUTIONное* (послеоктябрьское) — но, в старом смысле слова, и *не общественное* основание. Благодаря трем "не" новый противоправный субъект впервые претендует не только на массовость, но и на *всеохватность* и на *общий интерес: порядок вопреки праву*. Теоретический "язык" не поворачивается называть такую новинку, — кстати, первую, не сопряженную с именем "автора": Сталина, Ленина или Петра — "обществом". Ради случайных, но всегда для каждого — неизбежных мотивов, люди в СССР сегодня трудятся на кошмарное уравнение, устраняющее все культурные, правовые и исторические промежутки между человеком и бесчеловечной силой. **НО ЗНАК РАВЕНСТВА — РАЗМЫТ**, и в нем-то помещается "третья сила". Она одновременно и умеряет нынешний моральный кризис, и — тем — делает его гораздо опаснее: остановив на полдороге к возможной общественной крайности к общественному разрешению, внося градации (неправого!) *порядка* в продукты человеческой *деградации*. Третья сила становится всеобщим *посредником*. Как бы ей не стать и единственной *средой обитания*...

У простоты наших основ иной логики нет.

10

То, что сегодня произвол играет и "прогрессивную роль", хорошо известно каждому, кого в делах сопровождала удача. Подобно поголовному взяточничеству азиатских режимов, *поголовный* произвол "очеловечивает" систему: это неизбежно там, где закон вовсе отсутствует либо таков, что не в силах сочетаться с живыми людьми. Если случается с нами, что нас "приотпускают" — и этим мы обычно обязаны произволу (исключения редчайшие). И даже тут некоторые замечают "прогресс". Любой успех в борьбе за права, даже когда с обеих сторон он достигнут обычным неправовым нажимом (...Картер...торговля...обстановка...неудобно... Вызвать такого-то!.. — Освободите сякого-то!..), полагают равным сокращению произвола, отмиранию его источников. Видно, так уж устроил Иосиф Виссарионович наши головы, что они представляют себе *основы* неким монолитным, законченным телом, которое "постепенно", "от успеха к успеху", "неумолимым ходом истории", которую "не остановить" — сдвигается в *сторону*. — А НЕ НАОБОРОТ ЛИ? Нет ли в самой системе расширения и узаконивания практики закулисных ходатайств и покровительства (внутренних и международных) того же маскирующегося под "прогресс" произвола, различающего

нас по привилегированности: один *вякнет* — его *выпустят*, а тот — ...с того и кирпича хватит..? Идет гибкое *самоограничение* произвола, рост его *сознательности как произвола*: он ведь тоже учится, а не "уходит в прошлое", — ведь не уходим в прошлое мы. "Размягчение режима" — лишь метафора его *правовой непролазности*, нарастающей с каждым днем по мере утраты всякого общего дела, общей идеи. "Размягчение" — будничный раскол между житейской необходимостью *все решать и действовать самому*, раз уж "всем все до лампочки" и — *невозможностью* ни шагу ступить достойным человека образом. *Ни шагу!*..

И тут произвол "спешит на помощь"; он перегруппируется, отбирает эффективные средства, вовлекает новые человеческие ресурсы и уплотняется. — *В своем роде* он уже осуществляет ту программу "рационализации" и даже "демократических реформ", которую вежливо и тщетно предлагает никому Р. Медведев. Произвол всех защитит! Только он и защитит тебя — и от закона, и от его бездействия. Только с его помощью вызволяют себя из людоедских склок нашего быта — к свободе? Нет. К привилегиям, к бестревожным государственным синекурам..

Правда, привилегии эти мелочны и нищи — завистливый домysel их сильно преувеличивает; а "тревоги" там свои — и там тоже давка. Чего только стоит попасть в государственную науку или, например, в "Главмарксизм", — а попал, и новые угрозы, среди которых разнузданный, особенно в "общественных науках", *идеологической гангстеризм*. ("С темнотой коридоры пустеют"). Все атрибуты организованной преступности: корыстные цели, групповой сговор, психологический террор, престижные взятки, дележка — чем не мафиози без автоматов!.. Защищай себя, свою безопасность, будущую степень и "Жигули" — превращайся в сброд!..

Но все это лишь зыбь на поверхности, на *горизонтали*, где дерутся между собой из-за ерунды всякие верхоплавки. Труднее взору проникнуть вглубь, где кипит позиционная распря "титанов" и продолжается раздел секторов политического руководства безликими, но сплоченными сборищами, захват зон "территориально-ведомственной компетенции", — опрокинутых к тому же, на иерархическую *вертикаль*: и ту стремятся захватить, растаскивая по звеньям "сверху донизу", заполняя *своими*, всяческие клики. А навстречу этому, "снизу доверху", с энтузиазмом рвется молодняк...

В том же русле, по-своему, развивается и *экономика*, это избалованное опекой и заботами государства и такое неблагодарное его

дителя: разветвляются теневые хозяйства, скрываются резервы, множатся "левые повороты" и "добавочные зарплаты"...Особенно весело и доходно протекает срастание гнезд анонимного капитала и рынка запретных возможностей и потребностей с родо-семейными и "дружескими" кликами, преобразуя звенья партаппарата, бюрократического управления и обрубки пока еще контролируемых тем путей — в службы *частной безопасности*, которой все чаще удается контролировать своих коллег из *государственной*... Эта активность предоставляет групповому и личному обогащению, престижу, расхищению государственной собственности и суверенитета — тот самый *законный статус*, что отобран у нас всех!..

Много ли тут будет стоить "право жалобы" и "право на критику"? Ведь обжалуемые действия органа — идут *не от самого этого* органа, и сам он уже себе не принадлежит — как, возможно, и тот, куда ты пожаловался?! И вот, понемногу, пока идет тот самый календарный "прогресс истории, которую не задержать", а где-то в туманной дали мерещатся предписанные им "права и свободы", в реальной действительности прорисовываются смычки между ВСЕМОГУЩИМИ центрами *государственной силы*, всякими "человечками", которые, как оказывается, тоже ВСЕ МОГУТ: достать, нажать, утрясти, "дать понять" и — весьма необходимыми в наше время, хотя и дефицитными *деньгами*. А уж деньги наверняка МОГУТ ВСЕ по своей экономической и отечественной природе. Элементы находятся в брожении. Пока главные еще не определились, пока они взаимозаменяемы: деньги — равным по выгоде престижем; репрессии именем власти — репрессиями от лица такой же всемошной идеологической словесности. Взаимовосполняемость же аппаратов и средств партии — государства — госбезопасности, осуществляемая за спиной закона, показана выше.

Что готовит нам эта "смычка"?

Если не увлекаться гаданиями и прогнозами, надо бы спрашивать: *что ей доступно сегодня?* Ответить проще, а по ответу мы прочувствуем и завтрашнее...

Замечены редкие, порознь непонятные и "незначительные" явления. Хотелось бы написать "последних лет" — но мы их только *заметили* теперь. Заметили, познав: противоправность, произвол — не "пустота", не отсутствие или "еще не введенность" права, но напористые, полные собственным противоправным содержанием — *основы*. Впрочем, новизна все же есть: эти явления, похоже, *заметили*, оценив в них новизну возможностей, и их авторы.

Речь идет о близких к прямой уголовщине акциях нарастающей

степени тяжести: вторжение в жилище, лжесвидетельства под присягой, угрозы по почте и по телефону, наконец, — прямые нападения из-за угла, — все обычное для Уголовного Кодекса. Но поставить их в особый ряд заставляет осязаемое во всех этих "делах" (когда закулисное, когда и не очень) присутствие *должностных официальных лиц*: — и хорошо еще, если не самих государственных учреждений!..

Тут особенно скользкая тема — дураков нет, ничего доказать нельзя (противоправный трест может *функционировать* и без бумаг). Но это же и самая корневая тема, решать которую приходится в режиме "SOS!".

Не доведись нам услышать о *случайно* — зато "кому надо" — проломленных черепах, избиениях в подъездах; не загляни мы в ясные глаза лжесвидетелей, уверенно излагающих даже *несущественные подробности* не происшедшего *вовсе* "происшествия", пришлось бы и нам разнудать свое воображение. Но мы в этом не нуждаемся. Просто надо додумать до конца то, что существует — *опыт произвола*. Додумать и оценить его глубину, *последнее дно* политического и морального вырождения: "органов": — без демократического организма; могущественных средств — без целей; целей — без общества; общества — без лиц и личности; людей — без нормальной жизни и без свободных отношений с себе подобными. Ведь это — *сигнал*, если в происходящем "на людях" не проведешь черты между обычной уголовщиной и организованной преступностью: *организованной извне и сверху*. Жутковатый акцент: преступность, организуемая органами охраны порядка и безопасности. А вдруг ничего подобного нет?..

Возможно. Дело не в том, чтобы кого-нибудь заклеить — до следствия и суда — отвратительной этой виной. Ответственные за направляемый "сверху" гангстеризм сами себя исключают из гражданского общества, оставляя весь груз подозрений на своих ведомствах, поскольку те избегают расследования. Но "если нет?" у всякого здравого рассудка готово ответное сомнение — А ЕСЛИ ЕСТЬ?.. Собственно, взятые вместе, обе эти возможности составляют *одно событие, одну реальность*: зыбкость личной безопасности, личного достоинства, всего только НЕБЕЗУСЛОВНОСТЬ, ввергающая в озноб. "Ты существуешь? — гласит ее принцип. — Значит, с тобой пока ничего не сделано".

Чем двусмысленней — тем действеннее, тем ярче спектр ассоциаций, вовлекающих в прямое, немедленное и *реальное* давление на личность весь многолетний капитал страха в поджилках: истори-

ческий русский опыт. "Что они могут?".. *Все могут. А что может быть?.. — Еще хуже*". Разве один только слух о таком, его *неопровергаемость* — нарочитая — не прямое покушение на основы жизни и личности? Выходит, не сама поднялась из гроба, а норовят ее оживить, эту древнюю страшную сказку про **ОРГАНЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВСЕ**.

Это неизбежно. Этого не могло не случиться. — Пусть не в вещественно-уголовной форме, а в виде уголовных угроз и намеков (на сегодня, кажется, есть и то и другое). Неразличимость преступления, если оно достаточно велико — и закона; неотрывность органов защиты — от органов вмешательства, заложены уже в простейшей клеточке нашего бесправия, в том, что **ЧЕЛОВЕК НЕ САМ ЗА СЕБЯ РЕШАЕТ**. Все дальнейшее только "примеры из жизни" этого принципа — будь то семья, "защищаемая государством" (а не *правом* — от государства и от всех), — будь то само наше "право", которое сперва "расширяется по мере...", затем "неотделимо от обязанностей", затем — оно же — "есть долг", а, наконец, его нет вообще!..

11

НАШЕ СОСТОЯНИЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОХРАНЯЕМОЙ ОСНОВОЙ БУДУЩЕГО РАЗВИТИЯ, ни само изменяться в лучшую сторону. Оно нераздельно с властью, которая не способна ни изменить целое, частью которого она является, ни, тем более, вызвать развитие из "социального ничего". Потому авторство, самостоятельность, инициатива, исключение "сверху донизу", минимума своего достигают именно "наверху".

Это состояние невечно и неравновесно. Попытки подмораживать его то там, то здесь — репрессиями, запретами или уступками (на неизменной базе огосударствления) лишь подстегивает инволюцию общества и государства, захватывающую все силы: от охранительных и пассивных до противостоящих. Своеобразная эта дезинтеграция, соединенная с умножением прерогатив государства, порождает направляемый общественный распад, создающий простор для "срастания" личности с властью. Простор для власти, безысходность для личности, — такое "развитие" прекрасно обходится без правопорядка и с каждым днем все дальше уводит нас от него и его шансов. Углубляется пропасть между нашей жизнью тем, что мы есть, — и живым человечеством; между всеми — и каждым. Все силы полураспада слипаются в новый исторический блок, в ту самую "черную ось" бюрократической предрежденности, действие которой сегодня

смертельно опасное, завтра станет гибельным и преступным.

Двусмысленен успех даже тех, кто носится с идеей "сильного государства". Новая Конституция — *не о том*. Идеал государственничества есть лишь утопия прочной власти — полуофициальная вера, негатив распада системы управления. В "государство-хозяина, который заставит себя уважать", необъединима ни одна из сил современного разложения — ни власть имущих, ни тех, кто от власти устранен. Да это и не входит в подлинные намерения организованного сброда, который громче всех вопит о "Хозяине"; сам будучи собственником государственных полномочий и распределителем гражданских "повинностей". Быт нашей "утопии" — взаимораствление общества и государства, тонущих в состоянии безысходности в целом и неспособности по мелочам. "Делай, что хочешь — но без Государства ничего!" — это мало похоже на административный рай. Неавтономная, никогда ничего не решающая окончательно, наша бюрократия — лишь передаточное устройство в системе тайной власти: она причастна к ней, но не она властвует. По новой Конституции представители ее смогут рассчитывать на свою же ведомственную формальную компетенцию, только прибегая к неофициальным, двусмысленным "формам" утряски, к выходам на то или иное "могущее лицо", свой же аппарат обгоняя "слева". "Формализм" очевиден, но в конце его процедур не предполагается *результат*. Главное — предписать нам свыше стертую *форму подданства*, заведомости, предрешенности. Эта форма — обуза, к тому же не дающая тебе никаких ни на что оснований, предоставляет зато все, что ты делаешь, все *твои* успехи и результаты в полное распоряжение анонимной власти. Если надо, тебя, "нашего парня", противопоставят "паршивой овце", форму не блюдушей — и вас перессорят, ввергнут в недоверие и раскол, чтобы затем — от твоего же имени! распорядиться против "врага" государственным органом. Формальная законность запускается из подполья власти — неизвестно кем.

Этой парадоксальной "бюрократизацией без власти" поражены все стороны системы "партия — авангард руководит государством". Но контуры этой досталинской формулы сохранились и в месиве огосударствления — они даже возобновляются, ибо дают удобнейшую санкцию на вторжение, вмешательство, на подрыв кое-где возникающих островков общественной рациональности. Впрочем, есть резоны и у "руководящей роли...": государство, укрепившееся под ее руководством, неспособно ни к самоконтролю, ни к "приличному поведению" — оно *несамоуправляемо* и потому "непроводимо" для сколь-нибудь принципиальной политики. Партия — всеобщее

средство "сокращения" легальных путей. Когда с законностью – невпроворот, это необходимо для каждого, кто не хочет потонуть в идиотских дрязгах. Партия включена в игру: ВОЛЯ ГОСУДАРСТВА ЕСТЬ ЗАКОН в той же степени, в которой ВОЛЯ ПАРТИИ – ПРИМЕНИТЬ ЭТОТ ЗАКОН ИЛИ НЕТ. Партия сама – распорядитель фактической меры огосударствления, а ее аппарат таким образом превращен в систему протекционистского делегирования, нажима и обхода. Партия включена в противоконституционный *трест пред-решения*, продукция и норма которого – обыкновенный *ПРОИЗВОЛ*. Это с потрохами выдает всех нас отребью "распорядителей законностью": тем, кто "законностью" этой, как дубиной, может перешибить хребет, загнать в тупик, "засудить, а может и, напротив," только ради вас"!.. сократить все процедуры до незаконной *простоты*. Здесь растет мощный антиправовой потенциал, находящий своих поклонников, данников и провозвестников, а те множат число покровительственных связей. Партия, которая не партия, руководит "государством", которое не есть государство. Сила же ни у одного, ни у другого, а в той недемократической сцепке, где нельзя выделить ни хозяина, ни слугу – *несвободны все*. Быть бы этой "сцепке" недолгой, не окажись та способной включить в свою игру и "пострадавшую сторону", большинство населения.

Сегодня "мы" не народ и не общество, а *собрание заинтересованных лиц*: заинтересованных кто в силе, кто в слабости государства; кто в "государственной безопасности", кто в том, чтобы не дать этой безопасности себя раздавить. Собрание пестрое и парадоксальное. Работая на самозащиту, человек прибегает к помощи своих утеснителей, наращивая их связи, их возможности, их престиж. Но пропасти между нами нет: все равно помещены в государство, которое "понесло"... – его невозможно ни остановить, ни управлять им, ни выпрыгнуть на полном ходу. Можно зато кой-где притормаживать, кой-где приворовывать, улучив момент и используя какие-то перебои в оборотах "ничейного" механизма...

Новизна Четвертой Конституции в том, что она действительно всех готова втянуть в свой обиход – хотя и на разных ролях (джунгли – только для мелюзги "джунгли"; для тигров они "Гастроном").

Болезненно переживаемый каждым в его кругу, но общий для всех разлад норм и устоев, засилье и умножение клик, самодовольство трущегося близ власти отребья, – все подталкивает людей к инициативе собственной, *личной и групповой самозащиты* на "противоположном" власти полюсе. Одновременно с самоутаптыванием себя в Государстве происходит стихийная народная систематизация

приемов "укорачивания" и "обхода слева" путей к успеху. (Ведь легальные пути все чаще заводят человека незнакомого с их тайной механикой в анонимные логова навязывания решений). Есть целый мир "трущоб" неправовой самодеятельности и хитрости. Жизнь этих трущоб еще не описана, хотя едва ли кто-нибудь не прибегал к их помощи или не побывал там в каких-то жизненно важных для него передрыгах. Мир этот не признан властью, но терпится ею, так как по структуре ей *подобен*. Для многих это – "второй" мир, дополнительный к тоске официальной службы и буден; для других, число которых возрастает, – он стал единственным. Сравнительно больше этот мир изучался в связи с проблемами теневой экономики – но у него много других аспектов...

Здесь пока замыкается черный круг "третьей силы". Быть может – а гадать не хочу – здесь он окончательно и сомкнется. Здесь – резервуар причин, оснований и мотивов, по которым все – "за государство" – поскольку оно выгодно всем: одним прямо, другим за счет первых, – косвенно – а третьим потому, что оно, обросшее первыми и вторыми, слишком слабо, чтобы добраться до третьих и за них "взяться как следует". Эти трущобы огосударствления, не будучи ни просто *частной* жизнью, ни тем более, не являясь чем-то дозволенным и легальным, – вот основа мышления, весьма близкого к "реальности", сознания, "отражающего бытие" по сходной цене. Здесь все все знают: но не "почему", а *что именно, кто и* – обращаю внимание! – *что делать...* Здесь власть без дураков может разговаривать с подданными и нужными, деловыми людьми. Здесь всегда можно договориться, если не лезть в бутылку, а понимать "обстановку дела".

Не снимая нравственной пропасти между преступником и жертвой, отбивающейся "чем придется", эта всенародная, но недемократическая самозащита доводит образ *ночной драки на пустыре* – (как наиболее пригодный для выражения "конституционного быта" третьей силы).

Конечно, различия остаются – а для всякого человека именно различия и важны. Ведь предметом драки оказывается *необходимейшее*: зарплата, которой хватало бы до следующей зарплате, кров для семьи, ясли, не слишком дрянная пища для детей. В такой *драке за норму, за минимум*, повторяющейся ежедневно в тысячах тысяч вариантах по всей территории СССР – конечно же, не пустяк ни "право на жалобу" (статья 58), ни право критиковать (статья 49). Многим, возможно, и такими обрубками права еще удастся отбиться от наглежащих негодяев. И этот ежедневный запрос

миллионов неслучайно зафиксирован в Конституции: он улагается в новое конституционное "уложение" тем удобнее, что позволение "жаловаться" заменяет противоположное по ему духу, активное право личности — *не соглашаться*.

Такой же "не пустяк" для многих — объявленная неприкосновенность жилища (статья 55), переписки (..56), личного достоинства (57) и другие подарки из "розовой корзины". И у этих статей нельзя полностью отнять шансы на осуществление — в каких-то "конкретных случаях", в зависимости, конечно, от слишком многого: от престижа данной "личности", от переменного успеха правозащитной борьбы, от мировой моральной конъюнктуры... — Хватайтесь, держите — ведь *ваш интерес* — и нам оставляют парочку скользких поручней уносящегося в обратную даль поезда. Но при чем тут "ростки правосознания"? Конституция в роли Дубинушки — процедура столь же правовая, как и заключение в психушку.

Четвертую конституцию *вместе писали* все силы и интересы хоть сколько-нибудь укладывающиеся в перспективу обоюдного "отмирания" в СССР политического государства и гражданского общества: в третью силу. И так же верно сказать, что в написании ее *никто* не участвовал.

"Авторитет предложенного в ней строя не имеет автора. Такой текст проекта мог бы написать один человек наугад, и результат был бы почти тот же. И потом, как это и происходило при "всенародном обсуждении", в написанный неизвестно кем и когда проект можно делать сотни вставок без всякого ущерба для его анонимной цельности — и без всякой пользы. В этом "приняли участие" миллионы людей — и вот, путем одновременно безнародным и многолюдным, будет выработан Основной закон — ничья конституция. При участии миллионов она узаконит в форме "политического строя" запретную зону для общей жизни людей.

Это и есть та долгожданная Конституция, которую, наконец, можно преспокойно "выполнять"... Да и выполнять не нужно — она будет выполняться "сама собой".

Такая бесподобная Конституция немедленно делает любые требования граждан "соблюдать" ее бессмысленными и противозаконными! Ибо Закон-1977 *вправе* соблюдать только государство, а тому это и по закону не обязательно да и ни к чему — любых результатов оно может добиваться и *так..!* Зато в *состоянии* пользоваться Конституцией и добиваться благодаря ей успешных результатов действующий за благосклонной официальной ее спиной — упомянутый противоправный трест: авангард "третьей силы".

Мы ведь и сегодня живем иллюзией прочности, за которой нет ничего прочного, несокрушимого. Разобренные, перессорившиеся, ничуть не огражденные — семейным бытом, общественной волей и общим трудом на себя — мы почему-то привыкли, что *защищены*. Кем? Чем — если не можем законно защитить себя сами, а, добываясь своего, превращаемся в сброд? И за какую меру покорной несвободы будут нас ограждать "сверху" — и *от кого* станут ограждать? Разве в погибающем обществе сохраняется общность беды, ее живого осознания? Общей здесь может стать — только катастрофа.

"Получая" Четвертую Конституцию, страна лишается *всякой*. Зато вчерашний просто сброд сегодня становится *сбродом "в законе"*.

И, малого недостает, чтобы запрячь это разномастное людское отребье, безликое и бессознательное (а через него и всех слабых нас) — в единого, коллективного, действующего заодно подлеца. Но прежде предстоит спаять друг дружку круговой виной, *не имеющей отношения к "сталинским преступлениям"*. Сталинское общество саморазрушилось и недееспособно. "Новое время" — новые песни. Чтобы сформировать и открыть всем новое действующее лицо, третьей силе необходимо скорее покончить *со всем, даже с этим прошлым!* ("С прошлым покончено" — не одна лживая фраза, но и черная мечта).

В этом последнем акте потребуется уже не Конституция, хотя бы и *эта*. Во все времена, вплоть до нас, наилучшим аргументом и веществом поголовной склейки признана кровь. И едва только уговорившись ее пролить, находили все нужное — жертву, день и повод.

Так *чего* перед нами сейчас проект? Проект последнего дня, конституция *развязки* — или всего только *компромисса на пути к ней*? Возможно, и так, и этак: но проект, похоже, не учитывает существование людей, предлагая им не тот "выбор", который люди так или иначе за собой оставляют. Они упрямы, люди: даже согласные молчать — и те не желают сгнуться.

Меньше всего мы хотим провозгласить воззванием — отчаяние. Не потому, что оно предосудительно само по себе. Его способность к мобилизации всей энергии человека, припертого к стенке — в поисках немислимых и "безумных" проектов спасения — нам пока

не нужна (но может еще и понадобиться, если все человеческое на Земле действительно станет к стенке).

Сегодня отчаянье работает вместе с другими безрассудными реакциями – на "третью силу". Мертвой хватке размытых могуществ, раздробленных институтов и институционализированных организаций – согласно отвечает круговая порука готовых ответов, половинчатых позиций и одолженных идей. Первой не расцепить, не разбив в себе вторую. Ответы сегодня разъединяют людей, объединяя, как правило, сброд.

И мы говорим не с сочинителями проекта новой Конституции и не с "инициаторами" тех или иных репрессий, гадостей и оправданий. С теми уже говорить не о чем, их "инициатива" им не принадлежит. Это она, "инициатива", сегодня водит теми, кто неразлучностью с давними страхами, подлостями и падениями – предалась ей.

Нам не приходится говорить о виновниках где-то, далеко от себя. Индивидуальные виновники с огромной быстротой утаптываются в "третью силу", срастаясь в деградирующее бессознательное, в агрессивный *внутренний предел* человеческому миру и роду. И нам сегодня не к кому взывать. У воззваний и заклятий нет адресата. И столь же верно, что живы *слышащие*, и взывать к ним необходимо, чтобы понимать. *Понимать и себя.*

Ход событий, если он таков, каким мы его видим, *всех нас* превращает в такой адресат узнавания, в пределе же, нам грозящем – *всех вообще*; человечество всех и каждого. Потому наше *мы* бездонно. "Мы, кто спрашивают себя" – не те ли самые *мы*, – "мы, кто слышит вопрошающих"?.. *Они это мы.*

Мы уже сегодня говорим между всеми собой. Между собой живыми и между будущими собой.

...Мы, которых *не было бы*, будь то, что *сегодня есть* – единственным и единственно возможным.

Сентябрь 1977

Вдогонку...

Теперь, полгода спустя, что можно изменить в написанном?

Проект стал Основным Законом, не переменяв в себе ни одного логического звена. Можно бы, разумеется, заменить везде "проект" на "закон", переправив чуть сдвинувшуюся нумерацию статей – да нужно ли в этом гнаться за современностью? Все непосредственное однократно, а пытаться "лишний раз доказывать, что..." – крохоборство. Откровенность проекта казалась промахом сочинителей.

Не скрою — с каким-то даже самолюбивым авторским сожалением, думалось, что в окончательном варианте Конституции редакторская косметика удалит варварскую наготу чрезвычайных статей — да нет! Почти единственная "серьезная" попытка полностью идет по генеральной логической линии проекта 4-го июня: украшения чрезвычайного строя правовыми "инкрустациями". В итоге тот же абсурд: партия, определяемая, как *над-конституционная*, этой же статьей конституции обязуется работать "в рамках конституции": той самой, которой она выводится из любых возможных правовых рамок. Да это и не абсурд вовсе, а действительная природа самых "рамок" у нас.

Зато все яснее объем самого события. Его фоном была незамеченность, некомментируемость — и это во времена информационного психоза! Эпоха кончается в сумерках, как и подобает. Мы проскочили поворот, который большинство не узнало: крутость его значения несравнима с любой оценкой. Но событие в том и состояло, что РУБЕЖ ВРЕМЕН был скрыт для большинства. (Ведь он не сопровождался ни громким процессом, ни громкой книгой, ни сменой половины Политбюро). У "третьей силы" не будет *своей* громкой истории, а прошлое у нас уходит тихо, как Подгорный.

Рубеж — не столь доходчивая вещь, как *развязка*.

Рубеж — может выглядеть так: в познанном *отсутствии преград* движению в одну сторону. Событие в том и есть, что немыслимое — "непроходное" — стало *возможным*, по крайней мере — возможным *в принципе*. Пустота, которая есть — свободна *для этого*. Уклон расчищен — скользить. Нельзя возложить всю вину молчания на запретительную власть. О всемирности происходящего говорит его всемирная незамеченность: там, на Западе, она та же, что и тут. У спора о правах человека полностью переменялся контекст, но и это не изменило ни одного аргумента сторон. Знакомые слова — десятилетие тому бывшие самой жизнью, встряской несогласия... Повторенные потом тысячекратно, то и дело оборванные на полуслове кляпом, сегодня они оформились в отработанную, без запинок произносимую *обвинительную речь*. И эта речь уже непричастна более к узкой грани, на которой все мы пожизненно балансируем между *правдой и ложью*: за собой эта речь знает лишь Правду, а Ложь закреплена за противником. Прекратив разговор с людьми, имея дело поневоле лишь с прокурорами, заглушками и конгрессменами — как нам теперь научиться *понимать*? И не это ли говорит о знании сочинителями Проекта — *своего* предмета, своего дела:

помочь нам принять, признать; участвуя — ничего не понять, не поняв — что-то делать. "Ведь надо же, надо что-то делать со всем этим.."

И, правда, надо.

Февраль 1978

СТИХИ, ПРОЗА, ДРАМАТУРГИЯ

БОРИС ЧИЧИБАБИН

Два стихотворения

**
*

Нам стали говорить друзья,
что им бывать у нас нельзя.

Что ж? Не тошней, чем пить сивуху,
прощаться с братьями по духу,

что намекают нам тайком
на времена и на райком.

Окончат шуткой неудачной
и – вниз по лестнице чердачной.

А мы с тобой глядим им вслед
и на площадке тушим свет.

**
*

Настой на снах в пустынном Судаке...
Мне с той землей не быть накоротке,
она любима, но не Богоданна,
Алчак-Кая, Солхат, Бахчисарай...
Я понял там, чем стал Господен рай
после изгнания Евы и Адама.

Как непристойно Крыму без татар.
Шашлычных углей лакомый угар,
заросших кладбищ надписи резные,
облезлый ослик, движущий арбу,
верблюжесть гор с кустами на горбу
и все кругом — такая не Россия.

Я проходил по выжженным степям
и припадал к возвышенным стопам
кремнистых чудищ, див кудлатоспинных
Везде, как воздух, чудился Восток —
пастух без стада светел и жесток,
одетый в рвань, но с посохом в рубинах.

Который раз, не ведая зачем,
я поднимался лесом на Нарчем,
где прах ночей в скупые недра вложен,
где с высоты Георгия монах
смотрел на горы в складках и тенях,
что рисовал Максимильян Волошин.

Буддийский ех, украинский паныч,
В Москве француз, во Франции москвич,
на стержне жизни мастер на все руки,
он свил гнездо в трагическом Крыму,
чтоб днем и ночью сердце рвал ему
стоперстый вопль окаменелой муки.

На облаках бы – в синий Коктебель.
Да у меня в России колыбель
и не дано родиться по заказу,
и не пойму, хотя и не кляню
зачем я эту горькую страну
ношу в крови, как сладкую заразу.

О нет беды кромешней и черней,
когда надежда сыплется с корней
в соленый сахар мраморных расселин
и только сердцу снится по утрам
угрюмый мыс, как бы индийский храм,
слетающий в голубизну и зелень...

Когда, устав от жизни деловой,
упав на стол дурною головой,
забьюсь с питвом в какой-нибудь клоповник,
да озарит печаль моих поэм
полынный сад, покинутый эдем –
над синим морем розовый щиповник.

ЮРИЙ ДОМБРОВСКИЙ

РУЧКА, НОЖКА, ОГУРЕЧИК...

Рассказ

В июньский очень душный вечер он валялся на диване и не то спал, не то просто находился в тревожном забытии, и сквозь бред ему казалось, что с ним опять говорят по телефону. Разговор был грубый, шантажный; ему угрожали; обещали поломать кости или еще того лучше — подстеречь где-нибудь в подъезде да и проломить башку молотком. Такое недавно действительно было, только убийца орудовал не молотком, а тяжелой бутылкой. Он саданул сзади по затылку. Человек, не приходя в сознание, провалялся неделю в больнице и умер. А ему еще не исполнилось и тридцать, и он только-только выпустил первую книгу стихов.

От этих мыслей он проснулся и услышал, что ему верно звонят.

Он подошел к телефону и поглядел в окно. Уже стемнело, стало быть, шел восьмой час. "Опять приеду ночью", — подумал он и снял трубку.

— Да, — сказал он. Ему ответил молодой, звонкий, с легкой наглостью голосок.

— А кто говорит?

"Это уже другой, — понял он. — Да их там полная коробка собралась, что ли?" и спросил:

— Ну, а кого нужно-то?

– Нет, кто со мной говорит?

– Да кого нужно?

– Может, я не туда попал. Кто...

– Туда, туда, как раз туда. Мне сегодня уже четверо ваших звонили. Так что давай.

– Ах, это ты, сука позорная, писатель хренов. Так вот помни: предупреждаем последний раз, если ты, гад, не прекратишь своей гнусной...

– Подожди. Возьму стул. Слушай, вам что, такие шпаргалки что-ли там раздают? Что вы все шарите одно и то же? Не вижу у вас свободного творчества, полета мысли. Хотя бы слово от себя, а то все от дяди.

– От какого еще дяди?

– От дяди Зуя. Нет, серьезно, что у вас, своих голов нету? Только "сука позорная", только "башку проломим", только "гнусная деятельность". Впрочем, один ваш хрен говорит "деятельность". Деятели! Передай ему привет!

– Ладно, нечего мне зубы заговаривать. Они у меня здоровые.

– Эх, и хорошо по таким лупить!

– Ах ты! – на секунду даже обомлела трубка. – Да я тебя живьем сгрызу.

– А ты далеко от меня?

– Где бы ни был, а достанем. Так что предупреждаем последний раз...

– Стой! Кто-то звонит. Не бросай только трубку.

Он подошел к двери, поглядел в глазок и увидел, что стоит та, которую ждал уже три дня и которая еще сегодня утром была ему нужна до зарезу. Она должна была сниматься в его фильме, и ее знала и любила вся страна. Ее портреты, молодые, прекрасные, улыбающиеся, висели в фойе почти каждого кинотеатра, ее карточками пестрели газетные киоски. Ее всегда узнавали, когда она появлялась с ним на улице. Он очень, очень ждал ее эти три проклятых дня, но сейчас она была ему просто ни к чему.

"Вот еще принесло на мою голову, – подумал он. – Что это все на меня сразу стало валиться?!"

Он открыл дверь. Она не вошла, а влетела и сразу бросилась к нему. Даже не к нему, а на него. У нее было такое лицо, и она так тяжело дышала и так запыхалась, что несколько секунд не могла выговорить ни слова.

– Ну что с тобой? – спросил он грубовато. – Ну, окстись! Вид-то, вид-то! – и он слегка потряс ее за плечи. – Ну!

Она облизала сухие губы.

— Ой, как рада вас видеть здоровым. Ваш телефон все время занят.

— Ну да, спал я и снял трубку. Звонит всякая шушера.

— Вот и брату звонили, требовали вас, грозили подстеречь в подъезде, я только что вернулась со съемок, и он мне это сказал. Я сразу же бросилась сюда. Видите, даже не переоделась.

На ней, верно, был рабочий костюм, брюки, блузка, большие солнечные очки.

— Ну, тогда садись и передыхай. Я сейчас кончу разговор. — Ты слушаешь, мужик? — спросил он трубку. — Молодец. Так вот, ты далеко от меня?

— Да зачем тебе это нужно? — в голосе теперь вдруг прозвучала настоящая растерянность. Сзади как-будто слышались еще голоса. — Выследить, гад, хочешь?

— Нет, хочу сделать одно дельное предложение. Ты был возле меня и все там знаешь. Ну как же? Раз убивать собираетесь, значит, все вы там знаете. Так вот, наискосок от меня пустырь. Там раньше стояла развалюха, а теперь ее снесли. И там алкаши до 11 водку трескают, знаешь?

— Ну, да что ты такое заводишь, козел?

— Так вот предложение. Сейчас там никого нет. Алкаши по домам. Через 15 минут я туда выйду и буду тебя ждать. Приходи. Хоть с молотком, хоть с бутылкой, хоть один, хоть с кофдой — я буду вас ждать. Договорились...

— Да ты что, сука... Да я ж тебя...

— Стой, не ругаться, остолоп, осточертело, — он слегка оттолкнул актрису, которая ринулась к нему и сжала его пальцы.

— Ради бога, — сказала она, — ведь это...

Он отмахнулся от нее.

— Так вот, приходи. Поговорим. Но имей в виду, приготовься. — Если промахнешься — увезут в скорой, это я тебе гарантирую. Я умею это делать. Ты же знаешь, где я был, что видел и какой жареный петух меня клевал в задницу.

— Не пугай, сука, мы тебя и не на пустыре подстережем. Подожди!

— Ну зачем же меня подстерегать. Я сам иду. Надоели вы мне, болваны, боталы парчивилки до смерти.

— Одного такого хорошего из вашего брата мазилу уже пристрелили из машины.

— Вот видишь, темнило, как там с вами обращаются. Тебе даже

не рассказали кого, за что и как убили. То был не мазила, не врач, а художник. И его застрелил случайно один мусор — инкасатор. Перепугался до смерти и пальнул из машины. А убили в подъезде поэта.

— Ну вот...

— И не вы убили, а кто-то посерьезнее вас. А вы только из автоматных будок за две копейки брешете, суки. Мудачье вы и все. Когда хотят убить, так не звонят. Так вот, чтоб через 15 минут ты был бы там, как штык. Понял?

— Дружинников соберешь?

— Не пускай в штаны раньше времени. Один приду, Все. Вешаю трубку.

Актриса сидела на кушетке и глядела на него. Лицо у нее было даже не цвета мела, а кокаина — это у него такие мертвенные кристаллические блестки.

— Это что же такое? — спросила она тихо.

— Как что? Один очень деловой разговор.

— И вы пойдете?

— Обязательно... — он подошел к столу, открыл ящик, порывлся в бумагах и вынул финку. С год назад с ней на лестнице на него прыгнул кто-то черный. Это было на девятом этаже часов в 11 вечера, и лампочки были вывернуты. Он выломал черному руку, и финка вывалилась. На прощанье он еще огрел его два раза по белесой сизо-красной физиономии и мирно сказал: "Уходи, дура". Да, кое-чему его там научили. Финка была самодельная, красивая, с инкрустациями, и он очень ею дорожил. Он сжал ее в кулаке, взмахнул и полюбовался на свою боевую руку. Она, верно, выглядела здорово. Финка была блестящая и кроваво-коралловая.

— Вот этак, мадам, — сказал он.

Актриса стояла и глядела на него почти безумными глазами.

— Да никуда я вас не пущу. Это же самоубийство. При мне... Да нет, нет... — крикнула она.

Он поморщился и кинул финку на стол.

— Ну, как в моем дурацком сценарии! Слушай сюда, глупая, — сказал он ласково. — Ни беса лысого они со мной не сделают. Клянусь тебе честью! Своей и твоей. Это же трепачи, шпана, пьянь, пако-стники. Они у нас на севере пайки воровали, а мы их за это в сортирах топили. Не до смерти, а так, чтоб нахлебались. И поучить их, я поучу сегодня.

— Там их придет десяток. Они вам и развернуться не дадут. Там же такие кусты...

– Ну я тоже ведь не слепой. Увижу. А с этой публикой так: дашь одному по морде, свалишь другого и все разбегутся. Но смотри, какой ужас они на тебя нагнали. Ну как же их не учить после этого, болванов.

Он говорил легко, уверенно, убедительно, и она постепенно успокоилась. Он всегда мог ее заставить поверить во все, что ему угодно. Вот и сейчас она взглянула на него, спокойного, неторопливого, собранного, – в личной жизни он не был такой, – и поверила, что страшного не случится. Просто поговорят по-мужски и все. Он тоже понял, что она пришла в себя, засмеялся и похлопал ее по плечу.

– Ну, ну. Будь паинькой. Сиди и жди... Потом проводишь меня на вокзал. Поеду на дачу. А то три дня здесь торчу, пью со всякой шоблой, а работа-то лежит. Возьми сумочку, попудрись, вытри глаза, они у тебя сейчас красные, как у морского окуня. И ресницы потекли. В зеркало-то посмотришь. Хороша Маша, а?

– А без этого никак нельзя? – спросила она, вынимая сумочку.

– Никак. Ну понимаешь, никак! Они наглеют. А поймут, что я струсил и действительно шуганут чем-нибудь из-за угла или в подъезде, как того несчастного. А здесь – все открыто! Можешь из кухни поглядеть, оттуда все видно.

– Тогда и я с вами...

– Одолжила. Так что мы им, спектакль собираемся показывать? Юлиана Семенова в четырех сериях? Сиди и все.

И он снова притиснул ее за плечи к дивану.

Однако после разговора по телефону не прошло и пяти минут. До пустыря было только два шага – улицу перебежать. Так что же, торчать на виду?

Он снова сел к столу, подперся и задумался. Зазвенел телефон. Он нехотя снял трубку, послушал, оживился и сказал:

– Да, здравствуйте. Ну узнал, конечно. – Еще что-то послушал и ответил: – Буду там целый день. Пожалуйста. Нет, не рано. Я встаю в шесть. Так жду. – Положил трубку и усмехнулся.

– Эта встреча на пустыре – что! Вот завтра редактор ко мне с утра нагрянет...

Она сразу поняла, о ком он говорит и пособолезновала:

– Вы так его не любите?

Он поморщился.

– Да нет, не то, чтобы я не люблю его, но просто...

Она поднялась с дивана, подошла к зеркалу, потом взяла стул и села у стола рядом с ним.

– ...но просто не любите, – и вдруг пальцем по зеленой бумаге начала старательно выводить что-то продолговатое, закругленное, закрученное, со многими зализками и заходами то туда, то сюда – то вовнутрь, то вне.

– Что это? Змея?

– Почти! Лекало. Линейка для начертанья кривых линий. Это он. А вы вот! – и она быстро – раз, раз, раз! – вывела овал, на овале две черточки внизу, две черточки вверху и над ними кругляшок, и на кругляшке много-много мелких торчащих вверх и в бока и вниз черточек, голова, патлы, руки и ноги.

Он засмеялся.

– И меня так в детстве учили. Ножка, ручка, огуречик – вот и вышел человечек...

– Да вот, и вышел человечек, – улыбнулась она ему прямо в глаза.

– Хм! Значит, вот я какой – ручка, ножка, волосня – не очень-то, знаешь, лестно.

– Не очень, конечно, но лекало много хуже.

– Хуже? Такое изящное?

– Я его ненавижу. Оно вокруг всего изгибается, все обнимает, ко всему подползает. У него нет ничего прямого, а все в изгибах, перегибах, изломах.

– И многих таких ты знаешь?

– Да у нас все такие. Я сама первая такая.

– Славно! А я, значит, вот какой, – он ткнул в то место, где был незримый рисунок.

– Да. Ты вот такой, – она первый раз сказала ему ”ты”.

Он подумал и встал.

– Ну, кажется, время. Пойду. Сиди смирно. Я быстренько.

Но запоздал он здорово. Она уже сидела успокоенная, потому что видела – никто к нему не подходил и на пустырь не заглядывал. Он только зря проторчал полчаса на ящике из-под марокканских апельсинов.

– Суки позорные, трепачи, – сказал он крепко. – Ну, сунетесь ко мне еще!

И стукнул на стол граненый стакан – спасенье алкашей. У него их был полный шкаф – кто-то ему сказал, что они приносят в дом удачу.

– Вот веночек тебе из одуванчиков сплел, пока сидел. Надень. Смотри, как солнышко. Понюхай-ка. А шмелей, шмелей там, все

гудит. Ты на машине? Руки не дрожат? Покажи. Отлично. До вокзала меня подбросишь?

— Да я сегодня могу и до места.

— Нет, до места как раз сегодня не надо. Праздники же. Сейчас всюду посты понатыканы. На поезде скорее.

— А может останетесь? Завтра бы уж.

— Нельзя. Жена совсем потеряла. Кошки воют на трубе. Они меня любят. Поехали.

До последнего дачного поезда еще оставалось добрых полчаса, и народу было немного. Уже совсем стемнело. Горели фонари. Воздух после тяжелого знойного дня был неподвижный и какой-то застойный. Пыльные тополя млели в лиловом фонарном свете. Подошел человек и сел рядом.

— Не знаете, сколько сейчас времени? — спросил он у соседа.

— Да через пять минут подадут состав, — ответил сосед. — Что вы меня не узнали, дорогой? — И сосед назвал его по имени-отчеству.

— Боже мой! — воскликнул он. — Какими же судьбами? Вы что, живете теперь на этой ветке?

— Да нет, не живу, а так, гощу у одного приятеля. Да вы его знаете, — и он назвал фамилию довольно известного очеркиста. — Я его устроил там на даче и вот иногда в праздники приезжаю к нему заночевать. А утром гуляем, купаемся, водку пьем. Хорошо.

— Еще бы! — ответил он с улыбкой, разглядывая своего соседа.

Это был бывший сотрудник какой-то районной газеты, а сейчас председатель областного общества книголюбов. Как-то года два назад он позвонил ему и пригласил выступить на одном вечере. Просто поговорить или прочесть отрывок. Вечер прошел успешно. С этих пор и завязалась у него с книголюбом не то что приятельство, а хорошее знакомство. Книголюб ему очень нравился, и внешне эдакий крепыш, с круглым лицом, карими в крапинках глазами и смешным вздернутым носом. Ни дать, ни взять — тракторист или бригадир. Книголюб приглашал его часто то туда, то сюда — то с чтением повестей, то с лекцией о каком-нибудь юбилее, а то и просто поговорить о писателях и писательском труде. Был он очень обходителен, прост, честен, и всегда хорошо платил. И это писатель ценил тоже. В деньгах он постоянно нуждался. Его мало печатали и никогда не переиздавали. А год назад он закончил свой большой роман, и тот пошел по рукам. Тут и начались все его неприятности, начиная с этих звонков и кончая редакционными отказами. Но он все это предвидел и не больно огорчался.

— А где вы сейчас сходите? — спросил он книголюба.

Тот назвал ему станцию, не очень близкую, но и не столь отдаленную — примерно за полчаса до того места, где жил сейчас писатель.

— Ну, значит, успеем наговориться. Знаете, уже соскучился по вас.

Подошел поезд. Вагоны были почти пустые. Электричество горело в полнакала.

— Ну как с романом? Ничего не предвидится?

— Куда там. У меня настоящий мертвый сезон, дорогой!

— Одиннадцать лет, я слышал, писали?

— Даже с хвостиком.

— Да! — снова вздохнул книголюб и даже головой покачал. — А сейчас, говорят, неприятности у вас какие-то пошли? Грозит вам какая-то шпана...

— Вот именно шпана. Да нет, ничего серьезного. Так, обычная бодяга.

— Не бойтесь. В случае чего, в обиду не дадим. Вот! — и он показал небольшой, но крепкий кулак.

— Да я и не боюсь, — улыбнулся писатель, — но все равно спасибо.

— Слушайте! — вдруг взял его за рукав книголюб. — А вы не сойдете со мной? У нас там еще поллитра воспитательной стоит, а?

— Соблазнительно! — улыбнулся писатель. — Змий! Зеленый райский змий вы!

— Нет, правда? А завтра утречком вы и поехали бы к себе. Что ж в такую темень переться-то? Жена ваша, небось, уж седьмой сон видит. А тут я бы вас познакомил с одним вашим читателем. Он там тоже живет. Молодой парень. Пишет исторический роман. Вот бы он обрадовался! Сойдем, право, а?

— Очень, очень соблазнительно. Говорите, поллитра? Весьма-весьма! А что за роман у этого парня?

— Да я, знаете, не читал. Только знаю, что исторический.

— А из нашей истории или зарубежной?

— Зарубежной.

— И страна какая?

— Дания.

— Ого! Он так хорошо знает датскую историю? Это же редкость. А как его фамилия?

— Фамилия! Черг! Вот тоже забыл. Я ведь его все больше по имени — Саша, Саша, ну и фамилию тоже знал, конечно. Черт знает, что происходит с памятью.

”Действительно, черт знает, что происходит сейчас в мире с памятью, — подумал писатель, — все что-то ее потеряли”.

— Так, может, решитесь, сойдем! — снова сказал книголюб.— От станции десять минут ходьбы. Так бы хорошо посидели.

— Так, понимаете, жена, боюсь, сбежит. На черта ей такой муж? Пьет, пропадает черт знает где, куда и с кем. А то я бы с таким удовольствием...

Прошел еще час.

Поезд стал замедлять ход. Замелькали предстанционные стройки и кирпичные теремки.

— Ну, я приехал! — сказал книголюб и встал. — Так что, сойдем?

— Нет, поеду к жене, — решительно отрезал писатель. — Что-то стало познабливать.

— Ну, тогда, значит, до увиданьица! — развел руками книголюб.

— Всего хорошего, — кивнул головой писатель и подумал: нет, я определенно болен, лезет в башку всякая блажь. К психиатру надо бежать!

Он машинально проследил глазами за книголюбом. Тот шел по перрону и вдруг остановился и помахал рукой кому-то, находившемуся вне поля зрения. И тут писатель увидел, что это совсем не та станция, которую книголюб ему назвал, до той было еще несколько прогонов. ”Черт знает что”, — подумал он. Быстрым шагом вернулся, почти вбежал книголюб и грохнулся опять на прежнее место.

— Спутал! — сказал он. — Вот башка! Я, кстати, вспомнил фамилию того писателя. Вирмашев. А книга из времен Гамлета, ХУП век.

— То есть, это Шекспир написал своего ”Гамлета” в ХУП веке, а тот жил много раньше, в XI веке! Так, по крайней мере, сообщает Саксон Граматик. Других источников нет, так что, может, и никакого Гамлета вообще не было!

— И все-то вы знаете, — умилился книголюб и вынул блокнот.

— Так Вармашев? — спросил писатель и нарочно переменял одну букву. Книголюб кивнул головой. — Говорите, у него поллитра?

— Да может и больше. Там самогонку гнали на свадьбу.

”Э, сойду! — быстро решил писатель, — только так и можно вылечиться, а то и впрямь сойдешь с ума. Да и чего мне бояться? Роман написан, а через неделю мне 68! Хватит! А парень славный. Это я болван, черт знает, что придумываю. Пугаю себя.

— Хорошо, — сказал он. — Сойдем.

— Ну вот и чудненько, — обрадовался книголюб, даже руки потер.

Писатель машинально сунул руку в карман. Но финки там не

было. "Ну и черт с ней, — подумал он, — страхом от страха не лечатся, лечатся преодолением его".

Они сошли через две остановки. Это был маленький лесистый полустанок, вернее, даже не полустанок, а платформа. Совсем стемнело. Стояла прохладная, чуть подсвеченная одиноким желтым фонарем полутьма. Где-то рядом был, наверно, пруд, потому что тянуло тиной, стоячей водой, и всюду заливались лягушки. Большие, теплые, спокойные лужи стояли на асфальте и в колдобинах. Крошечные бурые лягушата прыгали вокруг. Писатель наклонился, ласково провел рукой по росной траве.

— А здесь дождичек шел, — сказал он, вдыхая полной грудью смолистый воздух.

Книголюб нежно подхватил писателя под руку, и тот бедром почувствовал его карман. То есть, то плоское, гладкое и массивное, что было у него в кармане. "Браунинг. Небольшой, наверно, бельгийский", — понял он и спросил:

— А что это у вас там?

— А браунинг, — улыбнулся книголюб. — Смотрите! — он мгновенно выхватил браунинг и навел его на писателя. — Ну, — сказал он, приставив револьвер к своему виску, и щелкнул курком. Выскочило высокое, голубое, прозрачное пламя.

Оба засмеялись.

— У одного алкаша за пятерку взял, — сказал книголюб и спрятал зажигалку. — Немецкая работа. Вороненая сталь. При случае можно кое-кого пугнуть. Ну, вроде тех, кто вам звонят.

— А ну их! Скоро дойдем?

Они вошли в лес, и сразу еще сильнее запахло смолой и хвоей. Книголюб по-прежнему держал писателя под руку, слегка прижимая его к боку, и тот чувствовал его крепкие, неподвижные, словно вылитые по форме мускулы.

— Да уже почти дошли. А вы что, сильно устали?

— Устал, — вздохнул писатель. — Я очень устал, товарищ дорогой. Последнее время было такое трудное.

— Одиннадцать лет писали... Ну ничего, сейчас отдохнете от всех ваших трудов, — словно чему-то усмехнулся книголюб. "Мертвая хватка, — вдруг остро подумалось писателю. — Поршни, а не мускулы. Те, что у локомотивов ходят. Лес, и в лесу избушка на курьих ножках..."

Книголюб вдруг зажег карманный фонарик. Что ж он его не вынул раньше-то? Осветилась дверь. Это была, очевидно, избушка лесника. Стояла она на отшибе, и жить в ней мог только очень отважный

или хорошо вооруженный человек. Книголюб дотронулся до двери, и она отскочила, как автоматическая. Они вошли, и дверь сзади поволчы щелкнула сталью.

”Все, — холодея, но даже с каким-то облегчением подумал писатель. — И никто не узнает, где могилка моя. Просто сел в поезд и не сошел с него. Растворился в воздухе. Винить некого. Следов нет. Полная анигеляция”.

Отворилась вторая дверь. Два здоровых молодца сидели за столом, покрытом клеенкой, и на полу была тоже клеенка. Белая, скользкая, страшная. Горела лампа в стеклянном зеленом абажуре. ”У отца в кабинете стояла такая”, — подумал он. Один парень был кругленький, подстриженный под скобку, румяный, как зимнее яблочко с загаром. Другой походил на лошадь с желтой гривой. Парни молча смотрели на него. Румяный тихо улыбался. Белогривый лошадиный молчал. Книголюб стоял сзади. Никто ничего не сказал. Просто нечего было уже и говорить.

— Значит, у пустыря на ящике? — спросил белогривый. — А мы вот куда тебя пригласили, на дачку с ветерком, — и улыбнулся, показывая плоские, тоже лошадиные зубы. Он был совершенно неподвижен, но как-то страшно напряжен, и эта его напряженность словно создавала в комнате, обитой белой клеенкой, незримое, но тягостное силовое поле.

”Да, этот, верно, загрызет сразу”, — подумал писатель.

— А сейчас ему будет ящичек с крышечкой, — добродушно улыбнулся румяный.

Писатель хотел отскочить к двери, но не смог: ноги его стояли совершенно прямо и твердо, словно он действительно попал в силовое поле, и оно втянуло его в себя. В это время книголюб и схватил его сзади — очень больно заклепнул щиколотки, заломил руки и рванул вниз. А лошадиный кинулся к ним.

”Сонная артерия, — молниеносно сообразил писатель. — Раз, давнуть — и конец! И никаких следов! Старая бандитская штука”. Но вместо того, чтобы ударить ногой стоящего сзади и освободить руки — тот уж подготовился, отступил и вжал живот — со всей силой врезал носок в пах белоголового.

Белоголовый рухнул и задохнулся. Руки книголюбца дрогнули, он невольно поддался вперед, разжался, и тогда писатель ударил его головой. Такой удар начисто размозжает лицо и вышибает зубы. Раздался сдавленный вскрик — писатель рванул руки, тиски поддались. Но тут что-то железное и неумолимое вдруг раздавило ему горло (очевидно, книголюб был великий мастер своего дела).

Ослепительный багровый свет — целая пелена его — еще какие-то доли секунды стояла и пульсировала перед ним — не в глазах уже, а в мозгу — но тело его, за долгие годы привыкшее ко всему, даже к смерти, не сдавалось, и книголюб переломился от страшного удара в низ живота. Тиски распались. "Ну", — сказала тело, отскочило и прижалось к стенке. Оно было ужасным — в крови, в какой-то липкой гадости, багровое, с глазами, выскочившими за орбит. Все это произошло за считанные секунды. На мгновение наступила тишина, а потом румяный спокойно поднялся из стола, усмехнулся и покачал головой. "Ну, — бешено крикнуло ему тело от стены, — ну!"

В руках у румяного вдруг откуда-то появился браунинг, и он не целясь всадил пулю в голову распятого на стене человека. Выстрел был глухой и негромкий — как будто сломали сухую ветку. Тело сразу рухнуло навзничь — как падают только мертвые. "Инструкция, гад", — прохрипел книголюб на румяного с пола, но сейчас же зашелся, затрясся, и изо рта его потянулись багровые нити слюны. А румяный подошел, перевернул ударом ноги тело и хорошо рассчитанным профессиональным движением вонзил ланцет в ямочку на затылке. "Ничего! — Крепкий! А жил по дороге и кинулся сзади, — успокоил он книголюба. — Вот и пришлось применить. Ничего..." Он ударил еще в то же место. Лошадиный поднялся. Ноги его дрожали. Он хрипел и не мог выпрямиться. А румяный спокойно действовал: перевернул тело — при этом блеснул багровый значок — змея и чаша — и пощупал пульс. Потом опустил на колени, поглядел, приставил к глазам трупа кулак и быстро отнял его. Так несколько раз. "Все", — сказал он вставая.

— Да спрячь его, спрячь, — просипел книголюб, — ведь строжайше же... — Он встал, помотал головой и двумя пальцами помассировал горло. — И отойди! Отойди! Тут же все заляпано. Эх, черт! Вот что значит без подготовки! Ведь свободно мог убить, гад! Сейчас машина подъедет, я ей просигналил тогда.

Лошадиный стоял и смотрел. Ему здорово досталось. Дышал он с каким-то посвистом и всхлипом.

— Ух, — сказал книголюб с ненавистью, скрипнул зубами и пнул голову трупа, — ух, подлина! — Он пнул еще несколько раз, но голова только мягко моталась по клеенке, и это было уже совсем неинтересно.

Лошадиный стоял, рот у него был полуоткрыт, зубы блестели.

— Здоровый! — сказал он. — Вот уж никогда не думал, что он с вами поедет. "Приходи, мужик". — Не поймешь, что особенное проз-

вучало в его голосе и в этих словах. Но оно точно прозвучало, и поэтому книголюб внимательно поглядел на него.

— А ты сядь, сядь, а то весь дрожишь, — сказал он. — Куда он тебя ткнул-то? Эх, стрелять же тут нельзя, а вы...

— Со мной по телефону говорил, ругался, мужиком назвал. Эта к нему прибежала, уговаривала, плакала, я все слышал, — нет, пошел. Букет ей еще нарвал. Одуванчиков.

— Да что ты, желеешь его, что ли? — рассердился книголюб. — Мало он тебе съездил? Ну-ка, выпей воды.

Белоголового трясло, лицо его сразу промокло, и не от того, что плакал, а от того, что его всего начало выворачивать.

— Давай, валяй прямо на него! — насмешливо крикнул книголюб. — Вот нашелся мне тоже иждивенец. Если плакать по любому гаду, в рагу...

Прогудела сирена.

— Иду, иду, — сказал книголюб и вышел.

— Вот кого бы я сделал, — сказал беловолосый, — сразу бы...

— А он-то при чем? — удивился румяный с медицинским значком. — Он опять был тихий и спокойный. — Ему приказали, а он нам приказал. Вот и все. — Беловолосый сел за стол, открыл ящик, вынул бутылку, зубами сорвал металлическую пробку, налил полный стакан и выхлестнул сразу. Потом посидел, скрипнул зубами и вдруг, закусив губу, с размаху ухнул ногой по тумбочке стола. Стол загудел и задребезжал — он был фанерный, тут все было ненастоящее: фанерное, клеенчатое, кроме запоров — вот те, верно, были стальные и автоматические.

— Прямо сгрыз бы, — сказал лошадиный. — Слышал я этот приказ. Когда я ему прорадировал, что этот выходит ко мне, он сказал: "Э, нет, так не годится. Иди и в дежурке жди. Раз он не боится, надо не предупреждать, а дело делать".

— Ну и что? И правильно, — сказал румяный. — Вот и сделали.

— А потом через сколько-то радирует мне: "Поезжай в лесную сторожку. Ты не требуешься. На дачу поехал".

— Он и на дачу трех послал с машиной. Ему бы так и так был конец, — успокоил румяный. — Так что не переживай.

— И эта кукла удержать его не могла. Еще подвезла, чувиха безголовая.

— Тише! Они идут. Кончай выступать.

— Так Вармашев? — спросил писатель и нарочно переменял одну букву. — И говорите, у него поллитра?

— Даже больше, наверно. Там самогон гнали. Так может сойдем?

— Да нет, — улыбнулся писатель. — Уже похоже, буду добираться до дома, до хаты, — но вдруг, когда книголюб был уже в тамбуре, крикнул: "Секундочку! Встречное предложение. Поедем ко мне. А что, что спят? В холле посидим. У меня там заначка хорошая есть. Ради бога, только не отказывайтесь. А то я совсем стал с ума сходить. Вот сижу с вами и наяву брежу. — И тогда книголюб послушно возвратился, опустил на свое место: "С вами куда угодно". А он, старый человек, инженер душ человеческих, — как некогда выразился некто, тоскливо, с глубоким неуважением к себе подумал: "Какие же мы все-таки трусливые твари! Позвони нам так еще парочку раз, и мы от всех будем бегать. Те гады хорошо знают, что делают. Вот я расхрабрился, пошел к ним, вернулся гордый, мол, не боюсь, а потом всю дорогу издыхал от страха". Ему было так нехорошо, что он даже не знал, что сказать и что сделать. Ведь перед ним сейчас сидел по-настоящему хороший простецкий парень, который искренне любил его, а он даже любовь стал считать за фальшь и подсижку. Так стоил ли он тогда когда-либо настоящей любви? Он думал об этом, пока они ехали, а потом шли, и поэтому все время болтал что-то мелкое, несуразное, только чтоб заглушить в себе этот стыд. Да нет, ему даже уже не было стыдно, он просто весь болел и пылал, как открытая воспаленная рана. Боталы! Дешевки! Грошовое повидло, как говорили на Севере. Ничего не прямо, все в обход. Ничего наружу, все в себя! И загнулись, как гадюки в болоте, перегрызлись, как собаки в клетках у гицеля. Ручка, ножка, огуречик... Да если бы было хоть так, а то ведь ничего подобного.

— Лекало, — сказал он вдруг громко и остановился. — Чертово лекало.

— Ну за что вы его так? — огорчился книголюб. — Я сам был чертежником, там без лекало никак не обойдешься.

— Да, но я же не чертеж! — крикнул он в отчаянии, останавливаясь. — Я же, как-никак, человек. Я же ручка, ножка, огуречик! А никакое-то лекало.

Кто-то из темноты засмеялся, а женский голос объяснил:

— А на этих рейсах всегда только вот такие из Москвы возвращаются. Нажрут там...

Прошли еще с полквартила, и тут книголюб сказал:

— Ну, кажется, дошли. Вон вывеска "Дом творчества". До свидания. А я, извините, скорее, скорее побежал обратно. А то и не уеду. А мне обязательно нужно быть там. Сегодня же.

— Так вы не зайдете? — обомлел писатель.

— Извините. Не могу. В другой раз. Я вас только до дому провожал, а то вижу, что вы как-то не вполне в себе. А сейчас у меня ни минуты уже не осталось.

— А поллитра что же?

— Так я же не пьющий, — засмеялся книголюб. — Что, забыли разве? Да?

Да, да, он все, все забыл.

СТИХОТВОРЕНИЯ

А. СЕДОВ

ЛЬВОВ

В этом городе,
Где разбитые рты саркофагов от боли хрипят,
Где святые из камня поют о беде,
рассыпаясь в волнах набегающих лет,
и ничто не поможет,
нету только тебя,
потому что тебя нет нигде.
Да, конечно, нигде тебя нет,
потому что, наверно, и быть не может!..

Что десятки других,
жриц искусств и наук, что щебечут вокруг,
разукрашенных птичек на ветках утех? —
— Что им дела до мертвых?
И блуждающий стих —
как ходьба по брусчатке — удобней асфальт,

и газета — не скальд...

О, заметочный век,
опереточный смех,
пачки рвотных пилюль в конфетных обертках!

Старый замок с холма
уцелевшею парой бойниц так устало глядит на дома,
принимавшие ксендзов и рыцарей,
так внимательно смотрит на церкви, костелы

и нитки дорог,

словно выпек последний пирог умирающий пекарь.

И, таясь за холмом,
лег обжора с бетонно-железно-стеклянным ножом —
новый город, готовый ползти напролом
и, давясь, захрустеть черепицею —
— по-дебильски веселый, глотающий смог,
пожиратель культур, недоносок, — щенок
двадцатого века.

Льву, что встал на дыбы,
как уйти от судьбы
укрошенных царем обезьян зоопарковых кисок?
Мой погибший Арбат —
брат ваш, храмы Карпат,
и молитвенный плач под орган так нам нужен и близок!

Не пора ли нам всем
в винегрете теорий, религий, идей и систем,
шелестя скорлупой разгрызаемых тем,
перестать пред собой и другими рядиться в авгуров,
поснимать ярлыки,
понимать языки,
поднимать черепки,
потому что едино Добро, и едина Культура?..
...И портрет твой из книг,
странных встреч, пьяных драм,
фильмов, фресок, признаний глазам и рукам,
поникающих плеч,

понимающих глаз,

личек в профиль, анфас,
тел и судеб, и душ, неизменно *других*

я с надеждой (надежда... — откуда?)

собирал по кусочкам;

держу их в ладонях моих

и боюсь шевельнуться;

и, — годы, помилуйте их —

— я хочу реставрировать чудо!..

Дай же силы, Любовь,
всем, в ком есть еще силы добро приносить,
помогай им творить,
помогать и любить!
Эликсир им отдай

из аптеки – музея!..

...Я иду через Львов,
чуть шатаюсь под грузом всеобщих грехов,
и, веков не считая,
шагов не жалею.

1976.УЩ.

Из цикла "ВРЕМЕНА ГОДА"

Зима

Наброски памятью – в твоём блокноте "жизнь".

И, чтобы видеть их, не надо глаз –
их достают со дна.

А на поверхности – одна
страничка под названием "СЕЙЧАС".

Она

бела как снег.

Как этот белый-белый-белый снег.

Деревья – тушью, сепией – дома...

И в холодеющие вены рек
свинцовый лед ввела зима...

Как неподвижны стали руки-реки –
они еще беспомощней твоих!..

Оцепеневший лес, прищутив веки,
разглядывает их и не поймет со сна,

что бритвою из солнечных лучей

их вскроет сумасшедшая весна...

Снежинки – клад алмазов; он – ничей.

Поэтому от клада нет ключей,

нет запертых ворот; лишь ворон-казначей,

взьерошив фрак, глядит по сторонам...

П. 1975 – П. 1976.

**
*

У тебя в глазах тоска — такая,
Что нельзя молчать... Не плачь, не надо!
...Стаи птиц, отсюда улетаю,
Словно корабли, плывут над садом...
Все, что я имею, я бы отдал,
Чтобы быть таким, каким я не был!...
...Небо, опрокинутое в воду,
И луна, дрожащая на небе...
Хочется взлететь, а мы утонем.
Нам бы хоть коснуться, чуть дотронуться!
...Голубая тень весны в ладонях,
Зелень — и смеющееся солнце...

1973. 1

ПРОПОВЕДЬ, УСЛЫШАННАЯ ВО СНЕ

Наша функция — это — функция переменных.

к бесконечности вечно стремится, а вечность — мгновенна...

Песен подобного рода дай Бог вам не слышать более;

Вас, в отличие от меня, убивают лишь ваши боли:

Боль умирающей совести, агония веры в себя,

Зуд от мыслей, что в вечность просятся, в ваших

фразах трубя, —

И одна лишь боль доставляет вам наслажденье...

Но об этом — хватит! — Взгляните на эти ступени!

Мы куда-то спешим, но шагаем по ним, обгоняя друг друга,

Отставая, вздыхая, другого сбивая, по кругу

Мы идем и идем, и все время — вперед и вверх, вверх и вперед!

И слезятся глаза, и на пальцах — слеза, и дрожит перекошенный рот...

В диком мраке ночей, в гнусной серости дней нету дела важней,

Чем толпою брести в круге (кольца-пути), все быстрее и быстрее!

Те, кто создан для этого, нас обгоняя, кричат: "Догони! Догони!" —

Но никто никого никогда не догонит! Секунды и дни,

Эры, годы, эпохи, периоды полу— и полных распадов...

А зачем это все? — Мне ответят: "Так надо!" А может, не надо?

Вы, конечно, рассердитесь: "Сами знаем, нытик несчастный!

Предложи лучше выход!" — Надеетесь? Ждете? — Напрасно!

Выход есть, но — для каждого — свой. Для того и нужны ваши силы,

А не мой готовый рецепт!.. Итак, позабудьте, что было!

Вы смотрите и делаете так, как я: все как следует взвесьте.

Палачей от врачей отличайте, давайте, а нечисть — от чести.

Отвернитесь от тех, кто кричит, что спасет, убивая.
Птицы вместе летают — и вы — собирайтесь в стаи!...
...Так пошлем же ко всем чертям то, чем нас набивают,
Как колбасы — фаршем! — Пусть сами себя пожирают! —
И — прыжок!.. Поплывем-полетим, словно листья под ветром, мимо,
Открывая глаза, как слепые щенки, и вместе
Мы увидим, как лопнет тот мыльный пузырь, что
казался нам нашим миром!
Снова станут все вещи цветными и полными тайны, как в детстве.
Мы поймем и узнаем себя и других. Будет радость.
Песни, ласки без слов в дикой пляске цветов,
океаны без края,
Небо с гроздьями солнц, буйный лес наших снов,
миражи, водопады...
А на лестнице — крики, не слышные нам: "Посмотрите! —
они умирают!"

1972, X

Александр Седову 24 года. Москвич. В прошлом году окончил биофак МГУ. Работает по специальности. Стихи пишет давно. До 1976 года был известен в узком кругу своих знакомых, но после выступлений на лесных встречах творческой молодежи этот круг значительно расширился. В 77 году выпустил свой первый машинописный сборник "Слово". Предлагаемые вашему вниманию стихи взяты из этого сборника.

М. ЛИЯТОВ

КАКОЙ-НИБУДЬ МЕНДОСА

Пьеса

Фехтовать? Я вовсе не собираюсь фехтовать. В мои намерения входит только обескуражить вас, в чем может мне эта, как вы остроумно заметили, тряпочка.

”Какой-нибудь Мендоса”, явление первое.

Сударь! Что это вы там нагородили? Зачем? Это вербальная игра для детей младшего школьного возраста. Мендоса — это вы, и все мы в вашей власти. Но нет, врите! Мендоса — это каждый из нас, и куда денутся все ваши фантазии, как только мы перестанем вам верить? Но дано ли другое? *Правда так хитроумно переплелась с ложью, все мешается в моей голове, и, может быть, то, что мы говорим как правду, на самом деле ложь, разве мы знаем, чем это обернется? Мы, наверно, очень несчастны. А я ...я несчастнее всех. Я, я уже сейчас чувствую, как трудно мне сопротивляться вашему обаянию.*

Я теряюсь в загадках, и нить рвется в моих руках, но в душе моей нет возмущения. Я — эта, и есть другая, и есть еще донна Анна. Мне нравится Севилья. Ваша Севилья. Севилья, в которой блестящий Дон-Жуан теряется, как иголка в стоге сена. Невероятная Севилья, на поверку оказывающаяся единственной реальностью, и горе тому,

кто ей не поверит и не подчинится ее причудливым законам. Бедный Дон-Жуан! Он явился в Севилью побеждать — его осмеяли. Он был уверен в своей оболыстительности — и оказался оболыщенным. Он должен был убить командора — и его зарезали из-за угла. Бедный Дон-Жуан! Он был убежденным романтиком — но мы оставляем его в растерянности. Его беда — что *фантазируя, он слишком верит в свои фантазии... а кто лишается остроумия, тот перестает быть прогрессивным.*

Он шел в Севилью за донной Анной, нежной донной Анной, способной разве что "кудри наклонять и плакать", и столкнулся с живой женщиной, с настоящей. И севильский командор, обманутый муж, воплощенная идея отмщения за поправленную честь, оказывается тоже Дон-Жуан — вы представляете? Это уж не каменная статуя. Это — сын Севильи. И вот что он говорит Дон-Жуану: *Зачем вы пришли к нам, Дон-Жуан? Ведь вы не верите, что у нас тут все настоящее. Вы думаете, я не понимаю? Вы же не верите, что мы умеем любить, ненавидеть, страдать. Люди, он же не верит. Не верит, что мы плачем, когда нас ведут на костер... Нет, Дон-Жуан, я вам не открою своих тайн, и думайте обо мне все, что вам угодно, мне плевать, что вы обо мне думаете.*

Живая Севилья, подвижная, зыбкая, парадоксальная в своей реальности, растворяет в себе геометрическую фигуру треугольника, любовно вычерченную воображением романтика. Треугольник становится шаром, а шар — первый бедой, свалившейся на голову Дон-Жуана...

О, я думаю, философ сумел бы развить эту тему и воплотить в блестящее эссе. Вы взяли классический сюжет — и это вслед за Мольером, Байроном, Пушкиным... Но вы нашли свой поворот, и мы идем за вами по вашей дороге, дороге, на которой наивный и горячий Дон-Жуан поражен тряпочкой.

Мне кажется, эта пьеса — лучшее из написанного вами. Возможно так же и то, что вы где-то гениальны. Мне хочется спеть вам дифирамб, но здесь, в вашей Севилье, все слова ваши, и вот они:

Что вас так удивляет? Я давно призналась, что люблю вас. И я верю в вас. Конечно же, вы большой художник или музыкант, вы пришли сюда, гонимый вдохновением, пришли, чтобы подарить нам новое искусство, чтобы позвать нас за собой в ясное грядущее. Мы так устали от полуденного бреда, мы все на грани катастрофы, и вы один можете спасти нас. Как славно, что я первой признала в вас нашего спасителя!

Мне нравится Севилья!

Д.А.

ДОН-ЖУАН
ДОННА АННА
КОМАНДОР
МОНТАЛЬБАН
ДЕЛЬГАДО
ФРОНТИЛЬЯНА
ГРАНДЕ
МАНОЛО
ГАРСИЯ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

На авансцене перед закрытым занавесом появляется
Антонио Монтальбан.

ДОН-ЖУАН: (за кулисами). Эй, сеньор! Погодите, всего два слова!

МОНТАЛЬБАН: (останавливается, смотрит на приближающегося Дон-Жуана). Ну, и что же Вам угодно?

ДОН-ЖУАН: Я Вас не задержу. Скажите только, эта дорога ведет в Севилью?

МОНТАЛЬБАН: Это вопрос несложный. Я знаю, как на него ответить.

ДОН-ЖУАН: Так ответьте.

МОНТАЛЬБАН: В Севилью. Эта дорога ведет в Севилью.

ДОН-ЖУАН: Прекрасно. А Вы не туда направляетесь?

МОНТАЛЬБАН: Возможно, что и туда. Какая, собственно, разница.

ДОН-ЖУАН: Странный ответ. Вам, что же, безразлично, куда идти?

МОНТАЛЬБАН: Возможно, что и так. А какая, собственно, разница?

ДОН-ЖУАН: Сеньор, мне кажется, что Вы просто надсмехаетесь надо мной.

МОНТАЛЬБАН: Возможно. Лично для меня это никакого значения не имеет.

ДОН-ЖУАН: В таком случае должен заметить, что Вы мне совершенно не нравитесь. Вполне возможно, что Вы мне как-то не по душе.

МОНТАЛЬБАН: О, это вполне возможно.

ДОН-ЖУАН: Я рад, что мы начинаем находить общий язык. И продолжим, если не возражаете. Взять, к примеру, Ваше лицо. Не станете же Вы всерьез утверждать, что это лицо порядочного человека?

МОНТАЛЬБАН: Я направляюсь в Севилью, и этим объясняется все.

ДОН-ЖУАН: И этим объясняется все? Но что все, сеньор? Ваши уловки, Ваше наглое поведение? Явная гротесковость Вашего лица? И все это объясняется лишь тем, что Вы держите путь в Севилью?

Оставьте. Я тоже направляюсь в Севилью. Но разве Вам это о чем-либо говорит?

МОНТАЛЬБАН: А почему бы и нет, юноша? Очень даже о многом говорит. Я вот стою и слушаю. Уже немало сказано. А вот мои уши, которые все все слышат.

ДОН-ЖУАН: И что же...

МОНТАЛЬБАН: Ах, погодите, отчего Вы так нетерпеливы? Я знал, что Вы это спросите, и у меня уже готов ответ. Вот послушайте. Только учтите, что я не ясновидящий и требуйте от меня слишком многого. Я знаю, что судьба несет Вас в Севилью, и это о многом говорит мне. И о Вас, и о Вашей судьбе, даже, если угодно, и о мире, в котором нам с Вами посчастливилось жить. Не правда ли, я похож на ясновидящего? Но я совсем не ясновидящий. Послушайте, истинно говорю Вам, что в Севилье Вас ждут одни беды и страдания.

ДОН-ЖУАН: А теперь я скажу Вам, что Ваши речи смахивают на бред.

МОНТАЛЬБАН: Возможно, возможно, но поверьте, меня это несколько не ужасает.

ДОН-ЖУАН: Черт возьми, мы слишком долго чешем языком вместо того, чтобы взяться за дело. Не пора ли нам скрестить шпаги, сеньор?

МОНТАЛЬБАН: Как Вам угодно. (Достает предмет, напоминающий подушечку для втыкания иглоков).

ДОН-ЖУАН: Что это значит?

МОНТАЛЬБАН: Что именно?

ДОН-ЖУАН: Вы собираетесь фехтовать этой тряпочкой?

МОНТАЛЬБАН: Фехтовать? Я вовсе не собираюсь фехтовать. В мои намерения входит только обескуражить Вас, в чем поможет мне эта, как Вы остроумно заметили, тряпочка.

ДОН-ЖУАН: Я отказываюсь от поединка, ибо Вы определенно не в своем уме. Да и нападать на безоружного не в моих привычках.

МОНТАЛЬБАН: Отчего же, есть у меня и шпага.

ДОН-ЖАУН: С этого бы и начинали.

МОНТАЛЬБАН: (достает игрушечную шпагу). Вот моя шпага.

ДОН-ЖУАН: Видит бог, если бы не Ваш почтенный возраст, я надавал бы Вам пинков, и на том наше приятное знакомство кончилось бы. Спрячьте свои игрушки и проваливайтесь.

МОНТАЛЬБАН: (пряча шпагу) Сударь, я не так простодушен, как Вам кажется.

ДОН-ЖУАН: Возможно.

МОНТАЛЬБАН: Да, возможно. И какая, собственно разница?

ДОН-ЖУАН: Тряпку спрячьте тоже и сойдите с дороги, дайте мне пройти.

МОНТАЛЬБАН: Я Вам не мешаю, проходите. А тряпку я не спрячу.

ДОН-ЖУАН: Дело Ваше.

МОНТАЛЬБАН: Вы все равно не оставите меня в покое. Вы всюду будете преследовать меня. Всюду Вам будет казаться, что я стою на Вашей дороге. И в конце-концов я вынужден буду доказать Вам, что эта тряпочка вполне способна защитить меня.

ДОН-ЖУАН: Ну, довольно. Считаю до трех. Если Вы не посторонитесь, я пощечочу Вас своей игрушкой, которая, сами видите, не чета Вашей. Раз.

МОНТАЛЬБАН: Возможно. Я ведь не спорю, друг мой.

ДОН-ЖУАН: Два.

МОНТАЛЬБАН: Возможно, сударь, возможно. Вы великолепно считаете. Но какое это имеет значение?

ДОН-ЖУАН: Три. Итак, Вы продолжаете стоять на своем?

МОНТАЛЬБАН: Я продолжаю стоять на дороге, которую Вам не угодно делить со мной. И мне грустно. Вам ведома грусть?

ДОН-ЖУАН: Защищайтесь, сеньор!

Выхватывает шпагу. В то же мгновение Монтальбан подносит к его лицу подушечку, и из нее вырывается какое-то облачко. Дон-Жуан с криком роняет шпагу и закрывает лицо руками. Гаснет свет.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Открывается занавес. Декорации преимущественно белого цвета, что должно подчеркивать искусственность происходящего. На стульях в неподвижных позах сидят люди, одетые в белые плотно облегающие тела трико. Издали они кажутся голыми. Дон-Жуан спит на лавке. Входит Монтальбан, с усмешкой осматривает Дон-Жуана и садится на пол у ног женщины в белом трико (донна Анна).

Дон-Жуан просыпается.

ДОН-ЖУАН: (с удивлением оглядываясь, не замечая Монтальбана) Что за чертовщина! СиСеньоры, где это я? В раю?

Никто не отвечает и не обращает на него внимания.

ДОН-ЖУАН: (приближаясь к одному из сидящих) Послушайте, любезный, вчера вечером, если мне не изменяет память, я прибыл в Севилью, и мне ничего другого не оставалось, кроме как заночевать на этой лавке. Ведь город был пуст, как и мой желудок. А теперь... э, да Вы меня не слушаете! Вы глухой, что ли? Очнитесь, сеньор. Позвольте, куда Вы пялите глаза? Вам что-нибудь мешает

взглянуть на меня? Я понимаю, мы не знакомы и это, вероятно, смущает Вас. О, я понимаю, что это слишком нелепое предположение. Но что мне делать? Я теряюсь в догадках. Ваша безучастность к моим жалким попыткам завязать знакомство воистину феноменальна. Я вижу, что Вы горды собою. Что ж, на Вашем месте я, быть может, поступил бы так же. Я Дон-Жуан. Неужели это имя не известно Вам? Меня знает вся Испания. Впрочем, совершенно очевидно, что Вам не до меня. (переходит к другому) А Вы, сеньор, не поговорчивее? Ах вот оно что! И Вы не снисходите до разговора со мной... ну так я проучу Вас!

МОНТАЛЬБАН: Напрасно стараетесь, Дон-Жуан. Их Вам не проучить.

ДОН-ЖУАН: И Вы здесь, каналья? Не их, так Вас!

МОНТАЛЬБАН: Оставьте, что за манеры, право. Или Вам мало того урока, что я преподнес Вам на дороге?

ДОН-ЖУАН: Вы поступили, как предатель, и сейчас ответите мне.

МОНТАЛЬБАН: Возможно, что как предатель. Но это с Вашей точки зрения, а по мне, так не столь уж важно, как я поступил.

ДОН-ЖУАН: Сегодня я не намерен долго препираться с Вами. Доставьте свою тряпку, сеньор, но помните, что на этот раз Вам так легко не одолеть меня.

МОНТАЛЬБАН: Вы думаете? А если я достану другую тряпочку?

ДОН-ЖУАН: Ну и что? Что от этого изменится?

МОНТАЛЬБАН: Ха, в том то и дело, что ничего. Эффект будет тот же. И снова Вы будете сетовать на судьбу, что она вынудила Вас встретить меня.

ДОН-ЖУАН: Боюсь, сегодня придется сетовать Вам.

МОНТАЛЬБАН: Да разве ж я не сетую. Мне так жаль Вас. Вы постоянно лезете на рожон. Разрешите дать Вам дельный совет.

ДОН-ЖУАН: Я не нуждаюсь в советах наглеца и мошенника.

МОНТАЛЬБАН: Юный, горячий, неопытный. Зачем только Вы пришли в Севилью? Вас тут любая муха сумеет обидеть.

ДОН-ЖУАН: Вы встанете, наконец? Или Вам больше по душе прятаться под юбкой этой дамы?

МОНТАЛЬБАН: А Вы на этой даме видите юбку?

ДОН-ЖУАН: (смущенно) Я еще разберусь, в чем тут дело...

МОНТАЛЬБАН: Вы смущены? Вы, удачливый оболъститель женщин?

ДОН-ЖУАН: Однако...

МОНТАЛЬБАН: Вот Вы и скисли.

ДОН-ЖУАН: Нисколько.

МОНТАЛЬБАН: Несколько. Несколько скисли. Я ведь вижу.

ДОН-ЖУАН: Я жду, когда Вы встанете, чтобы проткнуть Вас как тыкву.

МОНТАЛЬБАН: Вы благородный, хорошо воспитанный юноша. Вы отменно усвоили правило, что грех бить лежачего, и всегда следуете этому правилу. А зря. Вы снискаете себе славу посмешища. На Вас будут показывать пальцами и говорить — вот благородный, хорошо воспитанный юноша. И будут смеяться над Вами.

ДОН-ЖУАН: Вы сумасшедший.

МОНТАЛЬБАН: Это звучит утешительно. Кто в наше время не рад слыть сумасшедшим. А Вы разве не сумасшедший?

ДОН-ЖУАН: Вы плохо меня знаете. Очевидно, дурная слава обо мне еще не докатилась до Севильи.

МОНТАЛЬБАН: В Севилью, милейший, ничто не катится, наоборот, все катится отсюда. Да и что Ваша дурная слава? Тщедушная отрыжка комара в хаосе диких воплей и безумного хохота. Ваши скромные убогие грешки в будуарах и стогах сена — всего лишь жалкая провинциальная комедия.

ДОН-ЖУАН: Вы хотите сказать, что здесь, в Севильи, я могу кому-то показаться провинциалом?

МОНТАЛЬБАН: А вы и есть провинциал.

ДОН-ЖУАН: Между тем в Мадриде...

МОНТАЛЬБАН: Но что такое Мадрид? Мадрид никогда не снится мне. Ибо, что есть Мадрид? Ничтожная деревня на берегах высохшей речушки, населенная филистерами, обветшалыми поэтами и никчемными щеголями, наивно мнящими себя законодателями мод. Нет, Мадрид совсем не то, что нужно нам.

ДОН-ЖУАН: Я бывал в Париже, Лондоне, Петербурге.

МОНТАЛЬБАН: Я готов часами слушать Вас, но только не говорите вздора. Поймите, я не согрешу против истины, если скажу, что о местах, которые Вы тут не поленились назвать, никогда ничего не слышал.

ДОН-ЖУАН: О каком же городе, сеньор, Вы изволили слушать?

МОНТАЛЬБАН: О городе, где мы с вами имеем честь находиться. О Севилье. И тут двух мнений быть не может. Безусловно, я где-то кое-что слышал о Севилье.

ДОН-ЖУАН: И Вы полагаете, разумеется, что Севилья центр мира?

МОНТАЛЬБАН: Вашим вопросам не хватает убедительности, внутренней силы, и все же я отвечаю Вам. Вы мне нравитесь, в Вас есть непосредственность, которой так не хватает мне. Да, это так. Но зато я располагаю внутренней силой, так что мы друг друга стоим.

Как лисица и виноград, но я тот виноград, который Вам никогда не сорвать. Вы всего лишь маленький игривый лисенок. Знаете, Севилья действительно центр мира. Возможно, я так полагаю, а, возможно, и нет. Кроме того, возможно, что Севилья и впрямь центр мира. А с другой стороны — где она, эта Севилья? Вы ее видите?

ДОН-ЖУАН: Равно как не вижу юбки на даме, у ног которой Вы сидите.

МОНТАЛЬБАН: Добавьте еще, что сижу я как подлый трус.

ДОН-ЖУАН: С удовольствием.

МОНТАЛЬБАН: А Вы понемногу проникаетесь симпатией ко мне.

ДОН-ЖУАН: Заблуждаетесь. Я попрежнему готов сразиться с Вами.

МОНТАЛЬБАН: Еще немного, и Вы шагу не сможете ступить без меня. Сейчас я покажу Вам Севилью (показывает язык). Это Севилья.

ДОН-ЖУАН: Вставайте, мы будем драться.

МОНТАЛЬБАН: За Севилью? Или за мой язык? А Вы упрямы и мужественны. Вы мне все больше нравитесь. Что Вам нужно?

ДОН-ЖУАН: Живая Севилья.

МОНТАЛЬБАН: Вот она перед Вами, сидит на стульях. Белая, неподвижная, безмолвная Севилья. Дайте руку, друг, и взгрустнем вместе. Вы должно быть учились в Саламанке и собаку съели в разных философских оборотах, ну а я... о, я мог бы ошеломить Вас блестящей речью, будь то филиппика или дифирамб, тезисы или чушь собачья, я мог бы, потому что я всегда, везде и всюду способен произнести самую что ни есть блестящую речь, но всегда ли нужно это делать? Сейчас я этого не сделаю. Я хочу дать Вам возможность придти в себя, освоиться в Севилье. Почаще заглядывайте мне в рот, на лету ловите все, что я говорю. И когда-нибудь Вы назовете меня своим учителем. Но не забывайте, что я не герой. В лучшем случае — герой с тряпочкой, перед которой Вы бессильны. Вчера я пустил Вам пыль в глаза, и Вы до сих пор боитесь меня. Впрочем: хватит, я устал. Прекратим этот разговор (отворачивается).

ДОН-ЖУАН: Нет, не хватит. Я не забыл Ваших оскорблений и не откажусь от намерения наказать Вас, а Ваша тряпочка... слушайте, бросьте притворяться, я знаю, что Вы не глухи. Сейчас я скажу Вам, что думаю о Вас. Вы старый интриган и шут, Вы...

Внезапно поднимается Гарсия. Выходит на авансцену.

ГАРСИЯ: Люди, вы суть дерьмо. Овчинка выделки не стоит, содержание не стоит формы, не стоит биться головой о стенку. Это говорю вам я, Гарсия.

ДОН-ЖУАН: (подбегая к Гарсия) Сеньор Гарсия... Вас ведь так зовут?... сеньор Гарсия, я рад, что Вы наконец заговорили, может быть, Вы объясните, что происходит в Севилье?

ГАРСИЯ: (не слушая его) Я брошу Вам монету, и Вы заключете ее. Эй, так кто же там заблудился и верещит таким гнусным голосом?

ДОН-ЖУАН: Я?

ГАРСИЯ: Люди, вы есть дерьмо, говорю вам я. И больше я ничего не скажу.

Садится на свой стул.

ДОН-ЖУАН: Сеньор Гарсия! Не слышит... Понятно... Хотя, в сущности, отнюдь и не понятно.

Садится на пол, обхватив голову руками. Появляется Маноло.

Он в белом трико и с маской печали на лице. Мягкими шажками обегает вокруг Дон-Жуана.

ДОН-ЖУАН: Что? Это еще что такое? В чем дело, несчастный?

Маноло молча переступает через Дон-Жуана, потом садится чуть поодаль и, не отрываясь, смотрит на него.

ДОН-ЖУАН: Пошел прочь, идиот! Не имею никакого желания с тобой связываться.

МОНТАЛЬБАН: Что Вы так кричите, Дон-Жуан?

ДОН-ЖУАН: А, Вы уже проснулись. Откуда Вы знаете мое имя?

МОНТАЛЬБАН: Вы совсем запутались, мой мальчик, мне Вас жаль. Вы верите что я Вам друг?

ДОН-ЖУАН: Я с отвращением слышу Ваш голос.

МОНТАЛЬБАН: Ох уж этот мой голос. Проклятие моему голосу, сожгите мой голос. Вы этого добиваетесь, Дон-Жуан? А между тем голос как голос. Когда-нибудь рыбы заговорят моим голосом. Кроме того, мой голос пока лучшее, что Вы услышали в Севилье.

ДОН-ЖУАН: Ничем не лучше голоса Гарсии.

МОНТАЛЬБАН: Вы как-то совсем не остроумно соображаете. Разве то бульканье, что издает Гарсия, можно назвать голосом? Это скорее бред больной печени, шипение желчи.

ДОН-ЖУАН: Возможно, Вы и правы, Но какая, собственно, разница?

МОНТАЛЬБАН: Bravo, теперь я могу спать спокойно. Вы с замечательной быстротой усваиваете мои уроки, и это должно меня утешать. Только Вы рано отчаялись.

ДОН-ЖУАН: Разве слова, которым Вы научили меня, это слова отчаяния?

МОНТАЛЬБАН: Порой от них морозец пробирает кожу, особенно когда Вы их произносите. Но Вам не удастся обокрасть меня, для

этого Вы слишком прямолинейны. А я из любой переделки выкручусь, такой уж я ловкач. Вы понимаете меня? Такой уж я ловкач. Что тут не понимать? Просто я ловкач.

ДОН-ЖУАН: Да, Вы не похожи на отчаявшегося человека. По-моему, Вы прекрасно чувствуете себя в Севилье.

МОНТАЛЬБАН: Я привык. Я убежден, что здесь родился и вырос.

ДОН-ЖУАН: Скажите лучше, что это за тип устался на меня?

МОНТАЛЬБАН: Это? Маноло.

ДОН-ЖУАН: Что он хочет?

МОНТАЛЬБАН: А чего ему хотеть? Все, что ему хочется, у него есть. Он играет свою роль на белоснежном фоне Севильи, и большего ему и не нужно. Но бедняга в сущности продешевил.

ДОН-ЖУАН: Маноло, пошел вон! Он глухой?

МОНТАЛЬБАН: Нет, разумеется. В Севилье никто не глух.

ДОН-ЖУАН: И все эти люди слышали, как я к ним обращался?

МОНТАЛЬБАН: Конечно.

ДОН-ЖУАН: Почему же...

МОНТАЛЬБАН: Почему же они...

ДОН-ЖУАН: Не перебивайте меня!

МОНТАЛЬБАН: Вы в болезненном состоянии, это нехорошо. Какая разница — отвечают они Вам или нет?

ДОН-ЖУАН: Как же Вы не понимаете?

МОНТАЛЬБАН: Я все понимаю. Послушайте, милый, слова давно утратили свою ценность. Эти люди слушают Ваш лепет, смотрят мимо Вас, и молчание придает им вес. Потом они слегка приукрасят себя словами и снова возьмут свое, возьмут вверх над тем неведомым, чему они все тут поклоняются, а Вы опять проиграете, Вы всегда будете проигрывать. В моей власти крикнуть Вам — пошел вон! — как крикнули Вы бедняге Маноло. С той лишь разницей, что Маноло так никуда и не пошел, а вот Вас, право как пушинку сметет.

ДОН-ЖУАН: Вы тоже играете какую-то роль на белоснежном фоне Севильи?

МОНТАЛЬБАН: Не заигрывайте со мной, не нужно, оставайтесь прежним простодушным мальчиком.

ДОН-ЖУАН: Но мне любопытно!

МОНТАЛЬБАН: Вот так-то лучше. Я Вам отвечу, моя жизнь — творчество. Вас удовлетворяет такой ответ? Я творю собственную жизнь.

ДОН-ЖУАН: Кто Вы?

МОНТАЛЬБАН: Антонио Монтальбан.

ДОН-ЖУАН: Это имя ничего мне не говорит.

МОНТАЛЬБАН: Мне, признаться, тоже. Но дело в том, что я перед Вами и говорю с Вами. Это и есть мое творчество.

ДОН-ЖУАН: Вы знаете, зачем я пришел в Севилью?

МОНТАЛЬБАН: Повторяю, я не ясновидящий и не факир. Я обычный человек, такой же, как и Вы, разве только у меня есть тряпочка, назначения которой Вы не в силах понять.

ДОН-ЖУАН: Забудем пока о тряпочке. Знаете... я вижу один выход—принять Вашу дружбу или то, что Вы называете дружбой. Я хочу довериться Вам.

МОНТАЛЬБАН: А я хочу служить Вам по мере своих слабых сил.

ДОН-ЖУАН: Вы должны проводить меня к дому донны Анны.

МОНТАЛЬБАН: Решили совратить эту голубку?

ДОН-ЖУАН: Не Ваше дело.

МОНТАЛЬБАН: Мое дело раскусить Вас, и я раскусил. Вы намерены слоняться вокруг дома нашего славного командора, вздыхать, петь серенады его супруге и умолять ее показаться на балконе. Все это ломаного гроша не стоит, милый мой Дон-Жуан. Ничего у Вас не выйдет.

ДОН-ЖУАН: Как же я дошел до жизни такой, что мне прочат неудачу на поприще любви?!

МОНТАЛЬБАН: Донна Анна, которая, может быть, и растаяла бы от Ваших серенад где-нибудь в Мадриде или Париже, здесь, в Севилье, и краем уха не поведет.

ДОН-ЖУАН: Итак, к черту донну Анна!

МОНТАЛЬБАН: Как быстро Вы спасовали, даже не верится.

ДОН-ЖУАН: Я спасовал? Знайте же, что она будет моей!

МОНТАЛЬБАН: Я готов дать Вам совет. Но прежде я должен выяснить, в каком виде Вы желаете получить эту женщину?

ДОН-ЖУАН: В каком виде? Нелепый вопрос. Разумеется в живом.

МОНТАЛЬБАН: Постараюсь объяснить. Вам как угодно: чтобы донна Анна была с Вами в белом трико или в традиционном испанском наряде? А, быть может, в платье монашки?

ДОН-ЖУАН: Пожалуй, Вы снова бредите. В конце концов мне безразлично, как будет одета донна Анна.

МОНТАЛЬБАН: Зато это имеет значение для нее.

ДОН-ЖУАН: Хорошо, допустим. Пусть она хоть фиговым листочком... так сказать...

МОНТАЛЬБАН: А можно и вовсе обнаженной.

ДОН-ЖУАН: Вы полагаете, я не справлюсь с ней без Вашей помощи?

Послушайте теперь меня. Смуглые тела испанок и пенящийся блеск их глаз, звон гитар и...

МОНТАЛЬБАН: Да, и Ваша бьющая через край молодость, да, и украденные у глупых мужей ночи, да, и ласки луны. Да уж перестаньте. Хотите, чтобы ее принес Вам сам командор?

ДОН-ЖУАН: То есть как?

МОНТАЛЬБАН: Очень просто. Командор на руках приносит Вам свою жену и говорит — вот моя жена, берите ее.

ДОН-ЖУАН: А разве такое бывает?

МОНТАЛЬБАН: Комедиант! Как же это жизнь Вас до сих пор ничему не научила? Конечно бывает. В Севилье, мой друг, в Севилье бывает.

ДОН-ЖУАН: Очевидно, командор хочет избавиться от своей жены?

МОНТАЛЬБАН: Напротив, они великолепно уживаются друг с другом.

ДОН-ЖУАН: Ничего не понимаю.

МОНТАЛЬБАН: А ничего понимать и не нужно. Вы должны ответить конкретно — желаете, чтобы командор сам принес Вам свою жену, или нет? Только и всего. Только не упрямитесь, отвечайте конкретно.

ДОН-ЖУАН: Я желаю только, чтобы донна АННА полюбила меня, а для этого нужно...

МОНТАЛЬБАН: Вздыхать? Петь серенады?

ДОН-ЖУАН: Гордость и любовь, Вы привели меня в Севилью. Но что я здесь вижу?!

МОНТАЛЬБАН: Оставьте свои штучки для Мадрида и прочих вонючих дыр...

ДОН-ЖУАН: Ах, ну не жмите на меня так, дайте мне передышку!

МОНТАЛЬБАН: Впрочем, из Севильи Вам все равно не выбраться.

ДОН-ЖУАН: Вы так думаете?

МОНТАЛЬБАН: Не один храбрец сложил здесь голову.

ДОН-ЖУАН: Ну, еще посмотрим. Черт возьми, у меня уже сложилось некоторое представление о донне Анне. Этакая гордячка, жеманница, своенравная особа, пройдет мимо и не глянет, а у самой платье так и просится с плеч долой. Что ей, мол, до какого-то ДОН-ЖУАНА? Это мне нравится, сеньор Монтальбан. Люблю ломать гордючек и знаю в этом толк.

МОНТАЛЬБАН: Да берите ее хоть сейчас. И голыми руками.

ДОН-ЖУАН: (как бы не расслышав его слов) Мы начнем, пожалуй, со стихов.

МОНТАЛЬБАН: Пожалуй. Если стихи того стоят.

ДОН-ЖУАН: Я сочинил их 5-6 лет назад, и тогда к донне Анне они отношения еще не имели...

МОНТАЛЬБАН: Лет 5-6 назад? Бьюсь об заклад, что они уже провалялись. Лет 5-6 назад! За эти годы Севилья успела износить все цвета радуги.

ДОН-ЖУАН: (вручая Монтальбану свиток) Передайте это ей.

МОНТАЛЬБАН: Ваш покорный слуга (берет свиток). И им останусь, если, конечно, в дороге меня не сожрут псы.

ДОН-ЖУАН: Мои стихи собьют спесь с донны Анны.

МОНТАЛЬБАН: Самоуверенный мальчишка!

ДОН-ЖУАН: Вы что-то сказали?

МОНТАЛЬБАН: Кое-что сказал.

Д-Ж.: Прочитав мои стихи донна Анна поймет, что перед нею человек, достойный славы самого Гонгоры, а не заурядный виршеплет и ловелас. Идите, сеньор Монтальбан, мой верный товарищ, и да сопутствует Вам удача.

МОНТ.: Ну, это совсем уж комедия в мадридском духе. Идти куда-то... даже смех разбирает. Быть может, еще в плащ завернуться? Вашу писульку я вручу донне Анне прямо здесь.

Д-Ж.: А она придет сюда? Тем лучше. О красоте этой женщины твердит вся Испания.

МОНТ.: Договоримся сразу: дама, у ног которой я сижу, и есть донна Анна.

Д-Ж.: Как? Боже правый! И она все слышала?

МОНТ.: Своеобразный поворот, не правда ли?

Д-Ж.: Донна Анна! Я ведь не знал, о, я несчастен, я погиб!

МОНТ.: Ваш лепет ее позабавил.

Д-Ж.: Это слишком маленькое утешение.

МОНТ.: Теперь ждите награды.

Д-Ж.: Но что она теперь обо мне думает?

МОНТ.: Сядьте у ее ног. Сядьте мне на колени. И мы оба будем смотреть на нее, и никто ни в чем не упрекнет нас. Скажите, Вы знаете женщин? Как таковых. Ибо женщин нужно знать как таковых.

Д-Ж.: Верните мне...

МОНТ.: ...писульку...

Д-Ж.: Да. Да, писульку. В ней больше нет нужды.

МОНТ.: Я вручу ее той, кому она адресована. Даже если это было сделано лет 5-6 назад.

Д-Ж.: Донне Анне? Этой? Которая сидит на стуле как манекен, и смотрит бог весть куда? Да Вы с ума сошли, сеньор Монтальбан!

МОНТ.: Этой или другой... какая разница?

Д-Ж: Есть еще и другая?

МОНТ.: Есть эта и есть другая, а есть еще и донна Анна. И все они — донна Анна.

Д-Ж.: Не морочьте мне голову!

МОНТ.: Вы не верите, что перед Вами сидит донна Анна? Сейчас полдень. И в этот переломный час Вы не верите в существование донны Анны? Как это Вам удавалось до сих пор избегать лап инквизиции?

Д-Ж.: Если это она... то какая же еще другая?

МОНТ.: Донна Анна, какая еще другая?

ДОННА АННА: Какая еще другая, если это я?

МОНТ.: Слышали?

Д-Ж.: Да.

МОНТ.: И что Вы по этому поводу скажите?

Д-Ж.: Что я схожу с ума.

МОНТ.: О, возможно. Но какая, собственно, разница?

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Вокруг столика в небрежных позах сидят донна Анна, командор, Дельгадо, Фронтильяна, Гранде. Одеты они по старинной испанской моде.

ДЕЛЬГАДО: Луна — всего лишь щит, от которого отражаются удары чьих-то мечей. Когда-нибудь я сражусь с луной.

ФРОНТИЛЬЯНА: Когда?

ДЕЛЬ.: Пока не знаю. Но думаю, что скоро. Я окуну руки в мрак, чтобы унять их дрожь.

ДОННА АННА: Я устала.

КОМАНДОР: Здесь отличное вино, милая.

Д.А.: Я устала от вина. Послушайте, Фронтильяна, не хотите пойти со мной на корриду?

ФРОНТ.: Ни в коем случае. Что подумают обо мне люди?

КОМ.: А меня ты не приглашаешь?

Д.А.: Ты все равно откажешься.

КОМ.: Я не хочу сегодня идти на корриду.

ФРОН.: Вот и я не хочу.

ДЕЛЬ.: Коррида — это место под солнцем, которое нашли себе быки и люди.

Д.А.: Что, Дельгадо?

ДЕЛЬ.: Коррида — это место, где кто-то уходит из-под солнца.

Д.А.: Что, Дельгадо?

ДЕЛЬ.: Я поэт, моя коррида — это поэзия. Когда я умру, останется коррида.

Д.А.: Чтобы не умерла Ваша поэзия, Дельгадо, я не пойду сегодня на корриду.

ДЕЛЬ.: Благодарю Вас, Вы ангел во плоти.

КОМ.: Ты чем-то огорчена, Анна? Где же твой пафос немеркнувшего веселья? Отдай мне простор, подари мне вечную песню! Ты, ты, ты одна такая. Одна в целом мире.

Д.А.: У тебя все есть, Что ты еще просишь? Я принадлежу тебе.

КОМ.: Мне казалось, ты чем-то огорчена. Хочешь быть умницей?

Д.А.: Я устала. Это солнце выжило из ума. Как можно так поджаривать живых испанцев?

ДЕЛЬ.: Вы еретичка, восстающая на солнце. Вполне понятно, почему оно Вас поджаривает.

КОМ.: И вот что я скажу: мы должны создать новую цивилизацию и лелеять ее.

Д.А.: Не будь скучным, командор.

КОМ.: Это я скучный? Вот так новость! Впервые такое слышу.

ФРОНТ.: Признаться, командор, и я нахожу Вас скучным.

КОМ.: Теперь это уже не новость для меня.

ДЕЛЬ.: Не вздумайте затаить обиду, командор, или я не прощу Вас в свой звездный час.

КОМ.: Я только принял к сведению и постарался исправиться.

Д.А.: Возьми себя в руки, милый, не раскисай.

КОМ.: Ибо еще не то услышу. Но я тебя верно понял. Ты обвиняешь меня в консерватизме, не правда ли, радость моя?

ДЕЛЬ.: От скучного до консервативного один шаг. Это факт. Как от корриды до поэзии.

КОМ.: И Вы, Фронтильяна, на стороне моих обвинителей?

ФРОНТ.: Я полагаю, что порой консерватизм порождает невиданное новаторство. Особенно, когда солнце не в своем уме. Поэтому я молчу. Я в стороне.

КОМ.: Я еще покажу себя. Вы еще меня узнаете.

ФРОНТ.: О, как я верю в это!

Д.А.: Я устала.

КОМ.: Для этого есть причины?

ДЕЛЬ.: А Вы не лишены остроумия, командор. В Вас чувствуется ирония. Или это напускное?

КОМ.: Я тоже устал.

ДЕЛЬ.: Теперь вижу, что не напускное.

ГРАНДЕ: Командор, кроты плюют на тулью Вашей шляпы, и весь Ваш нос перепачкан землей.

КОМ.: Понятно. Анна, сколько кротов живет еще в Севилье?

ДЕЛЬ.: Сначала на моей голове вырос один волос, потом три, потом два, а потом сразу четыре.

ГРАН.: Мы ждем Фронтильяну, чтобы он настроил наш рояль.

Д.А.: Ветер пахнет жареными домами. Кто-то среди нас грешит.

ФРОНТ.: И пришел Фронтильяна. Я видел, как он ушел.

КОМ.: Мой нос перепачкан Фронтильяной.

ДЕЛЬ.: Фронтильяна без ума от нашего рояля.

ГРАН.: У рояля выросли уши Фронтильяны.

ФРОНТ.: Фронтильяна знает, что делает.

КОМ.: Да здравствует Фронтильяна.

Д.А.: А что он думает о письме, что прислал мне Дон-Жуан?

ГРАН.: Теперь я умываю руки.

КОМ.: Неужели моя Анна опять сплеховала?

ДЕЛЬ.: Нет, но Гранде умывает руки. Гранде чистоплотный.

ФРОНТ.: Гранде умный.

Д.А.: Гранде красивый.

КОМ.: Гранде не скучный. Весело смотреть, как он умывает руки.

ГРАН.: Все, я умыл руки.

Д.А.: Теперь я могу спросить, что думает Фронтильяна о письме, которое прислал мне Дон-Жуан?

КОМ.: Иными словами – некий Дон-Жуан. Она может спросить, Фронтильяна?

ФРОНТ.: Спрашивайте.

Д.А.: Итак, Фронтильяна, что Вы об этом думаете?

ФРОНТ.: Ничего. Почему я должен думать о каком-то письме?

КОМ.: А, следовательно следовало бы подумать. Это письмо дает пищу для размышлений.

Д.А.: Подумайте хотя бы о Дон-Жуане.

ДЕЛЬ.: А что, ему туго приходится в Севилье? Что это вообще за человек?

КОМ.: ПроЙдоха из Мадрида или Валенсии.

ФРОНТ.: Или из Толедо.

Д.А.: В Толедо, говорят, много крыш. И все они говорят сами за себя.

ДЕЛЬ.: Серьезно? А в Мадриде есть коррида?

Д.А.: Конечно.

ДЕЛЬ.: Стало быть, командор признает Мадрид?

КОМ.: Вы тоже не лишены остроумия, Дельгадо.

ФРОНТ.: Минута любви! Требую минуту любви! Ну-ка, что там сочинил этот Дон-Жуан?

Д.А.: Поэму в мою честь.

КОМ.: Так я и поверю, что в твою честь. Нужно начисто лишиться остроумия, чтобы поверить, что этот щеголь сочинил поэму в твою честь.

ФРОНТ.: А кто лишается остроумия, тот перестает быть прогрессивным.

Д.А.: Уж Вы-то, Фронтильяна, давно растеряли свое остроумие. Это видно из того хотя бы, что Вы постоянно о чем-то думаете.

ФРОНТ.: Хорошо, что я не спросил, из чего это видно. Было бы совсем не остроумно, если бы я спросил.

ДЕЛЬ.: А что за поэма? Что там сочинил недальновидный Дон-Жуан? Чрезвычайно любопытно.

Д.А.: О, златокудрая дева, на заре восходящая...

ДЕЛЬ.: Что это значит, донна Анна? Что такое Вы брякнули?

КОМ.: О, толстозадая девка, по ночам шурудящая...

ФРОНТ.: О, пышногрудая жаба, смуглая и живородящая...

ДЕЛЬ.: Я не понимаю! Я брошен Вами на произвол судьбы, сеньоры!

Д.А.: О, златокудрая дева, на заре восходящая...

ДЕЛЬ.: Что это, что, что, что? Я ничего не понимаю! Вы потешаетесь надо мной! За что?

Д.А.: Болван, это первая строка из поэмы Дон-Жуана.

ДЕЛЬ.: А, понял. О, краснолицая сука, серьезно блудящая...

Д.А.: Кто ты, мой строгий поэт и судья?

КОМ.: Не приходи, говорю тебе я.

ФРОНТ.: Он придет, командор.

КОМ.: Вы слишком серьезно воспринимаете это, Фронтильяна. Моя жена права, Вы где-то растеряли свое остроумие. Смотрите, как бы Вам не выбыть из игры.

ДЕЛЬ.: Командор, кроты гадят на Вашу голову.

КОМ.: Не остроумно, Дельгадо. По Вашему, кроты только со мной имеют дело?

Д.А.: Как блестяще защищается командор. Я начинаю уважать тебя, командор. Мой командор.

ГРАНДЕ: Когда воронам скучно, они подвешивают людей на деревьях головой вниз и изучают процесс образования падали.

ДЕЛЬ.: Пеоны подбирают помет ворон и растирают его на моей голове.

КОМ.: (неуверенно) Дайте мне примерить Вашу голову.

Д.А.: Было! Было! Мой супруг опростоволосился!

ДЕЛЬ.: Тридцать щелчков по носу!

КОМ.: Я в ловушке, сеньоры. Я проиграл. Но ведь у Гранде больше времени на раздумья. Он тут часами молчит, а потом...

Д.А.: А ты добейся того положения, что завоевал Гранде. Сейчас мы разденем тебя догола и ты голый вернешься во дворец.

ФРОНТ.: Спокойно, сеньоры, спокойно. Мы должны наказать командора так, чтобы он на всю жизнь запомнил. Лишь бы не упустить такой случай. А что скажет Гранде?

ДЕЛЬ.: А что скажете Вы, осторожный и хитрый Фронтильяна?

ФРОНТ.: Я предлагаю назначить экзекутором Гранде.

Гранде встает и выплескивает командору в лицо вино из стакана.

Все потешаются, но со временем веселье стихает, и смеется теперь один командор.

Д.А.: Очень смешно, но не очень остроумно. И у Гранде бывают срывы.

КОМ.: (сквозь смех) Заметьте, я смеюсь последним. А с одной стороны я уже обсох. Но это с одной стороны, тогда как с другой я продолжаю смеяться.

ФРОН.: Сумасшедшее солнце сводит с ума... Крыши истекают потом... Люди лезут из своих шкур, как змеи...

Д.А.: Я бы вернулась домой.

КОМ.: Как хочешь. Как твоей душе угодно. Ты моя песня.

Д.А.: Дорога, которая привела нас сюда, уползла в тень. Дорога, которая привела нас сюда, сожрала тень. Дороги, той, что привела нас сюда, больше нет.

КОМ.: Ты пьяна, Анна. И как ты женственна сейчас, Анна. Я хочу тебя, Анна.

ДЕЛЬ.: Какого черта вы ссоритесь? Это надоело, нельзя же без конца ссориться.

ФРОНТ.: Не мешайте им. Они похожи на голубков.

КОМ.: Она свихнулась, а я объясняю ей, что это неприлично. Но мы вовсе не ссоримся.

Д.А.: Неприлично быть скучным дураком, за это мало брызгать в лицо стаканом вина. Севилья отлично обошлась бы и без меня.

КОМ.: Я не держу тебя, ты знаешь. Иди, если хочешь, к Дон-Жуану.

ФРОНТ.: Боже мой, до чего грустно звучит! А ведь Вы несправедливы к командору, донна Анна. Вы только потому и нападаете на него, что он Ваш муж.

ДЕЛЬ.: Bravo, Фронтильяна!

ГРАН.: Часы остановились в моих ушах.

Д.А.: Я заклею своими пятками Ваши глаза, Дельгадо. Если Вы не возражаете. Если Вы не возражаете, Дельгадо. Если Вы не одиноки, Дельгадо. Если Вы не страдаете, Дельгадо. Если Вы любите меня, Дельгадо.

ФРОНТ.: Я всем вам расскажу историю жизни Дельгадо. Жил-был воздушный змей. У него выпали зубы, и многие решили, что у него никогда не было зубов. Когда он пришел в свой дом, там сидели три орангутанга или три жителя Кордовы, это как на чей вкус. На мой вкус, скажу Вам, нет ничего вкуснее рома, но это как на чей вкус. А что же орангутанги? Они повсеместно дули в свирельки, маленькие бескомпромиссные свирельки. У них были зубы, которые они отобрали у воздушного змея. У воздушного змея когда-то было много зубов, и он был культурным и знал чего хотел.

ДЕЛЬ.: Фронтильяна несомненно заслуживает высшей похвалы.

КОМ.: Я убежден, что Фронтильяна достоин отведать те же почести, которые тут среди бела дня узурпировали Гранде.

ГРАН.: Это бунт.

КОМ.: Ай, как не остроумно. Дальше некуда.

ГРАН.: Я буду плакать.

Д.А.: Скажите что-нибудь, Фронтильяна.

ФРОНТ.: Я желтый крик.

Д.А.: Отныне Вы мой кумир, Фронтильяна.

ГРАН.: У Вас меткий зуб, Фронтильяна.

ФРОНТ.: У Вас зорский слух, Гранде.

ГРАН.: У Вас выносливый глаз, Фронтильяна.

ФРОНТ.: У Вас сообразительный нюх, Гранде.

ДЕЛЬ.: Смотрите, сюда с каким-то типом идет Монтальбан.

Д.А.: С Монтальбаном идет Дон-Жуан.

ГРАН.: Ради Монтальбана идет Дон-Жуан.

ФРОНТ.: В честь Дон-Жуана идет Монтальбан.

КОМ.: А что скажешь ты, командор? А что я могу сказать? Как бы и нечего сказать. Но я еще скажу.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Декорации те же. Дон-Жуан и Монтальбан

Д-Ж.: Так Вы утверждаете, что она милостиво приняла мое послание?

МОНТ.: Совершенно верно, именно милостиво. Протянула руку и зажала Ваши изумительные сонеты между пальчиками.

Д-Ж.: Сонеты? Невежда! Разве Вы способны отличить мои стихи от сонетов?

МОНТ.: И это все?

Д-Ж.: Что значит все? Почему она не ответила?

МОНТ.: А зачем ей было отвечать? Или, скажем, не отвечать? Ответом могут служить и эти стулья.

Д-Ж.: Предположим, предположим, что в Севилье красавицы отвечают своим поклонникам на языке стульев. Но что этот ответ сулит мне?

МОНТ.: Все, что Вам угодно.

Мимо них проходит человек в коричневой рясе. Его лицо скрыто под капюшоном.

Д-Ж.: А скажите, любезный...

МОНТ.: Погодите... Видели этого человека?

Д-Ж.: Монаха? Видел? И что с того?

МОНТ.: О беспечнейший из беспечнейших! Вряд ли это монах. Вряд ли, дорогой мой Дон-Жуан.

Д-Ж.: Не говорите загадками. Кто же, если не монах?

МОНТ.: В том-то и дело, что я не знаю. Если бы я знал... Но я не знаю, в тот-то и дело.

Д-Ж.: Похоже, что этот человек заставил Вас призадуматься.

МОНТ.: Не смейтесь, тут нет ничего смешного.

Д-Ж.: Я не смеюсь, я давно уже не смеюсь.

МОНТ.: И не грустите.

Д-Ж.: Я не знаю, что мне делать.

МОНТ.: Постарайтесь узнать, что это за молодчик в рясе шмыгнул тут мимо нас.

Д-Ж.: У кого?

МОНТ.: Хотя бы у меня.

Д-Ж.: Но ведь Вы...

МОНТ.: Это верно, я и сам не знаю. Но что бы Вы делали без меня? Пора организовать клуб замечательных друзей Дон-Жуана. Я войду в него первым членом. Однако, кто, кто этот человек, прошедший мимо нас в рясе и со спрятанным лицом?

Д-Ж.: Монах.

МОНТ.: Не упорствуйте, юноша. Я старше Вас и все лучше понимаю. Не вызывает сомнения, что не спроста появился этот человек. Это эксперимент, но какой, какой, что за цели он преследует?

Д-Ж.: Я не ослышался?

МОНТ.: Думаю, что нет.

Д-Ж.: Ну-ка, растолкуйте...

МОНТ.: Я не могу без разъяснений, слышите? Я должен постоянно что-то объяснять. Я должен все это объяснять, слышите? Зачем я

живу, куда я иду — все, все... Эти люди, людишки, слышите? Этот муравейник, этот мир, слышите, разве мы о том мечтали? Пусть мне уготована гибель, но пусть гибнет и Севилья, она оказалась слишком глупа, чтобы понять меня. Вы так беззащитны, что мое сердце с Вами. Мы встретились на пороге и вместе перешагнули через порог. Я уже на краю гибели.

Д-Ж.: Что Вы мелете? Никак не возьму в толк.

МОНТ.: А что Вам сказал этот человек в рясе? Вы что-нибудь поняли? Тут не все белыми нитками шито. Его послал какой-нибудь Мендоса или Лопес — это Вы понимаете?

Д-Ж.: Не совсем.

МОНТ.: Не старайтесь меня запутать.

Д-Ж.: Ну так покажите мне этого Мендосу.

МОНТ.: Мендоса тут многое решает, но именно какой-нибудь Мендоса, один из многих мендос. Он, быть может, вовсе и не Мендосой зовется. Я ведь тоже могу быть таким Мендосой. Так что тут никакой тайны нет. (замечает шар, медленно опускающийся на голову Дон-Жуана). Берегитесь! О, берегитесь же!

Д-Ж.: Что это?

Шар исчезает.

МОНТ.: Это первая беда, свалившаяся Вам на голову.

Д-Ж.: Беда? Какая ж это беда? Это не больше, чем шар.

МОНТ.: Если Вы все так хорошо понимаете, зачем же Вы требуете от меня объяснений?

Д-Ж.: Но я не могу удивиться Вашим объяснениям.

МОНТ.: Не спорьте со мной.

В некотором отдалении вспыхивает фонтан искр.

Ага, смотрите! Как Вам это нравится?

Д-Ж.: Обычный фейерверк.

МОНТ.: Какой Вы реалист! Но Вы только начало видели. А вот еще, смотрите!

Постепенно вся сцена погружается в дым, искры, тени.

Д-Ж.: Странное явление...

МОНТ.: Не храбритесь, не нужно храбриться. И испугу не поддавайтесь. Это странное явление не принесет Вам гибели. Вы не бойтесь, Дон-Жуан.

Д-Ж.: Я не боюсь, о чем Вы.

МОНТ.: Пока Вы лишь цветочки видели.

Внезапно сцена погружается в темноту.

Д-Ж.: Затмение! Ночь среди бела дня!

МОНТ.: А, приперли Вас! И пусть, пусть!

В глубине сцены появляется на изрядной высоте маленький огонек, передвигающийся плавно и неторопливо.

Д-Ж.: Э, смотрите, Монтальбан, это еще что?

МОНТ.: Приперли, приперли! Да ведь это же свеча! Свеча только, боже правый! Свеча, пожалуй, свеча.

Д-Ж.: Странная свеча! Мне раньше и в голову не приходило, что свечи способны летать по воздуху. Странная свеча! Или это сон?

МОНТ.: Спросите Мендосу, он знает.

Д-Ж.: К черту Вашу софистику. Не признаю никакого Мендосы, даже если он король всех Испаний.

МОНТ.: Ну так продолжайте спать, хотя, возможно, что Вы вовсе и не спите.

Понемногу усиливается свет, и теперь уже видно, что свеча горит в руках передвигающейся по воздуху донны Анны.

Д-Ж.: Но это же донна Анна!

МОНТ.: Любите ее, сын мой, она этого стоит.

Д-Ж.: Но разве такое возможно? Я схожу с ума!

МОНТ.: Прекратите, Дон-Жуан, знайте меру. Всему есть предел. Неужели Вы не видите, что она на качелях?

Д-Ж.: (нараспев) Донна Анна на качелях, донна Анна на качелях, донна...

МОНТ.: Остановитесь! Пока не поздно!

Д-Ж.: Да, да, остановитесь, пока не поздно! Что Вы там делаете на этих качелях?

МОНТ.: Качели — это символ.

Д-Ж.: Символ чего?

МОНТ.: Короче говоря, символические качели.

Д-Ж.: Понимаю... Прodelка какого-нибудь Мендосы.

МОНТ.: Возможно.

Д-Ж.: Ваше любимое слово — "возможно" — я только сейчас это понял.

МОНТ.: Но дались Вам эти качели. Это могут быть вовсе и не качели.

Д-Ж.: (шепотом) А в том, что это донна Анна, я могу не сомневаться?

МОНТ.: (тоже шепотом) Это донна Анна, но ее сохранность я не гарантирую. Возможно, что это вовсе и не та донна Анна, которой я вручил Ваши стишки.

Д-Ж.: (шепотом) Я понимаю.

ДОННА АННА: (спускаясь на землю и приближаясь к ним) Дон-Жуан!

Д-Ж.: Донна Анна, скажите, этот человек вручал Вам мои стишки?

Д.А.: Сеньор Монтальбан, прошу Вас, оставьте меня наедине со своим другом. Мне много нужно сказать ему.

МОНТ.: Ваше слово, сеньора, закон для меня (уходит).

Д.А.: Дон-Жуан, я многое хочу поведать тебе.

Д-Ж.: О, донна Анна!

Д.А.: Поверь, не знаю, с чего начать...

Д-Ж.: Позвольте я помогу Вам, ведь я должен сказать Вам еще больше. Я должен рассказать, как молва о Вашей красоте привела меня в Севилью...

Д.А.: Ты красивый, Дон-Жуан.

Д-Ж.: Толедо и Мадрид, захлебываясь от восторга...

Д.А.: Ты очарователь, Дон-Жуан.

Д-Ж.: Ты, ты, донна Анна...

Д.А.: У тебя правильные черты лица. В оскале твоего рта нет ничего первобытного, звериного. У тебя мужественное лицо. Ты настоящий мужчина, Дон-Жуан.

Д-Ж.: О благородстве твоём шептали мне ночью...

Д.А.: Ты благороден, Дон-Жуан.

Д-Ж.: О!

Д.А.: Ты храбр и честен.

Д-Ж.: Вы мне льстите...

Д.А.: Ты умен, ты чист, как роса, ты доверчив, как ребенок.

Д-Ж.: Поверьте, я смущен...

Д.А.: Ты великолепно сложен, Дон-Жуан.

Д.А.: Вы вгоняете меня в краску...

Д.А.: Ты неукротим и безудержен в страсти.

Д-Ж.: Да откуда Вы это знаете?

Д.А.: Ты повелитель женщин.

Д-Ж.: Да, такая слава действительно...

Д.А.: Все женщины у твоих ног, Дон-Жуан.

Д-Ж.: О, напротив, это я у Ваших ног!

Д.А.: Ты настоящий испанец.

Д-Ж.: Согласен.

Д.А.: Ты не должен теряться в моем присутствии. Не бойся меня. Я твоя, Дон-Жуан.

Д-Ж.: Верить ли мне своему счастью, донна Анна? (падает на колени). Я люблю тебя. Сколько длинных ночей я провел, вздыхая и грезя...

Д.А.: Погоди, не нужно.

Д-Ж.: Погодить? Но почему?

Д.А. Встань (Дон-Жуан встает). Сядь на этот стул (Дон-Жуан садится). Можно я сяду тебе на колени?

Д-Ж.: О, конечно!

Д.А.: (садясь) Все ночи длинны, Дон-Жуан, редко бывают короткие ночи. Знаешь, я иногда пишу стихи, вот послушай. Месяц, ковшик и слюда, нам там не быть никогда.

Д-Ж.: А дальше?

Д.А.: А дальше ничего. Пустота, и еще, наверно, крики ночных потусторонних птиц. Правда, что ночные птицы словно не от мира сего?

Д-Ж.: Да, да...

Д.А.: Молчи, молчи... Чувствуешь, луна греется о твои глаза? Молчи... (встает). Я буду стоять и смотреть на тебя. Мы счастливые, да?

Д-Ж.: Я счастлив...

Д.А.: Ну почему ты не молчишь? Рядом с тобой я чувствую себя маленькой девочкой. Маленькой певуньей, которая свихнулась от любви к тебе. Ты должен был придти раньше. Ты разочаровался во мне, Дон-Жуан? Скажи правду. Ты ожидал другого? А я тебя разочаровала. А я тебя люблю. Ты красивый, умный, благородный, храбрый, стройный, сильный, мужественный, мускулистый. Возьми меня, потом уходи. Сейчас. И никогда потом.

Д-Ж.: Что ты говоришь? Зачем эти слова?

Д.А.: Не спрашивай, ты и сам все понимаешь. Я гадкая и подлая. Я маленькая и ничтожная. Просто я не могу пройти мимо Дон-Жуана. Это оттого, что я сознаю свое ничтожество. Не могу пройти мимо Дон-Жуана, не могу, не хочу, не позволю себе пройти. Мне страшно подумать, что великий Дон-Жуан может пройти мимо и не заметить меня. Видишь, я такая дрянь, серое, злое существо.

Д-Ж.: Я вижу, какая ты странная, я вижу тебя, любимая...

Д.А.: Ты видишь насквозь, я на твоей ладони, такая крошечная и понятная...

Д-Ж.: Мне так хорошо быть с тобой...

Д.А.: Все мужчины так говорят. А я просто не могу пройти мимо Дон-Жуана. Когда Дон-Жуан проходит мимо, я вся дрожу. Я готова унижаться перед Дон-Жуаном, лишь бы он заметил меня. Как же так, великий Дон-Жуан пройдет мимо и не заметит меня? Невозможно, невозможно. Мой муж тоже Дон-Жуан, и я не позволила ему пройти мимо.

Д-Ж.: Твой муж – Дон-Жуан?

Д.А.: Чему тут удивляться? Он великий человек, великий командор. Подобного командора еще не носила земля. Ах, я уже смеюсь над ним, но он все еще велик. Он тоже Дон-Жуан, и удивляться тут нечему, как я не удивляюсь твоему величию. Ты изумительно велик,

Дон-Жуан. Так говорить, как говоришь ты, способен только великий человек.

Д-Ж.: Но я еще ничего не сказал.

Д.А.: Я много слышала о тебе.

Д-Ж.: Да, наверно, обо мне всякое говорят... И все же мне кажется, что ты меня путаешь с кем-то...

Д.А.: Ты мой, ты не прошел мимо. Я обожаю тебя, я люблю твои волосы, твои руки. Позволь мне на тебя наглядеться. Мне горько, что ты скоро забудешь меня.

Д-Ж.: Я забуду?!

Д.А.: Меня бросает в пот от мысли, что Дон-Жуан когда-нибудь забудет меня. Но я не забуду, что-нибудь непременно останется. Я буду помнить, как ты смотрел на меня, я буду помнить прикосновения твоих рук.

Д-Ж.: Я увезу тебя в Мадрид!

Д.А.: Мадрид, Мадрид! Многие обещали увезти меня в Мадрид, но ты не думай, что я потаскушка какая-нибудь, я даже слова такого не знаю. Знаешь, что я им отвечала? О, угадай! Угадай, пока луна светит. Угадай, пока первые петухи не закричали.

Д-Ж.: Я увезу тебя в Мадрид, Анна. Что я теперь без тебя?

Д.А.: Муж у меня, я несвободна.

Д-Ж.: Ты боишься его?

Д.А.: Нет, я люблю его. Он ужасно глупый. Представляешь, он уверен, что у коровы круглое вымя. Ну как не любить такого? Мой командор. Я никогда не уйду от него, только бы он меня не бросил.

Д-Ж.: Но ведь ты меня любишь, ведь любишь же?

Д.А.: Люблю. Сейчас ты для меня все. А из Мадрида я сбегу к нему.

Д-Ж.: Я увезу тебя далеко. В Петербург, в Лондон. Ты забудешь о нем.

Д.А.: А как мы жить будем? Мне надоело жить впроголодь.

Д-Ж.: А разве ты голодаешь?

Д.А.: Командор скуп ужасно.

Д-Ж.: Ты будешь иметь все, все, что пожелаешь. Я буду служить тебе, как раб.

Д.А.: А мой ребенок?

Д-Ж.: Как: у тебя и ребенок есть?

Д.А.: Все, что у меня есть, это ребенок только, вот и все мое богатство. Есть у меня ребенок. Моя малышка, мой ребеночек, моя дорогая. Знаешь ли это моя маленькая Виситасьон, я родила ее лет 8 назад.

Д-Ж.: Мы и Виситасьон заберем с собой.

Д.А.: Ах нет, ну что за адские фантазии! Командор не позволит, разве ж он нашу малышку не любит?

Д-Ж.: Я выкраду Виситасьон, и мы будем жить втроем: ты, Виситасьон и я.

Д.А.: Мы будем жить скромно, ладно? Я устала от роскоши, которая не принадлежит мне.

Д-Ж.: Хорошо, Анна. Все будет, как ты хочешь... Что это? Ты плачешь?

Д.А.: Дай мне успокоиться... Не смотри на меня, я так уродлива, когда плачу...

Д-Ж.: Но почему, что случилось?

Д.А.: Как хорошо, когда люди вот так мечтают... Я всегда плачу, когда какие-нибудь люди мечтают о несбыточном...

Д-Ж.: Я сегодня же увезу тебя из Севильи.

Д.А.: Мне нужно идти.

Д-Ж.: Куда?

Д.А. Ты ничего не понял, Дон-Жуан? Меня ждет командор, я должна идти к нему. Забудь меня, Дон-Жуан, меня не было, меня нет. Смотри (дует на ладонь). Видишь, меня нет. Нет маленькой глупенькой певуны.

Д-Ж.: И ты думаешь, я отпущу тебя? Ведь мы еще ничего не решили.

Д.А.: Я буду кричать, звать на помощь.

Д-Ж.: Дай время... Мы должны понять, что не можем друг без друга, и тогда тебе легче будет решиться.

Д.А.: Я боюсь, что у нас зайдет слишком далеко. Еще немного, и я не смогу без тебя. Ты ангел. Не смотри так на меня... ты хочешь, чтобы я погибла?

Д-Ж.: Обещай мне, что мы встретимся.

Д.А.: Разве я тебе нужна? Ты говоришь со мной, а думаешь о Монтальбане.

Д-Ж.: При чем здесь Монтальбан?

Д.А.: Тебе так нравится говорить с ним. Я слышала. Я ревную.

Д-Ж.: Обещай, что мы встретимся.

Д.А.: Не знаю, Дон-Жуан... Я ведь объяснила тебе...

Д-Ж.: Но я не могу так уйти... Обещай мне, Анна... Я не отстану...

Д.А.: Ах, будь что будет! Поцелуй меня, Дон-Жуан, прижмись ко мне...

Д-Ж.: (целует ее) Я люблю тебя, я никогда еще так не любил.

Д.А.: Крепче, крепче прижмись... Сколько драгоценного времени потеряли мы из-за разговоров! Ты один у меня, тебя только люблю (вырывается). Пусти, теперь к нему пойду. Он меня ждет.

Д-Ж.: Анна! Мне нравится Севилья! (целует ее) Анна, тебе нравится Севилья?

Д.А.: Да!

Д-Ж.: Мне нравится тишина Севильи (целует). Прислушайся (целует). Сейчас грянет гром (целует). Мы уедем в Мадрид, Анна (целует).

Д.А.: Да. (вырывается).

Д-Ж.: Мы встретимся.

Д.А.: Да.

Д-Ж.: Вечером, Анна.

Д.А.: Да. (убегает).

Дон-Жуан стоит посреди сцены, объятый восторгом.

МОНТАЛЬБАН: (из зала) Антонио Монтальбан из газеты "Мадридские ведомости".

Д-Ж.: Опять Вы? Ну-ка, где Вы там? Покажите свое обаятельное личико.

МОНТ.: Я берегу свое личико, я здесь со своим личиком. Но Вы слышите меня, и это главное. Вы готовы ответить на мой вопрос?

Д-Ж.: На сотню Ваших вопросов, на любой Ваш вопрос, каким бы он ни был. Спрашивайте, черт возьми, и Вы услышите от меня вразумительные ответы, а потом ответите мне за свои гнусные выходки.

МОНТ.: Антонио Монтальбан из газеты "Мадридские ведомости". Скажите, сеньор, Вам нравится Севилья?

Д-Ж.: Вполне. Напишите в своей газетке, что Дон-Жуану нравится каждый город, где он имеет успех.

МОНТ.: Антонио Монтальбан из журнала "Ох". Скажите, Вы считаете, что в Севилье Вам сопутствовал успех?

Д-Ж.: Сопутствовал и сопутствует. Донна Анна любит меня, сеньор газетчик.

МОНТ.: Еще один вопрос. Вы видели Донну Анну обнаженной?

Д-Ж.: Мерзкий плут, я не нахожу нужным отвечать на подобный вопрос.

МОНТ.: Благодарю Вас. У меня все.

Д-Ж.: А теперь появись, сеньор Монтальбан, я надеру Вам уши.

МОНТ.: Антонио Монтальбан из газеты "Дни Севильи". Когда Вы последний раз обедали?

Д-Ж.: Вчера. И не прочь пообедать сегодня.

МОНТ.: Антонио Монтальбан из журнала "Суть развлечений, фарсов и странных загадок". Когда Вы намерены покинуть Севилью?

Д-Ж.: Не раньше, чем донна Анна согласится покинуть ее вместе со мной.

МОНТ.: Еще вопрос. Вы не находите, что донна Анна изрядная потаскушка?

Д-Ж.: Я нахожу, что Вы изрядный негодяй.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Монтальбан стоит на краю вращающегося круга. Входит Дон-Жуан, с изумлением смотрит на круг.

Д-Ж.: Ума не приложу, как растолковать это явление.

МОНТ.: Ничего особенного или загадочного, милый. Просто Земля вращается вокруг своей оси. А Вы не знали?

Д-Ж.: Но раньше этого не было.

МОНТ.: Вот уж верно, раньше, когда не было меня, не было и этого. Не вращалась Земля, не восходило солнце, не цвели весной деревья. Все было куда проще. Или Вы ничего не замечали. Ведь Вы и меня раньше не замечали, а мне, знаете ли, кажется, что я живу уже тысячу лет, и, быть может, не только кажется.

Д-Ж.: Но не надейтесь, что Вам посчастливится прожить вторую тысячу лет.

МОНТ.: Тысяча лет! Это всего лишь мгновение.

Д-Ж.: Я пришел покончить с Вами, сеньор Монтальбан.

МОНТ.: В Ваших устах оживает античная трагедия, и это мне, видит бог, нравится. Вам приснился очередной дурной сон?

Д-Ж.: Вы клеветник. И Вы позволили себе отвратительные замечания в адрес донны Анны.

МОНТ.: В адрес неповинной, целомудренной донны Анны. Что ж это я такое съел утром, что позволил себе отвратительные замечания? Вот так ребус.

Дон-Жуан пытается ступить на круг, но вынужден отскочить.

Д-Ж.: Я едва не упал!

МОНТ.: Не шутите с Землей, она вращается не для каждого. Для некоторых она стоит на месте, и они в простоте душевной считают, что она стоит к их услугам. Как оседланный конь, который ждет седока, чтобы по его знаку понести вскачь. Как они заблуждаются, этот оседланный конь понимает куда больше их. Но конь... это аллегория, конь — это герой притчи, которую Вам не обязательно знать. Мы говорим о некоторых, о людях, о живых и мертвых. А знаете, друг мой, для некоторых время остановилось, и им кажется, будто они живут веками. Простодушные дети полузабытых эпох. Я вот живу 1000 лет, но мне кажется, что прожил я не более 5 мин.

Д-Ж.: Идите ко мне, сеньор. Если Вы человек чести, Вы скрестите со мной шпагу.

МОНТ.: 1000 лет — это всего лишь один день на вращающейся Земле.

Д-Ж.: Я Вас жду!

МОНТ.: Вы хотите, чтобы и для меня остановилось время? Вы совершенно напрасно тчитесь заманить меня в эту свою ветхую ловушку. Ловите простаков, а я лучше проживу один день, но на вращающейся земле. Я не желаю обманывать себя кажущимся постоянством. Ваши иллюзии, Дон-Жуан, не для меня. Все вращается, все меняется — вот мой закон. Эй, стул мне.

Сверху спускается стул. Монтальбан берет его и садится.

Д-Ж.: Вы трус, сеньор Монтальбан.

МОНТ.: Что Вы сказали? Говорите громче.

Д-Ж.: Я сказал, что Вы трус. И Вы прекрасно это слышали.

МОНТ.: Нет, не слышу. Все-таки расстояние слишком велико. Да и стены... Вы ощущаете, как они толсты?

Д-Ж.: Здесь нет стен, зачем Вы лжете?

МОНТ.: Вдруг стало много стен, как-то сразу, такое всегда как-то сразу случается, вдруг сразу много стен, вдруг сразу много толстых стен, или даже одна только стена, но такая, что заменит сотню... Не пытайтесь ничего говорить, я все равно не слышу.

Д-Ж.: Но ведь я слышу Вас.

МОНТ.: Да, стены толсты. Или одна стена, но какая? Всем стенам стена. Толща, непреодолимая для простого смертного, так что мне до Вас никак не добраться и голос Ваш родной никак не услышать. Замечательно, что Вы слышите меня, а я Вас нет. А я Вас нет. А я Вас — нет. И я знаю, что Вы слышите. Милый мой, а ведь Вам как бы даже положено слышать, так что слушайте, и пусть мои слова западут Вам в душу. В Вашу бессмертную и гонимую душу.

Д-Ж.: Замолчите. Вы слышите? Замолчите.

МОНТ.: Вы пришли в Севилью, не сомневаясь, что слава о Вас здесь гремит так же, как и всюду. И Вас здесь, как и всюду, знают, это верно. Но что с того? Вас знают здесь, как облупленного, а это очень скверно, когда знают как облупленного. Хуже и быть не может. Ибо что есть человек, которого знают как облупленного? Облупленный человек! Вас тут сожрут, как всякого облупленного. Вас тут знают, но никто не слышит Вас. Все знают, зачем Вы пришли. Вы полагаете, что Вы семи пядей во лбу, а все оттого, что Вы ловкач в упаданиях вокруг женщин. И Вы пришли упадать вокруг донны Анны, пришли показать ей, какой Вы умный и ловкий. Кто не знает, зачем Вы пришли? Покажите мне такого неумного и неловкого

человека, который бы не знал. Все видят, как Вы упадете вокруг очаровательной донны Анны, но никто не видит в этом проявлений большого ума и небывалой ловкости. Самый последний и презираемый обитатель Севильи не хуже вашего сумеет приударить за донной Анной. Вы любите донну Анну? Кто этого не знает? Любой мальчишка знает, знает Маноло.

С потолка спускается маска Маноло.

Д-Ж.: Неправда, это не Маноло.

МОНТ.: Вы сейчас бормочите что-нибудь вроде: неправда, это не Маноло. Вы не способны верить, что перед Вами Маноло, как верю я, Вы не желаете разделять мою веру. На что же Вы в таком случае претендуете? Даже этот Маноло, этот жалкий паяц, на голову выше Вас, потому что при всей своей безграничной доброте он никогда не проникается к Вам состраданием. Потому что тут нужно преодолеть барьер, а это не в его власти. Право, я вижу Маноло. А Вы? Знаю, знаю, Вам нужно видеть какого-то настоящего Маноло, Вы даже не подозреваете, что этот настоящий Маноло выдуман Вами. Настоящий Маноло — тот которого я вижу. Которого я выдумал. Ваша беда в том, что Вы, фантазируя, не верите в собственные фантазии. Ведь Вы боитесь собственных фантазий, не правда ли? Или Вы даже не догадываетесь, что фантазируете. Или не понимаете, что и себя, свою жизнь, свою славу Вы только офантазировали. Я вижу Маноло, я знаю, что это и есть настоящий Маноло, потому что я знаю, зачем выдумал его. И этот Маноло знает, зачем Вы пришли в Севилью. Убрать! (маска исчезает). Но разве Вы хоть заикнулись о том, зачем пришли в Севилью? Этого никто не слышал. Вы скажете, что я слышал. Но как Вы скажете? Ваши слова — всего лишь то, что я думаю о Вас. Как часто я произношу — "всего лишь". Да, ибо Вы всего лишь Дон-Жуан, один из многих дон-жуанов, как Мендоса, который где-то сейчас потешается, слушая нашу милую болтовню, всего лишь один из многих мендос. Что с того, что я уже стою на краю гибели и забвения, а Вы еще не раз придете в этот гнусный город? Я проживу день на вращающейся Земле, а Вы простите свою воображаемую вечность за стеной, которая нас разделяет. Вы простите, говоря моими словами, говоря завтра словами того, кто будет вращаться вместо меня, и я буду сыт и доволен в этот свой день, а Вы обречены на вечный голод и вечное недовольство. Так позвольте мне думать о Вас, быть может только о Вас. Я буду сыт, потому что заставлял Вас говорить моими мыслями, потому что смеялся над Вами и тем самым вынуждая Вас высмеивать самого себя, я тешу тщеславие тех, кто разделяет со мной этот день, кто

сегодня еще понимает радость жизни, а завтра уже не будет ничего понимать. И я никогда не подумаю, что Вам холодно и одиноко там, в своей вечности. Зачем им знать это? День так быстротечен. Какой-нибудь песик, исполняющий роль песика, любопытен своей ролью, а не своими реальными бедами. Я все сказал, Дон-Жуан, теперь не мешайте мне. Скоро я разрешу Вам снова говорить. Я не запрещаю Вам говорить о своих несчастьях, но услышать, поверьте, лишь то, что я думаю о Вас.

Входит донна Анна, садится на колени Монтальбана. Дон-Жуан стоит неподвижно, словно изваяние.

ДОННА АННА: Здравствуй, Монтальбан. Это я, донна Анна. Ты ждал меня?

МОНТ.: Все мы ждем чуда. Я думал, тебя уж давно нет. Это чудо, что ты есть.

Д.А.: Не говори так.

МОНТ.: Понимаю. Горько сознавать свое бессилие. Что ты думаешь о Дон-Жуане, Анна?

Д.А.: Тебе нужно знать?

МОНТ.: Конечно, Анна, очень нужно. Я должен знать, что ты думаешь о нем. Мне хочется думать так же, как думаешь ты.

Д.А.: Он глуп, Монтальбан. Мне надоели его бесконечные преследования.

МОНТ.: Кое-кто склонен считать, что он наивен и только. Всего лишь наивен. Всего лишь наивный Дон-Жуан.

Д.А.: А разве наивность не сродни глупости? Скажи мне, как ты считаешь. Я хочу считать так же, как считаешь ты.

МОНТ.: Я думаю так же, как думаешь ты. Мне отрадно, что наши мнения так схожи. Хочешь я тебя раздену?

Д.А.: Я тебе еще нужна?

МОНТ.: Нет. Не буду тебя задерживать.

Д.А.: Ты уходишь?

МОНТ.: Да, пора. А ты остаешься?

Д.А.: Да, побуду еще здесь.

МОНТ.: Как хочешь (уходит).

Дон-Жуан выходит из оцепенения, ступает на круг, падает на краю его и вновь затихает, теперь уже медленно вращаясь. Донна Анна не замечает его.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Могилы Монтальбана. Только сейчас вбежавший Дон-Жуан с ожесточением топчет ее. Скорбно входит донна Анна; на ней нечто вроде траурного платья.

Д.А.: (в испуге) Боже мой, что Вы делаете, Дон-Жуан?

Д-Ж.: Вы здесь. Что я делаю? Я оскверняю прах этого негодяя. Вы знаете, кто здесь похоронен?

Д.А.: Знаю (печально) Монтальбан. Здесь покоится прах Монтальбана, убитого какими-то разбойниками. Представляете, на большой дороге. Помните эту дорогу, что ведет в Севилью?

Д-Ж.: Да, Монтальбан, Вы бесценный Монтальбан. Старый, благородный, мудрый.

Д.А.: Давайте вспоминать о нем только хорошее.

Д-Ж.: Я очень сожалею, что мне самому не довелось разделить с ним.

Д.А.: Вы пугаете меня, Дон-Жуан. Вы... Вы не человек, Вы чудовище.

Д-Ж.: (отходя от могилы) Да, да, я чудовище, и у Вас есть все основания бояться меня.

Д.А.: Будете бить?

Д-Ж.: Я Вас не трону. Зачем? Вы скоро умрете. Я знаю, что Вы обо мне думаете. Я верю, что каждый, кто думает обо мне так же, как думаете Вы, скоро умрет.

Д.А.: Ах, женщины думают одно, а делают другое. Их так трудно понять.

Д-Ж.: Ну, Вас-то понять совсем не трудно.

Д.А.: А это Вы сгоряча так говорите, от гнева своего.

Д-Ж.: Я полагаю, нам не о чем больше говорить.

Д.А.: Все, что Вы говорите, не лишено известного смысла, но все же... все же, не рвите последнюю нить, не отбирайте у меня последнюю возможность оправдаться или даже доказать Вам, что никакой вины, в сущности, за мной нет. Вы несправедливы, Вы жестоки, как варвар, попирающий ногами изящные руины древнего и вечного Рима. Какую боль, например, причинил Вам сеньор Монтальбан, что Вы и теперь, после ужасной его гибели, не оставляете ему права на покой? Это был порядочный добрый человек, достаточно, сказать, что он заменял мне отца. Или Вам этого не достаточно? Ах, не придирайтесь к словам! Что еще Вы хотите услышать от бедной взволнованной женщины? От женщины, убитой горем (с рыданиями склоняется к могильному кресту).

Д-Ж.: Порядочный, добрый! А Вы, Вы, Вы... послушайте, я путаюсь... Вы хоть знаете, что Вас называл не иначе, как потаскухой?

Д.А.: Да ведь я и есть потаскуха, Дон-Жуан. Я опозорила себя навеки.

Д-Ж.: Вы?

Д.А.: Я. Вы разве не понимаете этого? Разве честная женщина изменила бы мужу? Иначе меня не назовешь, только потаскухой. И в этом вся суть.

Д-Ж.: Вы потаскуха? Это Вы о себе говорите?

Д.А.: Я гетера, причем самого низкого разряда, и этому существует одно веское доказательство: я изменила своему мужу, целовалась тут с Вами на заре. И других доказательств не нужно. Но если у Вас есть и другие, я Вас с удовольствием послушаю.

Д-Ж.: Вы смеетесь надо мной, теперь я понимаю.

Д.А.: По Вашему, мне до смеха после того, как я изменила мужу?

Д-Ж.: А если муж достоин того, чтобы ему изменяли?

Д.А.: Опять Вы толкаете меня на грех, Вам нисколько меня не жаль. Вы забываете, что муж есть муж. Муж самое дорогое, что есть у жены. И честнее уйти от него, если жить с ним не вмоготу, но не изменять ему втихомолку.

Д-Ж.: С такими банальными истинами трудно не согласиться, и все-таки...

Д.А.: Нет мне никакого оправдания, а что до банальных истин, то мне, кругом виноватой, погибнуть проще, чем Вам сейчас в этом пустынном месте силой овладеть мною, ибо тяжесть истин этих слишком велика для такой слабой женщины, как я. Полюбив Вас, я должна была скрыть это, я должна была прятаться, избегать Вас и молить бога, чтобы он поскорее прибрал меня, грешную, к рукам.

Д-Ж.: Полюбив меня... Вы лжете.

Д.А.: Я лгу лишь одному человеку: своему мужу, несчастному командору. И это Ваша вина.

Д-Ж.: Несколько дней назад...

Д.А.: (с грубым смехом) Несколько дней? Скажите лучше, несколько сотен лет назад!

Д-Ж.: Не понимаю...

Д.А.: Вы что-то хотели сказать. Продолжайте.

Д-Ж.: Я хочу сказать, что в глаза Вы расхваливали меня на все лады, называли меня умным и славным, а вот в разговоре с Монтальбаном Вы позволили себе напрямик заметить, что я глуп как пробка.

Д.А.: Это Вам Монтальбан сказал?

Д-Ж.: Я слышал собственными ушами. И теперь желаю получить объяснения.

Д.А.: Помните Монтальбана? Как он умел прекрасно объяснять все.

Д-Ж.: Я жду.

Д.А.: Жестокий, Вас волнует только собственное ожидание, а до меня Вам нет никакого дела. Что объяснять? Мне кажется, Вы и сами должны ощущать свою глупость.

Д-Ж.: Глупость?

Д.А.: Ну да. Неужели Вы не понимаете, что все эти Ваши проделки, Ваше легкомысленное обращение с женщинами, которых Вам никогда не постичь, Ваше фатовство, наконец, и Ваша изящная словесность весьма мало выделяют Вас из толпы? Из глупой, ничтожной, обиденной толпы.

Д-Ж.: Вы так говорите, будто слава обо мне не гремит...

Д.А.: Да кто Вас превозносит, Вы знаете? Серенькие, узколобые хлюпики, обыватели, алчные до скандальной хроники, старики, неспособные уже волочиться за юбками. И Вы гордитесь подобной своей славой? Да, я вижу, чрезвычайно гордитесь. Вы согласны и впредь удовлетворять низменным вкусам толпы, это у Вас на лбу написано. Даже Ваша голова словно с чужого плеча, какая-то очень уж мелкая. Не оттого ли, что большими мыслями бедна? Вспомните голову Монтальбана, присмотритесь к голове командора. Ведь это же глыбы. Вы не обижайтесь, что я так говорю. Я говорю правду, а у нас в Севилье на правду еще никто не обижался.

Д-Ж.: Говорите.

Д.А.: Разумеется, у Вас есть способности, Вы не лишены известного очарования и Вы нравитесь женщинам. Но Вы не единственный в своем роде. Все охотники за женщинами похожи на Вас, а Вы на них. Вы ничем не выделяетесь, в свое ремесло Вы не внесли ничего нового. Так что надеяться, будто вся женская половина Испании у Ваших ног, с Вашей стороны весьма глупо. Люди, наделенные высоким интеллектом и благородной душой, всегда будут только смеяться над Вами.

Д-Ж.: Хорошо, пусть так. Может быть, Вы и правы, да я и не привык, в сущности, мнить себя безупречным. Но почему Вы мне этого сразу не сказали? Зачем расхваливали меня, зачем раздували мое тщеславие, зачем пробуждали верить, что говорите от чистого сердца? Я лжи этой не понимаю. Какую цель Вы преследовали? Почему, наконец, сочли возможным за моей спиной распространять гнусные сплетни обо мне?

Д.А.: Я не распространяла гнусные сплетни, Дон-Жуан. Я только сказала Монтальбану все, что думаю о Вас, ведь Монтальбан был для меня тем, кому я могла поверять самые сокровенные свои

мысли. Я не утверждаю, будто поступила благородно. Я действительно должна была высказать Вам все в глаза, но и Вы поймите меня верно. Я слишком мало Вас знала, чтобы быть с Вами искренней до конца. Иди знай, как Вас там в Мадриде воспитали. Вы же и с кулаками наброситься могли на меня.

Д-Ж.: Да кто Вас вообще за язык тянул?

Д.А.: Ну что значит, кто за язык тянул? Я ведь не базарная торговка, Дон-Жуан, чтобы меня тянули за язык.

Д-Ж.: Вы должны знать это... поймите меня верно, я не хочу оскорбить вас... но Вы должны ответить... Почему люди лгут, притворяются?

Д.А.: Ну, перестаньте же быть таким наивным!

Д-Ж.: Да, потому что наивность сродни глупости. Это Ваши слова.

Д.А.: Мне тяжело и обидно наблюдать в Вас этот младенческий примитивизм.

Д-Ж.: Зачем Вы говорите, что Вам тяжело и обидно? Вам я безразличнее пыли под Вашими ногами.

Д.А.: Напрасно Вы так думаете. Вы мне дороги. Чем-то. Даже не знаю чем. И мне больно видеть, как Вы губите свою жизнь.

Д-Ж.: Если бы Вы знали, как я все еще люблю Вас...

Д.А.: Наконец-то Вы сказали что-то путное.

Д-Ж.: А все, кому я верил когда-либо, в конце концов наносили мне предательский удар.

Д.А.: Знаете, Вы хороший человек, очень хороший, Дон-Жуан, Вы хороший человек. Ах, если бы Вас не портила эта Ваша глупая ничемная слава, если бы Вы понимали жизнь Севильи, если бы Вы жили так, как мы здесь живем... если бы, если бы, о Дон-Жуан, как прекрасно было бы!

Д-Ж.: (бросаясь на колени) Донна Анна, ведь сколько ни обманывали меня, потом, когда приходили другие, я верил снова. Вы скажете, это от глупости. Но что я могу с собой поделать?

Д.А.: А разве Вы в свою очередь не обманывали прелестных обитательниц Мадрида или Кордовы?

Д-Ж.: Да, обманывал... теперь я вспоминаю это. Но я и понимать начинаю истинный смысл слов и поступков. И вижу я теперь, что ложь других никогда по-настоящему не уязвляла меня, а моя собственная ложь показалась мне великолепным ухарством. Да. Теперь я вижу, что жил слишком беспечно и глупо, теперь я вижу, что жил в тумане.

Д.А.: Вы хороший человек, Дон-Жуан.

Д-Ж.: Во мне есть силы раскаяться. Вы преподали мне отличный урок, и я словно заново родился.

Д.А.: О нет, я никогда не вменяла себе в обязанность направлять Вас на путь истинный. Это не в моей власти, это выше моих сил, для этого, наконец, я не располагаю даром моралиста. Да я и не вижу великого греха в том, что Вы подвизались на поприще оболъщения слабого пола, ведь это, если рассудить, одно из главных направлений человеческой деятельности, одинаково приятное и нужное и мужчинам и женщинам. Мне не в чем упрекнуть Вас, Дон-Жуан, хотя в деле я Вас по-настоящему еще и не видела. Единственное, что вызывает во мне досаду, это Ваша жалкая слава.

Д-Ж.: Я знаю, что не вправе уповать на Вашу благосклонность, я знаю, что Вы никогда не бросите ради меня своего мужа, я знаю и помню это. Такое уже бывало со мной, но никогда прежде я не унывал, я добивался ласк женщины, я крал ее у мужа для тайного свидания, а потом мы расставались, довольное друг другом.

Д.А.: К чему эти подробности? Вы парализуете мою волю!

Д-Ж.: Но Вы открыли мне нечто новое, невиданное, Вы научили меня понимать жизнь и людей.

Д.А.: Если, конечно, Вам это не кажется.

Д-Ж.: Нет, не кажется. Я знаю еще, что Вы будете холодны со мной и вся Севилья будет порицать мою дерзость, но я не ропщу, донна Анна, только знайте, что я буду любить Вас, любить, как никогда и никого еще не любил, не требуя взаимности и не домогаясь знаков внимания, не тревожа Вас своим присутствием. Ваш мир, Ваша Севилья... я понял, как Вы любите все это, и я хочу любить тоже, я хочу остаться где-то здесь, я не могу уже уйти, потому что Ваша правота уже властвует надо мной, и если я не достоин остаться, то ... хоть как-то, ведь есть же какая-то возможность? И я всегда буду рядом с Вами, но я ничем не помешаю Вам и даже облачко неудовольствия от моего вида никогда не опустится на Ваше лицо, потому что я буду незрим, как воздух, и покорен, как трава, стелящаяся Вам в ноги.

Д.А.: И неужели Вы обманите меня? Меня, мои ожидания, мои предчувствия, этот мой сон, какого я прежде никогда еще не видела в Севилье.

Д-Ж.: Скажите мне сейчас же исчезнуть, испариться, и я исполню Ваш приказ.

Д.А.: Не слушайте моих приказов, разве истина глаголит моими устами? О, я еще не все Вам сказала.

Д-Ж.: Приказывайте, я готов ко всему.

Д.А.: Слушайте только свое сердце. Великая ли беда, что мы не спасемся от насмешек и преследований? Но только раз, только бы раз

подняться в воздух, как поднимаются птицы, и услышать Ваш удивленный и ликующий голос, спрашивающий, как мне это удалось. Не страшно, что потом я буду лежать на земле разбитая и опозоренная, ведь память никто не сумеет отобрать у меня, и я запомню, я запомню навсегда Ваш голос. Я боюсь другого. Я боюсь, что Вы вскружите мне голову окончательно, а потом бросите меня, как бросали прочих женщин.

Д-Ж.: Но разве в том, что я сказал Вам, есть хоть намек на мое намерение вскружить Вам голову и тем более бросить Вас? Я ведь совсем другого хочу... Быть здесь, подле Вас... но все прежнее, чем я когда-то...

Д.А.: Когда-то Вы столько женщин ввели в искус... бедняжки...

Д-Ж.: И теперь я горько сожалею об этом. А Вы другая. Я не посмею и пальцем прикоснуться к Вам.

Д.А.: Вы говорите это лишь за тем, чтобы подзадорить меня. Правда там хитроумно переплелась с ложью, все мешается в моей голове. И, может быть, то, что мы говорим, как правду, на самом деле ложь, разве мы знаем, чем все это обернется? Мы наверно очень несчастны. А я ... я несчастнее всех. Я, я уже и сейчас чувствую, как трудно мне сопротивляться Вашему обаянию.

Д-Ж.: Вам нечего бояться, донна Анна!

Д.А.: Как неубедительно звучит. Всего несколько слов, у Вас даже нет для меня настоящих слов, а эти, эти Вы всем говорили, так что они могут сказать мне?

Д-Ж.: Говорил, но не так.

Д.А.: А как? Повторите еще раз, чтобы я лучше поняла.

Д-Ж.: Тех, других женщин, я забыл уже...

Д.А.: Мне хочется верить Вам.

Д-Ж.: Да, да, верьте, это так хорошо!

Д.А.: Вы наверно способный художник или музыкант, Вы покорите Севилью. Вы нужны Севилье.

Д-Ж.: Нет, я не художник и не музыкант, я... пока никто.

Д.А.: Я Вам верю.

Д-Ж.: И не бойтесь ничего.

Д.А.: Милый, я ничего и не боюсь. Я Ваша. Я принадлежу Вам и душой и телом.

Д-Ж.: Вы?!

Д.А.: Что Вас так удивляет? Я давно призналась, что люблю Вас. И я верю в Вас. Конечно же, Вы большой художник или музыкант, Вы пришли сюда, гонимый вдохновением, пришли, чтобы поразить нас новым искусством, чтобы позвать нас за собой в ясное грядущее.

Мы так устали от полуденного бреда, мы все на грани катастрофы, и Вы один можете спасти нас. Как славно, что я первой признала в Вас нашего спасителя.

Д-Ж.: Поверьте, Вы заблуждаетесь...

Д.А.: Мою любовь Вы называете заблуждением? Или Вы... Вы не испытываете ко мне никаких чувств? Скажите начистоту.

Д-Ж.: Да я готов целовать подол Вашего платья!

Д.А.: Ах, платье, какая мелочь. Неужели Вы не видите во мне ничего получше?

Д-Ж.: Ваши глаза, Ваши руки...

Д.А.: Все, я Ваша, Вы окончательно меня сломили. Где же моя осторожность, где же моя мудрость? Где Вы остановились?

Д-Ж.: Здесь, на постоялом дворе...

Д.А.: Ведите меня на постоялый двор. И поддерживайте меня за руку, я могу упасть. Очень уж кружится голова, и тому виной Вы. Ах, милый, Вы один во всем виноваты. Я счастлива, милый, смешной, Дон-Жуан. Что Вы стоите? Вы один такой в Севилье и Вы мой, мой, мой Дон-Жуан. А лучше даже возьмите меня на руки, так вернее будет. Ну, что же Вы? Вы робеете, Дон-Жуан?

Д-Ж.: (поднимая ее на руки). Мог ли я мечтать?

Д.А.: Я лечу, лечу! Где Ваш удивленный и ликующий голос? Что случилось с Вашим голосом? Пусть все видят, целуйте меня!

Д-Ж.: Да, как тогда. Мне нравится Севилья! (целует).

Д.А.: Не нужно как тогда. Пусть будет только сейчас. Забудьте прошлое, все забудьте. Думайте только о нас. О постоялом дворе. Несите меня на постоялый двор. Меня, Вашу Анну. И думайте, как нам хорошо, и ни о чем больше. Все остальное вздор. Только Вы и я. Вам не тяжело? Тогда в путь.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Толпа. Командор, Дельгадо, Гранде, Фронтильяна, Донна Анна, несколько прикрытая толпой, сидит на стуле, ее взгляд отсутствующ.

ГРАНДЕ: А, Фронтильяна. На зверя и Магомет, коль гора сама не идет к ловцу.

ФРОНТИЛЬЯНА: Привет, Гранде. Где твоя спина?

КОМАНДОР: Постойте, погодите, где спина Гранде?

ГРАН.: За моей спиной дом, где живет моя спина. Я сжег все мосты.

ДЕЛЬГАДО: (с иронией). Символично.

КОМ.: Смотрите-ка, этот Дельгадо непростая штучка.

ФРОНТ.: Дельгадо сомневается, что дважды два — пять.

ГРАН.: Зато пять — это дважды два.

КОМ.: Когда-нибудь я пропою куплеты о Дельгадо, а пока позвольте взирать на Вас с завистью. Кто-то сказал, что моя душа семя, брошенное в дурную почву. Зачем я обманут обманывающей меня прелюбодейкой? Кто-то сказал, что моя жена только что вздохнула, о, я схожу с ума. Подайте мне стакан холодной воды. Я убежден, что это сплошное вранье, не могла моя жена вздыхать. Жена, женушка, единственная моя, первая и последняя. Дайте мне попечалиться о моей жене. Великая скорбь поселилась в моем сердце.

ДЕЛЬ.: А ведь тут и впрямь не обошлось без трагедии, и неизвестно еще, чем все это кончится. Нужно думать, думать, нужно понять все это, и старые, вчерашние формы мышления уже не годятся. И вот я придумал новую игру: хлоп кого-то по макушке, а в итоге заварушка.

КОМ.: Навострю я только ушки, а в итоге заварушка.

ФРОНТ.: Только выйду на опушку, сразу, право, заварушка.

ГРАН.: Фронтильяна стреляный воробей. Его голыми руками не возьмешь.

ФРОНТ.: Фронтильяна старается.

ДЕЛЬ.: Позволь погладить тебя против шерстки, Фронтильяна.

ФРОНТ.: Фронтильяне не любо это.

КОМ.: Тузи Фронтильяну!

ФРОНТ.: Ошибаешься, командор.

КОМ.: (смущенно). Да, действительно... что это я ... опять я... знакома ли вам человечность?

Входит Дон-Жуан. Толпа молча расступается перед ним. Он приближается к стулу, на котором сидит донна Анна.

ДОН-ЖУАН: Донна Анна, опять Вы здесь?

КОМ.: Опять я... что это я...

Д-Ж.: Донна Анна!

КОМ.: Нет.

Д-Ж.: Что нет?

КОМ.: Я больше ничего пока не скажу.

Д-Ж.: Дело Ваше, Донна Анна! (командору). Она не слышит меня? Или Вы тоже оглохли? Что Вы молчите?

Командор не отвечает. Дон-Жуан идет на него, командор отступает, и постепенно его движения превращаются в фигуры танца.

ДЕЛЬГАДО: Так, командор. Покажи, на что ты способен.

Д-Ж.: Послушайте Вы, немедленно прекратите. Или я заставлю Вас утомониться.

КОМ.: (останавливаясь) Что Вам угодно? Кто Вы? Почему Вы требуете от меня послушания?

Д-Ж.: Я Дон-Жуан.

КОМ.: И что?

Д-Ж.: Я хочу знать, что произошло с Вашей женой.

КОМ.: Я буду задавать Вам вопросы, а Вы отвечайте. С моей женой? Отвечайте, когда Вас спрашивает командор.

Д-Ж.: Да, с Вашей женой.

КОМ.: Но у меня нет жены.

ДЕЛЬ.: Командор, что ты говоришь? Опомнись! Вот же донна Анна, твоя жена.

КОМ.: Эта женщина моя жена? Вы напрасно меня обвиняете, сеньоры.

ФРОНТ.: Тебя никто не обвиняет, командор, мы только добиваемся истины. Ты сказал, что у тебя нет жены. Мы хотим знать, похоже ли это на истину?

ДЕЛЬ.: Командор, я умоляю тебя... Именем Севильи, которую мы любим... Дон-Жуан, растолкуйте Вы ему...

КОМ.: И не проси, Дельгадо. Я не желаю иметь ничего общего с этой женщиной.

ДЕЛЬ.: Но почему, почему, командор?

КОМ.: Это белая ворона, а не женщина.

ДЕЛЬ.: Неужели? А я думал...

КОМ.: Мало ли что ты думал, Дельгадо. Все мы не без греха.

ДЕЛЬ.: Мое сердце разбито.

Садится на пол и обнимает колени донны Анны.

КОМ.: Бедный Дельгадо!

ДЕЛЬ.: Каким ужасом наполнятся наши души, когда она взмахнет крыльями и улетит. Погасите свет, сеньоры. Я считал ее женщиной. Я всегда считал ее только женщиной, и она видела, как я добр. Я жил, чтобы считать ее женщиной. И я жестоко обманут. Не мешайте мне в последний раз обнять ее колени, я слишком долго ждал этой минуты.

КОМ.: Я тронут до слез.

ДЕЛЬ.: Сейчас она взмлет к небесам.

КОМ.: Да, и проживет триста лет.

ДЕЛЬ.: О-о!

КОМ.: И будет питаться падалью.

ДЕЛЬ.: А-а!

КОМ.: И найдет себе дружков по вкусу.

ДЕЛЬ.: А есть ли для нее что-нибудь святое?

КОМ.: Она выключает твои глаза, когда ты сдохнешь.

ДЕЛЬ.: Я погиб! (падает совершенно).

КОМ.: Дельгадо умер.

ГРАН.: Из двух зол выбирают меньшее. Мы выбираем мертвого Дельгадо.

ФРОНТ.: Глаза мертвого Дельгадо похожи на скошенную траву.

КОМ.: Приказываю похоронить его с почестями.

Дельгадо поднимают и уносят.

Д-Ж.: Ну а дальше? Что Вы еще придумаете?

КОМ.: Какой-то Вы нездешний, скучный. Вы что же, не верите нам?

Стыдно, молодой человек.

ГРАН.: Скажите: ма-ма.

ФРОН.: Скажите: па-па.

НРАН.: Скажите: дя-дя.

ФРОН.: Скажите: те-тя.

КОМ.: Ну, взяли они Вас в оборот. Сейчас я выручу Вас.

Д-Ж.: Командор, я ведь наставил Вам рога. Так что же Вы? Или понятие чести чуждо Вам?

КОМ.: Ничто прекрасное мне не чуждо.

Д-Ж.: Я жду, командор. Вступитесь за свою честь. Я готов помериться с вами силой.

КОМ.: Почему же Вы не считаетесь с моим горем, ничтожный забияка.? К черту Вас. Умер Дельгадо, великий поэт и гражданин. И сейчас мы все отправимся к его могиле, чтобы отдать ему последнюю дань уважения и любви.

Крут приходит в движение, и Дон-Жуан тотчас выпадает за его пределы, чего никто не замечает. Сверху опускается крест. Круг останавливается. Дон-Жуан остается за его пределами.

ГОЛОС ИЗ ТОЛПЫ: Могила подана, командор.

КОМ.: Благодарю.

Останавливается перед крестом, долго и скорбно взирает на него.

ФРОНТ.: Скажи что-нибудь, командор. Почти память незабвенного Дельгадо.

КОМ.: Дельгадо, где ты теперь, когда день или ночь, утро или вечер? Почему ты покинул нас? О, если бы у меня были крылья, и я мог полететь за тобой! А, Дельгадо? Если бы у меня были крылья. Прощай, Дельгадо. Время не властно залечить рану, нанесенную твоим безвременным уходом (падает на спину и задирает кверху ноги).

ФРОН.: Что это тебя так перевернуло, командор?

КОМ.: Я слушаю голос Дельгадо. Там, в сырой могиле, он что-то говорит.

ГРАН.: Тише, не разбудите командора.

КОМ.: Спокойной ночи, сеньоры.

ГРАН.: Ввести убийц, Дельгадо!

ФРОН.: Слушаюсь.

Убегает за кулисы и тут же возвращается с козой.

ГРАН.: Она и есть? Отрезать ей уши!

ФРОН.: Она и есть. Но с ушами.

ГРАН.: Убери ее. Она совсем не смешная.

ФРОН.: (прогнав козу). А я смешной?

КОМ.: Дельгадо говорит, что коза совершенно ни при чем.

ФРОН.: Не коза, стало быть, убила.

ГРАН.: А кто же? Все как будто сходилось на козе.

КОМ.: Дельгадо и сам в неведении, собственной персоной. Но верит, что туман в конце-концов рассеется.

ФРОН.: Черт возьми, подать сюда Дельгадо. Живого или мертвого.

Вносят Дельгадо и кладут на пол.

КОМ.: (бросаясь на грудь Дельгадо) О, Дельгадо! Ты мертв! Горе мне!

ГРАН.: Нужно как следует допросить козу.

ФРОН.: А что коза? С нее спрос невелик.

КОМ.: (встает, его взгляд блуждает) Смотрите, смотрите... это Дельгадо... вот он, лежит перед вами с холодным лицом... Безжизненный, мертвый, он уже никогда не улыбнется нам, не ответит, суровая ночь легла на его уста. Спит Дельгадо. Черви, черви поедают Дельгадо! Так кто же ответит мне — зачем умер Дельгадо?

ГОЛОС ИЗ ТОЛПЫ: Минута поэзии! Где минута поэзии?

ТОЛПА: Требуем минуту поэзии!

ГРАН.: Проходят дни, на небе парадокс с возможным бога бытием, а в юдоли моей печальная картина упадка сил моих и жизни без любви под сапогом жестокого Пегаса.

Командор бросается с объятиями на донну Анну, та бьет его.

Д.А.: Прочь, окаянный!

КОМ.: (падая). О, злой удел!

ФРОН.: Утешься, Анна. Гиперболами слез не тычь себя в бока и зенки. Что на земле страшнее доли девки?

Д.А.: Когда ночной порой бредет несмело путник или домой, иль по делам своим, к нему не лезь ты грязными руками, а то ведь справедливость в мире торжествует и в торжестве своем тебя поперет (ко-

мандору). Ну да, вот я сейчас тебя жестоко отбрыкаю, тебя ногою белой так отмолочу, что будешь знать, какой прорехой тебе грозит на Анну нападенье. Юнец! Утри-ка сопли и быстро растолкуй, что двинуло тебя восстать на тихое мое житье-бытье.

КОМ.: Отвечу просто я, моя голубка, что от природы суждено мне быть смышленным добродушным малым. Я рос под маминым крылом, как сила вдруг нечистой пробы слегка попутала меня. А вышло так: не плыл я на пироге, в галоше сроду не сидел. Я голубей на площадях всегда мечтал кормить своей печенкой, с злодеем драться я мечтал, я мир, стенающий под игом разных самовластий, задумал легкою рукой освободить. А вот теперь у ног твоих лежу и страшно мне при мысли, что ты сейчас пинать меня начнешь. Ах, боже мой! Но как же я дошел до жизни этой? Сейчас поймешь, коль разум твой сидит в башке не пьян. Послушай ты меня: однажды ранним утром — помнишь? — на берег вышел я и вдруг тебя в реке узрел. Ужасная любовь меня тотчас околдовала, такой любви не знать ни Гамлету из Дании суровой, ни черномазому тому, что бабу в спальне задушил. Так вот, тебя увидя, подумай в голове своей: ведь эта девка — сука, какой еще свет белый не видал, и, стало быть, то в самый раз мне будет, коль под себя ее я подомну.

Д.А.: Ты все старательно тогда учел, все, кроме одного, а именно: что в темноте могла тебя я испугаться и с перепугу голову тебе снести.

ФРОН.: А дальше, дальше что? Мой интерес не праздный.

ГРАН.: А дальше свадьба вышла, а дальше жизнь семейная пошла.

КОМ.: Так, что, доволен ли народ моей поэзией нехитрой?

ГРАН.: Мне сдается, что доволен.

КОМ.: Тогда я хочу говорить с Дон-Жуаном. Эй, Дон-Жуан! (вкрадчиво) Дон-Жуа-ан... Идите к нам, идите, идите, мы Вас ждем.

Дон-Жуан не двигается.

Ну что же Вы, Дон-Жуан? Ведь мы зовем Вас... (берет Дон-Жуана за руку, ведет в толпу) Вы как-будто смешались немного... но это ничего, право, ничего... Да, Вы понимаете... У нас горе, умер Дельгадо. Вот он, лежит у Ваших ног. Вот оно, горе наше. Присмотритесь к Дельгадо, это был настоящий поэт... Он любил мою Анну, моя Анна его любила, это была настоящая любовь, но через нее получалась масса неудобств. У нас все тут настоящее, Дон-Жуан. Взгляните на мою шпагу, это настоящая шпага. Сделано в Испании. В настоящей Испании или, как говорят, в Испании Сервантеса и Лопе де Вега. А вот на Вас камзольчик потасканный, признайтесь, у кого стащили? Зачем Вы пришли к нам, Дон-Жуан? Ведь Вы же не верите, что у

нас тут все настоящее. Вы думаете, я не понимаю? Вы же не верите, что мы умеем любить, ненавидеть, страдать. Люди, он же не верит. Не верит, что мы плачем, когда нас ведут на костер. Он думает, мы смеемся, когда наши дети плачут. А страдания наших животных? наших собак, лошадей. Разве он понимает? Разве он понимает, что такое наше солнце? Нет, Дон-Жуан, Вам я не открою своих тайн, и думайте обо мне все, что Вам угодно, мне плевать, что Вы обо мне думаете. Я хочу, чтобы Вы ушли, уходите (уводит Дон-Жуана за круг). Стойте здесь и не шевелитесь и молчите. Когда умирает Дельгадо, Дон-Жуану не место в этом мире (возвращается к Дельгадо) Дельгадо, ты слышишь меня? Я знаю, Дельгадо, ты уже не слышишь, ты уже никогда не услышишь мой голос, Дельгадо, ты умер. Бедный, Дельгадо. Слезы подступают к моим глазам. Ветер печали так гудит в моих ушах. Как я страдаю, Дельгадо. Как я оплакиваю твою смерть. А ты молчишь. Тут кое-кто не верит в нашу искренность, но я прогнал, прогнал, словно дурной сон, словно кошмар, Дельгадо. Возможно, я даже убил его. Его больше не будет здесь, он больше не будет измываться над светлой памятью о тебе. Над нашей светлой памятью. Мы все скорбим, Дельгадо. А я громче всех. Я взываю к небу, я брошен всеми, я взываю к небу. О, Дельгадо! На кого же ты оставил меня? Зачем бросил? Я к тебе хочу, Дельгадо, вот мое желание — небо, ты слышишь? Что мне делать в мире, где правит Дон-Жуан? Дон-Жуан, мой убийца. Небо! Дай мне знак, что я услышан тобой. Скажи мне, что ты веришь мне и Дельгадо. Небо, я жду! Смотрите, люди, смотрите! Вон звезда покатилась и сгорела — это знак! Я услышан! Дельгадо, я иду! Прощай, Севилья! Прощайте, братья и сестры! До встречи в лучшем мире! Прощай, неверная жена! Прощайте, прощайте, Дон-Жуан! (поднимает крест и с ним уходит).

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Командор стоит посреди сцены в горделивой позе. Входят Гранде и Фронтильяна.

КОМ.: Я статуя командора.

ГРАН.: Мы бездельники.

ФРОН.: Мы идем к тебе, командор. Нас мало осталось. Мы должны защищаться.

КОМ.: Я статуя командора.

ГРАН.: Брось свои штучки, Фронтильяна. Поговори с командором серьезно. Как-бы от души.

ФРОН.: Командор.

КОМ.: Я тебя слушаю, Фронтильяна.

ФРОН.: Здравствуй, командор.

КОМ.: Здравствуй, Фронтильяна.

ФРОН.: Давненько не виделись, командор.

КОМ.: Да, Фронтильяна, годы летят.

ФРОН.: Давай поговорим серьезно.

КОМ.: Охотно. Что ты хочешь мне сказать?

ФРОН.: Я хочу спросить тебя. Ты птица?

КОМ.: Нет, но птицы гадят на мою чугунную голову.

ФРОН.: Я хочу спросить тебя. Ты рыба?

КОМ.: Нет, но рыбы иногда снятся мне по ночам.

ФРОН.: Я хочу спросить тебя. Ты дурак?

КОМ.: Нет, но дураки любят разговаривать со мной.

ФРОН.: Кто ты?

КОМ.: Я статуя командора.

ФРОН.: А где сам командор?

КОМ.: Командора убил Дон-Жуан, который усомнился в его честности.

ФРОН.: Я хочу спросить тебя, Гранде. Это серьезный разговор?

ГРАН.: Более чем серьезный, но мне есть, что добавить. Скажи, командор, как долго ты предполагаешь торчать тут на площади?

КОМ.: Я простою века. Моя слава не померкнет, пока существует этот мир.

ГРАН.: И все потому лишь, что убил тебя Дон-Жуан?

КОМ.: Ты задаешь каверзные вопросы, Гранде. Ты лукавый.

ГРАН.: Одумайся, командор. Ты навсегда останешься вторым после Дон-Жуана. Человеком, которого убил Дон-Жуан. Разве тебе по душе такая слава?

КОМ.: Как ты меня искушаешь, Гранде. Если бы ты только знал.

ФРОН.: Одумайся, командор, и пошли выпьем крепкого вина.

ГРАН.: Тем более, что Дон-Жуан пальцем тебя не тронул.

КОМ.: Палец Дон-Жуана! А ты совсем не глуп, Гранде. Но скажу этому проходимцу, что он убил меня, и он поверит. Должен же он хоть чему-то верить.

ГРАН.: Но для других ты навсегда останешься посмешищем.

КОМ.: Что-то очень уж трезво Вы рассуждаете. На Вас это не похоже, сеньоры.

ФРОН.: Нам дорога честь Севильи.

КОМ.: Еще посмотрим, буду ли я вторым после Дон-Жуана. Он

придет сюда, не посмеет не придти. И тогда посмотрим, кто из нас первый.

ГРАН.: Ты хочешь видеть его?

КОМ.: А Вы подозреваете, что я его боюсь?

ФРОН.: Достаточно позвать его, и он будет здесь.

КОМ.: Зовите.

ГРАН.: Дон-Жуан! Командор зовет тебя.

Входит Дон-Жуан.

Д-Ж.: Что за новые причуды, командор?

КОМ.: Я статуя командора.

Д-Ж.: Полно шутить, я давно хочу поговорить с Вами серьезно.

ГРАН.: Как бы по душам.

КОМ.: Вы убили меня, Дон-Жуан. И теперь я статуя. Вам этого мало?

Д-Ж.: Я не убивал Вас.

КОМ.: Все видели, как Вы меня убили.

ГРАН.: Я видел.

ФРОН.: И я.

КОМ.: Вы похитили мою жену, мою несравненную Анну, и увезли ее в Мадрид или Париж. Представляю, каково ей там.

Д-Ж.: Ваша жена здесь. Между мной и ею все кончено.

КОМ.: А разве что-то было? Вы уверены?

Д-Ж.: Было. Я говорю как на духу.

КОМ.: Вы разговариваете со мной, как с маленьким ребенком. То Вы говорите, что между Вами и моей женой что-то было, тогда как ничего быть не могло, то Вы утверждаете, что между Вами все кончено, в то время как кончится все это, раз уж что-то было, никак не могло. Вы хотите разными враками утешить меня в моих маленьких горестях. Покорно благодарю.

Д-Ж.: Перестаньте паясничать и поговорим серьезно.

КОМ.: Я видел от Вас одно лишь зло. Дикарь!

Д-Ж.: Довольно же!

КОМ.: А теперь Вы боитесь ответить за свои поступки.

Д-Ж.: Я боюсь? Я вижу, Вы ищите ссоры.

КОМ.: Да, Вы боитесь. А я ищу ссоры.

Д-Ж.: Вы лжете, сеньор. Я никогда и ничего не боялся.

КОМ.: А, видали мы таких.

Д-Ж.: Испытайте меня, я готов. Но как и чем я могу ответить Вам, человеку, который явно не в своем уме?

КОМ.: Вы видите: какой я?

Д-Ж.: Какой?

КОМ.: Огромный, чугунный, страшный.

Д-Ж.: (смеясь) Даже если бы Вы и были таким, меня это мало бы смутило.

КОМ.: И Вы не боитесь меня?

Д-Ж.: Нисколько.

КОМ.: И Вы не устрашитесь принять мое чугунное рукопожатие?

Д-Ж.: Ваше рукопожатие? Но какой прок в рукопожатии сумасшедшего?

КОМ.: Не будьте циником. В это рукопожатие может быть вложено и морализаторство, и чисто философское содержание, и даже все, что Вам угодно. Однако в любом случае после него мы провалимся в преисподню.

Д-Ж.: Это вздор.

КОМ.: Вы уверены? Ну так попробуйте, коль Вы так дерзки.

Д-Ж.: Пожалуйста.

КОМ.: Иди ко мне, богохульник.

Д-Ж.: (направляясь к командору) Я иду.

ФРОНТ.: Дон-Жуан!

Д-Ж.: Я здесь!

ГРАН.: Дон-Жуан!

Д-Ж.: Я здесь, сеньоры (пожимает протянутую руку командора) И что же? Где Ваша преисподня, командор?

КОМ.: Оглянитесь!

Дон-Жуан оглядывается. В это мгновение Гранде и Фронтияна вонзают в него шпаги.

Дон-Жуан остается один, командор и его друзья незаметно исчезают. Дон-Жуан садится на ступеньку, по всему заметно, что он слабеет с каждой минутой. Появляется Маноло в своей маске печали. Он останавливается посреди сцены и смотрит на Дон-Жуана.

Д-Ж.: Это ты, Маноло? Пришел загадать мне свою загадку? Не нужно, поздно. Я все равно уже не пойму. Даже если ты скажешь что-нибудь. Слишком поздно, Маноло... Впрочем, тебя это вряд ли удивляет. Ты все знал заранее, знал, чем все это кончится, верно? Ты знал, что эти негодяи нанесут мне удар в спину. Скажи, если хочешь... Или молчи... Как хочешь. Я ничего не буду тут перед тобой разыгрывать, только умру. Сейчас, сейчас... Быть может, я умру хорошо. Я жил легко и умру легко, но чисто, наверно, я ощущаю в себе эту чистоту, Маноло. Словно я сейчас совершенно неприкосновенный. Я себя не жалею. Вот я, весь перед тобой, весь... Не обману тебя. Страшно было бы сейчас какой-нибудь обман совершить. Да и не

страшно мне, потому что уже не обману и не обманусь. Я честно умру, Маноло, а ведь жил во лжи, так что я ложь эту теперь искуплю. Умру, честно среди лжи. Я так хочу, Маноло? Я умру, я навсегда умолкну и буду молчать, как всегда молчишь ты. Но я сгнию, а ты еще будешь попирать ногами эту вращающуюся Землю. Как это объяснить, Маноло? Разгадай эту загадку.

Появляется статуя командора. Маноло делает какие-то знаки. Была бы только сила... да, да, была бы только сила во всем этом, во всем, что сейчас со мной происходит... Да, мне нужно как-то еще раз себя почувствовать, или даже только сейчас себя по-настоящему почувствовать... Что такое? Что ты размахиваешь руками? (замечает статую). Ах, вот оно что. А что, командор и впрямь отдал богу душу? Или это значения не имеет? Я ведь сейчас ему прощаю... полно, если только он виноват в чем-то. Есть тут кто-нибудь, кто хоть в чем-то виноват? Что ты вертишься, Маноло? Скажи толком, что ты от меня хочешь. Погоди... может ручку этой каменной глыбы пожать?

Маноло согласно и важно кивает. Да? Зачем тебе это? Впрочем, пожму, чтоб ты не думал, будто я боюсь. Я умру так же легко, как жил, но ты увидишь, что моя смерть честна. Пожму каменную руку. Если это возмездие, я не страшусь его.

Шатаясь направляется к статуе и пожимает ее руку. Статуя тут же разваливается.

Черт побери, что это значит? Что это значит, Маноло? Ты что-нибудь понимаешь?

Маноло принимает позу роденовского мыслителя.

Что это, Маноло? Чья-нибудь шутка?

Маноло еще больше углубляется в раздумья.

Или бог мне подает знак? Командор, Севилья – все уже наказаны? Это так?

Маноло углубляется.

Или, ... слушай, Маноло, мне страшно выговорить... или какой-нибудь Мендоса... Постой, а как же я? Мне-то что делать, Маноло? Ведь идти куда-то надо... куда? как? ... или смерть, что это смерть не спешит?

Маноло углубляется.

Неужели какой-нибудь Мендоса...

Не договаривает. Садится рядом с Маноло, и постепенно в его позе проступают черты роденовского мыслителя.

СЛОВО УЗНИКА АРХИПЕЛАГА

ЮЛИЯ ВОЗНЕСЕНСКАЯ

ЗАПИСКИ ИЗ РУКАВА

Об этих записках

Стихи можно заучивать наизусть. Так я и делала — во внутренней тюрьме Ленинградского КГБ, в "Крестах", на этапе. Даже сейчас, в ссылке, я больше надеюсь на свою память, чем на удачу: 7 экземпляров "Книги разлук" было у меня изъято! Вспомнила, восстановила — живут.

А что делать с прозой, со всякого рода заметками, набросками, с этими маленькими историями о людях, которых я никогда больше не увижу, не встречу, о многих из которых я едва ли вспомню, если потеряю эти крошечные листочки, иногда в половину спичечной этикетки? Бесконечные обыски, тайные и явные, законные и незаконные, лишили меня большей части моего маленького тюремного архива. Власть и Сила (пишу с прописной исключительно из уважения к Эсхилу!) не так страшны в облике бандитов с большой дороги, как утомительны в роли мелких воришек и крохоборов. Мелких, как и повсюду, больше, чем крупных. Они с равным служебным рвением шарят в карманах, за пазухой, в женском белье, в помойках, в канализации. Одно удовольствие наблюдать их во время обыска в тюремной камере: заметно, что параша — любимый объект их внимания. Они вспарывают матрацы, отдирают плитуса, обшари-

вают подоконники, но все поглядывают и поглядывают в заветный уголок...

И вот я решила записывать свою одиссею в виде коротких заметок: так легче и запомнить, и припрятать, и переправить на волю или оставить верному человеку на сохранение.

Воруйте, воруйте — что-нибудь да останется!

Арест

Арестовали меня так.

В одно прекрасное утро следователь Городской Прокуратуры Е. П. Григорович подкатил к моему дому на черной служебной "Волге". — Юлия Николаевна! Вы мне нужны ненадолго в прокуратуре. Я поднялась на звонок из постели, стою перед ним в халатике, босиком.

— Не стоило трудиться: вы могли вызвать меня повесткой.

— Мне было по дороге, и я заехал за вами. Одевайтесь, пожалуйста.

— Вы очень любезны. Но я еще не завтракала. Может, вы подождете, пока я выпью стакан чаю?

— Вы мне нужны всего на 15 минут. Позавтракаете, когда вернетесь.

Это было 21 декабря 1976 года. Сегодня, когда я переписываю свои разрозненные записи в одну тетрадь, уже 25 мая, а я все еще не возвратилась к отложенному завтраку.

Накануне мы легли поздно. Ночью я читала тебе:

Пока в реке река воды,
пока над ней сверкают птицы,
дай мне из рук твоих напиться
и после рук не отводи.

В твоих ладонях колыбель
прилягу буйной головою,
а ты тихонько надо мною
спой колыбельную, о Лель!

Олень придет на водопой
из душистой чаши заповедной
и на воде чеканкой медной
замрет — и ты тогда не пой.

Кукушка время отпоет,
над бледной зарослью веха
верша прерывистый полет –
сама себе и стон, и эхо.

Помедли несколько минут,
пока не прорастали тени.
Минуту! Нет, одно мгновенье,
пока меня не призовут.

Но за рекой уже гребут,
спускают лодки в зелень ила.
Нет, милый, это не тебя.
Зовут меня. Прощай, мой милый.

А утром, через час после твоего ухода (как мне не хотелось тебя отпускать) – этот наглый, воровской арест.

Один знакомый адвокат, узнав имя моего следователя, воскликнул: – Что?! Борька Григорович? Да он же известный пропойца!

Я объяснила ему, что ГБ со мной выдохлось, и, рассчитывая запугиванием вытолкнуть меня на Запад, кое-как сляпало из отходов дела № 62 о надписях мое нынешнее дело № 66. Никто из моих гонителей не рассчитывал на то, что я откажусь от выезда – вот и поручили мое дело какому-то замухрышке. А что он пьет, так это хорошо: может, в нем еще остатки совести теплятся – вот он их и заливает водкой.

”Собачник” – не для собак!

Перед тем, как ”обработать” вновь прибывших заключенных (дактилоскопия, фотография и пр.), их держат в так называемом ”собачнике”.

Камера площадью 5-6 кв. метров с узкой скамьей по периметру. Стены ”набросаны” известковым раствором – не прислониться. Холод поистине собачий.

Меня привезли часа в 2 дня. К вечеру в камере сидело и стояло 16 женщин. Когда у стоявших уставали ноги, сидевшие уступали им место. Делились своими бедами, сигаретами, просвещали новичков.

Вечером объявили ужин, и в ”кормушку” просунули первую миску с кашей. Запах подгорелой овсянки разнесся по камере. Некоторые ели, чтобы согреться, большинство отказалось.

Через полчаса в ”кормушке” показалась голова ”баландера” и объявила: ”Давайте миски. Чай!”

Все ожидали, что взамен мисок появятся кружки с чаем. Но нет, чай стали наливать прямо в грязные миски. Вымыть их было негде, так как водопроводного крана в камере не было. Все мечтали согреться горячим чаем, но только две или три женщины решились пить его из грязных мисок.

Если бы я еще раньше не объявила голодовку, я начала бы ее с этого "ужина", за всю свою жизнь я не видывала собаки, которой для питья не потребовалась бы отдельная миска!

Дикая история

21 декабря все до одного надзирателя в "собачнике" были пьяны. Они то и дело заглядывали в "кормушку", отпускали в наш адрес сомнительные комплименты, орали друг на друга в коридоре. Бывалые "зечки" объяснили, что в этот день (или накануне – сейчас уже не помню) в Крестах выдают зарплату.

Одна бойкая девица, увидев в "кормушке" улыбающуюся рожу надзирателя, попросила:

– Дай закурить!

– А х... будешь дурить? – отвечает он и выжидательно смотрит на нее.

А девочка возьми и ответь ему на том же языке и тоже в рифму – что-то в смысле того, что он может обойтись и без ее услуг, если ему приспичило. Вся камера расхохоталась.

Надзиратель отворил дверь и потребовал, чтобы она вышла из камеры.

– Не ходи! – крикнула женщина постарше. – Хотят разбираться – пускай вызывают корпусного. Мы скажем, что он первый тебя оскорбил.

– А чего мне бояться! – фыркнула девчонка и смело пошла к двери.

Ее увели. Через несколько минут мы услышали ее крики и мольбы о пощаде. Кричала она так страшно и так долго, что мы все пришли в ужас: "Что они там над ней творят?"

Через час ее втолкнули обратно. Она забилась в угол и долго сидела, закрыв лицо руками и не отвечая на расспросы. Все ее утешали, как могли. Наконец, она сняла с головы платок, и мы увидели, что эти изверги обрили ей полголовы, оставив волосы только спереди и с боков – под платок.

Надо сказать, что в тюрьмах стригут женщин наголо, если находят у них вшей – случается такое. Но, во-первых, никаких проверок

на шивость никто еще не проводил, а во-вторых, даже если бы у нее что-то и обнаружили, то какой же был смысл остригать только полголовы?

— Ничего, плюнь на это дело! — утешали ее. — Челка есть, с боков волосы видны — ну и ладно. В лагере отрастут.

— Если бы только это! — воскликнула она и залилась слезами пуще прежнего. Больше она ничего не рассказала, и мы не стали ее расспрашивать.

Почему я ничего не сделала в ее защиту, сразу же, как только услышала ее крики? В тот момент, а вернее, в тот день я еще мало реагировала на окружающую обстановку. Последний раз я встречала уголовниц весной 1964 года, когда сидела в Крестах по 191 статье — сопротивление представителям власти. Естественная отчужденность порядочного человека, попавшего в среду непорядочных. Я была занята собой: голодовка была объявлена где-то сгоряча, это был первый всплеск протеста, а теперь нужно было распределить его во времени, рассчитать силы, установить срок, наконец. Через несколько дней я уже поняла, что сил моих хватит надолго и что я попала в гораздо более порядочную среду, чем та, в которую я окунулась 13 сентября 1976 года, с первого ареста.

Не сработал рефлекс защиты ближнего, в обычной жизни редко меня подводивший. Этой истории я стыжусь до сих пор, ибо считаю, что должна была вести себя безукоризненно с первой минуты, с первого шага по этому новому кругу.

Были ли после ситуации, в которых я вела себя недостойно? Пожалуй, не было. Хотя бывали минуты внутренней растерянности, когда я незаметно для окружающих в считанные секунды должна была решить, как мне себя вести. Были ошибки, но не те, которых можно стыдиться. Некоторые эпизоды тюремной жизни я переживала в воспоминаниях снова и снова, пытаюсь понять, что и почему я сделала не так.

Иногда я нахожу ответ сама, иногда обращаюсь к более опытным друзьям. Что ж, учителя у меня были те же, что могли быть у любого — Солженицын и другие. Опыт постоянных, но кратковременных арестов последних лет давал мало. Сейчас, через полгода после этой истории, я считаю, что мне повезло — весь этот опыт был мне необходим, более того, требуется еще некоторое продолжение...*

* Эти последние абзацы вписываются накануне воркутинского суда, после которого я, вероятно, отправлюсь набираться опыта дальше.

Крещение

На другой день всех вновь прибывших повели в женский корпус и стали разводить по камерам. В коридоре корпусная начальница почему-то сразу выкрикнула меня из толпы и велела отойти в сторону. Затем она очень быстро развела остальных женщин по камерам: "Трое сюда, четверо — сюда" — и так далее. Когда осталась одна я, она повела меня в конец коридора, вручила мне матрас и миску с кружкой и раскрыла передо мной дверь новой камеры.

Я остановилась у порога. Узкая длинная камера шириной чуть больше двух метров, длиной метров 12-15. Двухэтажные нары стоят вдоль стен, оставляя посередине неширокий проход. 36 "шконок". Небольшое окно почти не пропускает дневного света, и в камере горит электричество, хотя уже середина дня. Я с удивлением замечаю, что в камере нет ни одного свободного места. Оборачиваюсь к надзирательнице:

— Простите, но здесь нет мест.

— Ложись на пол под шконку, — отвечает она и захлопывает дверь.

Я здороваюсь с обитательницами камеры, кладу свернутый матрас в свободный угол возле окна, сажусь на него и закуриваю.

— Это ты, что ли, политическая? — спрашивает меня здоровенная бабища мужским голосом. Остальные притихли и выжидающе на меня смотрят.

— По-видимому, я, раз уж вам дали такую информацию.

Расспрашивают о деле. В этих расспросах есть что-то настораживающее. Я отвечаю очень коротко.

— А почему ты не стелишь матрас и не ложишься?

— Так ведь некуда.

— Забирайся под любую шконку, какая понравится, — говорит та, здоровая баба. Она здесь что-то вроде атаманши. В ее ответе и в том, как на меня глядят остальные, мне чудится желание поглотиться.

— Я не крыса, чтобы ютиться под нарами.

Общий взрыв возмущения.

— Мест не хватает, все могут спать на полу, а она не может!

— Меня мало волнует, что в ленинградской тюрьме не хватает мест. Я сюда не просилась, а дома у меня места достаточно. Местные жилищные проблемы меня как-то мало трогают. С этим пусть разбирается начальство.

— Что же оно может сделать, если мест нет?

– Не знаю. Знаю только, что никто не имеет права, отняв у человека свободу, пытаться отнять и его гордость.

– Ты что же, лучше нас?!

– Возможно, что и хуже. На взгляд властей, так определенно хуже. Но под шконку меня никакая власть не загонит.

– Ну так мы сами тебя загоним, – заявляет "атаманша".

– Нет.

Я уже чувствую, что разговор пошел не туда, а потому стараюсь говорить нарочито лениво и тихо, пытаюсь сбавить накал.

– Еще как загоним. Вот под мою шконку ляжешь, а ночью я тебя обоссу.

Общее веселье.

– Вы знаете, – любезно улыбаюсь я в ответ, – должна вас огорчить, но и этого тоже не будет.

Я встаю со своего матраса, чтобы бросить в унитаз окурок. Воспользовавшись этим, "атаманша" ногами заталкивает матрас под свою шконку. Я делаю вид, что ничего особенного не произошло, иду на то место, где лежал матрас, и сажусь спиной к батарее. Закуриваю новую сигарету. А вокруг напряженные, обезображенные злобой женские лица. "Атаманша" всех подзуживает: "И чего мы на нее смотрим? Ведь таких душить надо! Это из-за них, политических, в лагерях и тюрьмах житья не стало". Бабы потихоньку сползаются на ближайшие шконки. Круг сжимается...

А в это время на другом конце камеры назревает другая напряженная ситуация, в какой-то степени тоже связанная со мной. Добродушная на вид толстушка вдруг ласково говорит, ни к кому не обращаясь: "И чего вы на нее налетели? Не хочет человек под шконкой лежать – не надо. Я ей свою постель уступлю, а сама к Зоеньке лягу. А она мне палочку бросит".

Тут же вступает другая: "Ну почему именно ты? И я могу уступить место. Зоя, с кем ты хочешь лечь?" С одной из шконок поднимается красивая высокая девица; самодовольно улыбаясь, она берет сумочку, идет к зеркалу над раковиной и начинает красить ресницы, искоса поглядывая на спорящих. Между соперницами назревает уже своя ссора.

А вокруг меня идет разговор уже только об убийстве.

– Мне ее придушить – раз плюнуть, – воинствует одна из баб, – у меня восьмая ходка, да третья – сто восемь (убийство, особо зверское...) Вышки не будет, а пятнадцать лет так и так сидеть.

Полчаса назад она сокрушалась по поводу своего дела: "Ей, старой стерве, может, год жить оставалось, а мне теперь из-за нее,

ведьмы, сидеть и сидеть". Она убила старушку, неожиданно для нее оказавшуюся в квартире, которую она задумала ограбить.

Я курю.

— Да ну ее, — говорит уголовница попроще, — еще сидеть за нее.

— За нее?! Да за нее года три сразу скинут! Это же враг народа! — кричит атаманша.

И тут со шконки срывается совсем молодая женщина и бросается ко мне. Я вскакиваю, прижимаюсь спиной к стене. Чувствую, что эта женщина и есть самая опасная. До сих пор она сидела, тупо и обреченно глядя в угол и ни во что не вмешиваясь. Последние слова атаманши подействовали на нее, как удар током. В ее глазах загорается какая-то безумная надежда и решимость. Она хватается за мое горло и начинает душить. Не меньше десятка рук в ту же секунду тянутся ко мне, рвут на мне одежду, царапают лицо, вцепляются в волосы. Если я упаду, они меня растерзают. И я изо всех сил прижимаюсь к стене. Если стану отбиваться — тем более: начнется общая свалка, и тут мне придет конец. Я скрестила руки на груди, сжала их, чтобы не отбиваться, и уставилась прямо в глаза той, что меня душила. Прямо и, насколько это возможно, спокойно.

— Она смотрит! — вдруг истерично кричит женщина, и руки ее разжимаются. Остальные отскакивают, как по команде, но недалеко: глаза их следят за мной с прежним возбуждением. Чувствую, что через минуту-другую произойдет новое нападение. Желая оттянуть его, я наклоняюсь, не опуская при этом глаз, поднимаю с пола сигарету, не успевшую потухнуть и чудом не затоптанную во время свалки. Я спокойно курю. На самом деле борюсь с желанием откашляться, потому что дым сразу же начинает раздражать горло.

— Волчок! — кричит кто-то. Все разбегаются по шконкам. Окнощечко камеры открыто, за нами наблюдает надзирательница. Как давно она это делает, неизвестно. Но теперь она видит, что ее заметили. Отворяет дверь, начинает мягко расспрашивать, почему шум. Ей объясняют, что я довела всю камеру до белого каления, над всеми издеваюсь и не желаю ложиться на пол.

— Ляжет, — обещает надзирательница.

— Ни в коем случае, — отвечаю я. — Предпочитаю карцер. Может отвести прямо сейчас.

— Что вы не поделили с женщинами?

— А вы об этом их спросите. Во всяком случае, больше я с ними ничего делить не собираюсь.

Она стоит в нерешительности. И вдруг в коридоре послышался

стук каблучков. К дверям подходит женщина в белом халате, спрашивает, в чем дело. Это главврач больницы.

— Да вот, наша политическая всю камеру перебаламутила, — отвечает надзирательница.

— А почему у нее кровь на лице? А это что на шее?

Я молчу. Остальные, естественно, тоже. Надзирательница разглядывает порог камеры.

— Почему у вас поцарапаны лицо и шея?

— А это последствия неквалифицированного удушения.

— Кто вас душил?

— Никто ее не душил! Она такая и пришла! — наперебой вопят перетрусившие бабенки.

— Кто? — еще раз спрашивает врач. Голос ее становится грозным. Из-под халата видна военная форма. Она невысока, очень худа, лицо с кулачок, с тонким орлиным носом и тонкими же очень злыми губами. В камере тишина, настороженная, полная страха. Врач смотрит на меня. Я отвечаю с извинительной улыбкой:

— Я не заметила, кто именно. Они тут все на одно лицо. У всех рожи убийц.

— Ладно. Сейчас мы вызовем корпусного и переведем вас в другую камеру.

— Сделайте одолжение.

Надзирательница с врачом уходят. Я оглядываю всех и говорю на прощание несколько язвительных слов.

Через несколько минут меня переводят в новую камеру.

Первая, кого я встречаю в этой камере — знакомая Алика Гинзбурга. Она не из наших, просто была когда-то соседкой Гинзбурга, кое-что знает о нем и о его друзьях.

В этой же камере мне объясняют, что место, из которого я пришла — настоящее логово диких зверей. Там каждый день происходят дикие скандалы — в основном из-за той самой Зои, относящейся к доселе мне неизвестной породе женщин, которых в тюрьме называют "коблами".

"История с удушением" имела свое продолжение. Примерно через месяц, когда легенды о моей голодовке рассказывались по всей тюрьме, и у меня даже появились последователи (одна женщина проголодала целых 15 дней, и, кстати, кое-чего добилась), мне довелось встретиться с женщиной, попавшей в ту самую камеру недели через три после меня. Камера была почти в прежнем составе, и мои "убийцы" с гордостью рассказывали ей, что "та самая знаменитая Окулова" один день сидела вместе с ними. "Она такая гордая,

так здорово разговаривала с надзирателями и врачами, отказалась лечь под шконку, и они ничего не могли с ней сделать. Некоторые у нас ее не сразу поняли, но потом разобрались, что к чему”.

Я очень веселилась, получив этот привет.

Новое в Крестах

С 1964 года в Крестах многое изменилось. Тогда женщин держали в одном корпусе с мужчинами, и занимали они всего два этажа в одном из ответвлений ”Креста”. Камеры были небольшие, только на 4 человека. Теперь есть камеры на 8, на 12, на 20 человек и больше. Но мест всем все равно не хватает. Я видела камеры, где под каждой шконкой лежало по заключенной. Даже в больнице больные иногда лежат на полу.

На окнах появились железные жалюзи. В 1964 году я еще видела солнце в камере.

Но появились и некоторые изменения ”к лучшему”. Вместо железных ”параш” в углах поставили унитазы. Это создает удобства для надзирателей — не нужно выводить заключенных ”на оправку” дважды в день, но воздух в битком набитых и плохо проветриваемых камерах чище от этого не стал. Постоянно ощущаешь, что не туалет находится в жилом помещении, а ты живешь в туалете.

Вместо привычного круглого глазка на двери — ”волчка” — появились застекленные окошечки размером примерно 15x40 см. С наружной стороны они прикрыты щитками, которые могут закрепляться в поднятом положении. Теперь надзиратель может незамеченным подглядывать за ”зечками” из коридора.

Еще одно нововведение — раковина с краном. Вода, конечно, только холодная. В 1964 году в ”банный день” заключенные сдавали свое белье в прачечную, где работали женщины из хозобслужбы. Теперь все стирается прямо в камерах. Этим удобством всю пользуются ”коблы” и ”ковырялки”. За завесами из мокрых сорочек на шконках идет ”настоящая семейная жизнь”.

Не было зеркал, но зато посуду мыли на кухне, а не в камерах холодной водой с мылом.

Еще одно существенное изменение к худшему. Все надзиратели в женском корпусе — женщины. Раньше было примерно пополам. Мужчины-надзиратели к женщинам относятся неплохо, да и посылали в женское отделение обычно не самых свирепых. Надзирательницы же и тогда были ужасны: почти сплошь старухи с тюремным опытом еще сталинских времен. Теперь появилось много молодых

надзирательниц. Я плохо представляю себе, как именно жизнь может довести современную молодую девушку до выбора такой странной профессии. Видимо, в основе этого выбора лежит все та же жилищная проблема. Некоторых привлекает, конечно, дополнительный отпуск и сравнительно большая зарплата. Но обучение этой профессии ни для кого бесследно не проходит: все они безобразно грубы, как в обращении с заключенными, так и внешне.

Еще одно новое здание в тюрьме — небольшая картонажная фабрика. Заключенные, пожелавшие работать, зарабатывают на ней копеек 30 за день. Работать идут не только ради денег, а в основном ради общения.

Помнится, в шестьдесят четвертом году женщин довольно скоро после утверждения приговора отправляли в лагерь. Сейчас они томятся порой по несколько месяцев, поскольку число заключенных, идущих этапом, строго ограничено, а число сидящих в тюрьме — наоборот.

А психотеррора у нас нет

На третий день голодовки меня ведут к психиатру.

— В чем смысл вашей голодовки?

— Это единственная доступная мне форма протеста против заведомо ложного и клеветнического обвинения и незаконного ареста.

— А вам известно, что в случае продолжения голодовки мы вынуждены будем поместить вас в психоотделение?

— На каком основании?

— Голодающих положено изолировать, а у нас свободные одиночки есть только на психоотделении.

— Ну что ж, надо же и мне испытать, что такое советский психотеррор, о котором столько говорят проклятые империалисты...

— У нас в стране нет психотеррора.

— Да ну?! — обрадовалась я и чуть не захлопала в ладоши.

— По крайней мере, в Ленинграде, — смягчается психиатр.

— А Борисов и Файнберг?

— Я хорошо знаком с историей болезни Файнберга. Так вот, я вам со всей ответственностью заявляю, что Файнберг вышел от нас таким же стопроцентно здоровым человеком, каким он к нам и попал.

Все началось с сигарет

В первые же часы заключения сигареты у меня кончились: я поделила их между такими же бедалогами, которым во время ареста не дали взять с собой самое необходимое. Слава Богу, у меня было две

или три сигареты, когда я попала к моим "душительницам" — кто-то сунул перед уходом из "собачника". В общей камере, где я встретила знакомую Гинзбурга, с сигаретами было плохо: это был день перед выпиской из ларька. Но когда меня уводили на психоотделение, симпатизировавшие мне, но не очень доверявшие друг другу уголовницы тайно набили мне карманы сигаретами и папиросами — у кого что было. Психиатры у меня все отобрали: "Голодающему курить вредно". Дня три-четыре не курю. В первые дни голодовки это не особенно приятно, так как чувство голода ослабевает постепенно, а сигареты могли бы заглушить его.

Приходит мой адвокат. Его повели прямо в психоотделение и устроили нам встречу в кабинете врача. Первый мой вопрос к нему: "Вы курите?"

— Нет. Но я сейчас для вас что-нибудь раздобуду.

Он ловкий, мой адвокат. Выходит в коридор и, скорчив жалобную мину, обращается к ребятам из хозобслужбы и санитарам:

— Заключениеенькие, подайте бедному адвокату несколько сигареток.

Заключениеенькие гордо презентуют ему целую пачку.

Я счастлива.

Ребята догадались, для кого предназначались сигареты, и с этого момента недостатка в них у меня не было. Одни открывали "кормушку" и молча протягивали несколько сигарет, другие старались поговорить со мной, если поблизости не было надзирателя. Хотя надо сказать, что надзиратели психоотделения попадались все какие-то добродушные и ко мне относились прекрасно, смотрели сквозь пальцы на все, за чем призваны были наблюдать.

Кто-то пользовался моментом, когда меня выводили из камеры к врачам или еще куда-нибудь, забегал в открытую камеру и прятал под мою подушку сразу две-три пачки. Несколько раз я находила там же конфеты и апельсины — кто-то хотел меня тайком подкормить. Я так же тайно отдавала их кому-нибудь из санитаров. Съедобные подарки прекратились. Ребята носили мне книги, доставали мне бумагу и стержни для авторучек. Когда у меня сдало сердце, и врач-терапевт сказал, что неплохо поддержать его крепким чаем или кофе — у меня появились крепкий чай и кофе. Уж где они брали кофе — ума не приложу. Вершиной их прекрасного отношения были попытки передать на волю мои стихи и письма. Я не всех ребят помню по именам, но запомню их навсегда, тем более, что кое-кто из них поплатился за дружбу со мной, и очень сурово: вместо УДО*,

* Условно-досрочное освобождение.

ради которого они, собственно, и шли на довольно тяжелую и неприятную работу в хозобслугу психушки — лагерь. Я переживала эти провалы очень тяжело. Но ни один из них не упрекнул меня, уходя на зону. А сообщалось об этом так: "У такого-то не удалось. Пошел на зону. Давай бумаги — я попробую".

Когда я говорила с друзьями по телефону уже из ссылки, выяснилось, что ни один из четырех сделанных в тюрьме экземпляров "Книги разлук" до воли не дошел. Но вот спустя несколько месяцев я вдруг получаю письмо от Геннадия Трифонова из Обуховского лагеря под Ленинградом.

Геннадий Трифонов — талантливый ленинградский поэт, сыгравший роль провокатора в деле № 62 о надписях и выступивший лжесвидетелем в моем деле. Мы с ним встретились на моем суде, и я сказала ему, что до тех пор, пока он не расскажет всем, откуда и каким образом он получил материал для дачи показаний по делу о надписях, я отказываюсь с ним разговаривать и принимать его оправдания. Тем не менее Трифонов пишет мне из лагеря письма, на которые я не отвечаю, и посвящает мне стихи, к моей досаде очень хорошие. Письмо, о котором была речь выше, начиналось с эпиграфа из моих тюремных стихов: "Какой великолепный "подогрев" — мое окошко, полное дерев".

"Юлечка, родная! Полагаю, тебе, как мало кому (а впрочем, может быть, уже много кому), знаком избранный мной для этого письма эпиграф. Видит Господь, пути искусства, так же, как и Его пути, неисповедимы. Ко мне забрели твои стихи, созданные тобою в Яме, и я вновь осветился радостью близости к тебе, к твоему сердцу, к твоей совести. БЛАГОДАРИЮ! Я знаю о тебе много...

Твой друг, подаривший радость твоего искусства, благополучен и шлет тебе свое восхищение и преданность".

О роли Трифонова я предупреждала ребят в Крестах, дабы в лагере, если им придется встретиться, они его остерегались. Меня беспокоило то, что Трифонов может назваться моим другом и тем заслужить их доверие.

Я рада письму Трифонова не только потому, что оно напомнило о друге и сообщило мне, что мои стихи не погибли, а живут в лагере. Эта книга может заставить думать — не даром за нею так гонялись "оперы"! Но я рада еще и тому, что я вовремя узнала, что Три-

* "Подогрев" — продуктовая передача.

фонов все-таки влез в доверие к одному из моих друзей. Я постаралась припомнить, кого из ребят я не успела предупредить, и припомнила: таких было всего двое. Один из них имел экземпляр книги. Теперь я знаю, кто именно находится в Обухове и кого я должна предупредить. Трифонов может быть уверен, что я это сделаю незамедлительно.

Но были и другие случаи заочных встреч. Однажды в кормушку заглянул незнакомый человек и спросил: "Что для тебя нужно сделать? Ты только скажи – все будет. Художник велел". Я сразу догадалась, что "художник" – это Вадим Филимонов, потому что Рыбаков и Волков еще на Литейном. Я счастлива – значит, и у Вадима есть друзья, готовые для него на все. Я заказываю книги, и на следующий день друг Вадима набирает по камерам огромную стопку. Я выбрала Мельникова-Печерского, которого очень приятно читать именно в таких обстоятельствах, Бальзака и пьесы Чехова.

Нет, господа товарищи, это вы совсем плохо придумали – сажать нас вместе с уголовниками. Еще Достоевский предупреждал, что в этой среде есть крутые силы, которым, чтобы забродить, нужна только закваска. Вот вы им закваску-то и подсовываете.

Ох! Перепортим мы вам ваших лучших в мире советских воров и проституток!

Моим крестовским друзьям

Сегодня мне подарено окно.
Мой белый свет и клином свет – оно.
Хотя решетки все еще на нем,
но – белые деревья за окном.

Какое изобилие ветвей
и неуклюжих зимних голубей!
И даже горстка снега между рам...
В сад заключенные выходят по утрам.

Они свистят знакомому окну.
Я улыбнусь и руку подниму:
какой великолепный "подогрев" –
окно, до края полное дерев!

Я пишу о моих крестовских друзьях – называть их иначе я не хочу и не могу – с некоторым страхом. Я боюсь им повредить, хотя возможность этого сейчас невелика – момент упущен властями. Но не поблагодарить их публично я не могу. С другой стороны, я хочу

еще раз показать, что счастливые для наших тюремщиков времена, когда они могли рассчитывать на ненависть малограмотных уголовников к политическим, миновали безвозвратно. Сейчас все люди достаточно информированы и знают, кто есть кто. Одно только имя Солженицына, с которым в их представлении связан любой диссидент, располагает к нам этих людей. Нужна действительно такая старая кочерыжка, как моя "атаманша", не получавшая информации, видимо, со времен Сталина ("враг народа"), чтобы попытаться воздействовать на меня старым методом. Даже женщины большей частью достаточно разбираются хотя бы во внутренней политике государства, в котором живут. А среди самых простых я пользовалась уважением и даже любовью, благодаря исконному уважению русского народа к тем, кто "терпит за правду".

Я постараюсь не называть никаких имен, а там, где это необходимо для сюжета, буду заменять их вымышленными. До 1984 года. (Вашими устами да мед пить, господин Орвелл и господин Амальрик!)

Мученики и мучители

Начальник тюрьмы Кукушкин часто навещает меня в моем подземелье (психотделение помещается в подвале).

Однажды у меня был очередной приступ слабости. Я три дня не вставала с постели.

Вот гремят засовы, открывается железная дверь, и в камеру входит Кукушкин и сопровождающие его лица – врачи и тюремные чины.

Кукушкин долго и мрачно глядит на меня.

– Окулова! Пожалейте вы хоть нас, если себя не жалеете! За что вы меня-то мучаете?

Я поворачиваю голову на подушке и разглядываю "мученика". Да, он изрядно похудел и осунулся с начала моей голодовки: кожа воспаленная, серая, глаза красные, возле рта резкие складки. На нем шинель до пят, фуражка низко надвинута на брови, портупья и сапоги без блеска. Хоть сейчас снимай для военного фильма:

Который месяц не снимал я гимнастерки,

Который месяц не расстегивал ремней!..

– А вы сами виноваты! – говорю я Кукушкину. – Зачем вы меня к себе взяли? Я же не ваша, ваши – воровки, проститутки, убийцы, наводчицы. С ними-то спокойней.

– Ваша правда, – вздыхает Кукушкин и выходит из камеры.

Ах, статья ты моя непутевая! Ну разве же можно со 190-1 — да к уголовникам? Им это знакомство интересно, им оно полезно. А каково начальству, надзирателям? Они то и дело пустое "вы" сердечным "ты", обмолвись, заменяют, а я ведь и тут спуску не даю. Тяжело им со мной, мученикам судебного фарисейства.

Враги общества

— Профессор Ганушкин определил один тип шизофреников как "врагов общества", — сказал мне как-то мой врач. — Вам не кажется, что вы и ваши диссиденты как раз подходите под этот диагноз?

— Очень интересное открытие. А когда Ганушкин его сделал — до того или после того?

— То есть?

— До революции или после?

— Какое это имеет значение?

— Самое принципиальное. Я хочу знать, относил Ганушкин к этой категории больных самого Ленина или только его врагов?

Тюремный врач, человек холодный, циничный и беспринципный, как я полагаю, с самого рождения, пытается изобразить правоеверное негодование:

— Еще никому не приходило в голову подвергать сомнению психическую полноценность Владимира Ильича!

— Полноте!

Молчит и углубляется в чтение истории болезни.

Красота

Ко мне является адвокат. Обрядили меня поверх серого больничного халата в черные зековские брюки необъятной ширины (пришлось завязать их узлом на талии), в серый клочковатый ватник и повели на другой конец тюремного двора, в женский корпус — в нем размещаются каморки для встреч с адвокатами и следователями.

После беседы мой адвокат задержался у корпусного начальства, а меня почему-то беспрепятственно выпустили из корпуса.

Я вышла за железную дверь и очутилась совершенно одна в тюремном дворе, впервые без сопровождающих лиц.

Тюремный двор обширен, но застроен весьма тесно и даже прихотливо. Классическое безобразие и ужас екатерининских строений тут и там соседствуют с постройками более поздних и даже совсем

недавних времен. Каменные дворики для прогулок, рабочие корпуса, кочегарка, железные клетки, в которых гуляют больные, а могли бы гулять слоны, кое-где громадные черные тополя и бесконечные заборы, ограды, решетки – все это переплетается, громоздится друг на друга, заслоняет одно другое. Краски: сероватый снег, кроваво-красный кирпич, серый бетон, чернота ветвей и решеток.

Справа и слева от меня знаменитые "кресты". Они обнимают и замыкают планы, они здесь – главное. А над всем этим высится мрачная кирпичная труба кочегарки. Из нее выползает густой рукав черного дыма. Вокруг трубы с криком носится несколько ворон. Пытаюсь их сосчитать, вспомнив стихи Пети Чейгина:

Удержу – говорю,
даже если воронья семерка
разорвет небосвод
и на скатерть положит металл.
Все молчит наш отец...
Все качается маятник мертвый...
Что же смертного, брат,
ты расскажешь, а я передам?

А ворон даже больше семи.

Красота обреченности, смерть, гармония преисподней. "Красная пятница"? "Прогулка заключенных"? Да, да, но и еще кто-то! Кто? Да Пиранези же! Его " "Стою, прислонившись к стене, и впитываю все это глазами, стараюсь запомнить, чтобы потом зарисовать. Впрочем, это видел Вадим Филимонов, это скоро увидят Олег Волков и Юлий Рыбаков... Будут, будут еще нарисованы ленинградские "Кресты"!"

Джованни Батиста Пиранези заколол врача, не сумевшего вылечить его любимую дочь. Был приговорен к тюремному заключению. Олег Волков, Юлий Рыбаков, Вадим Филимонов никого не убивали, они боролись за элементарные права человека, за ту гражданскую честь, без которой нет ни мужчины, ни человека, ни художника. Я горжусь вами, друзья мои! Но вы обязаны сохранить свой талант. Посмотрите на все это глазами художников – здесь есть что рисовать!

А вороны все кружат и кружат вокруг трубы.

Выходит мой адвокат, останавливается, долго глядит на меня. Потом вдруг говорит взволнованно:

– Юлия Николаевна! Вы из тех женщин, которых рубище не безобразит, а делает прекрасными!

Я и сама знаю, что в этой картине я на месте — иначе я не чувствовала бы так глубоко эту мрачную гармонию.

Но адвокат — человек благополучный, кругленький, румяный...
Прощай, Пиранези!

Уметь говорить "нет"

Мальчик из хозобслуги воспытал ко мне нежными чувствами. Вечером он стал просить надзирателя оставить ненадолго дверь моей камеры открытой. "Я только поговорю с ней — и все!" Надзиратель посмеивается: "А ты — в кормушку". Мальчик ходит за ним и клянется. Он не знает, что в камере слышно не только каждое слово, произнесенное в коридоре, но даже и шепот. Я лежу и злюсь: "Ну, нажила себе врага!"

Оглядываю камеру — все привинчено, все предусмотрено — защищаться нечем. Даже кружка, и та из полиэтилена.

В коридоре появляется третий голос. Это санитар. Постоял, невмешиваясь, а потом и говорит мальчику:

— Ты что, хочешь послушать, как она умеет говорить "нет"? Так ты зайди завтра в процедурную, когда ее начнут кормить через зонд и уговаривать снять голодовку — там и послушаешь.

Мальчик нехорошо выругался и ушел. Через несколько дней он перестроился. Теперь он носит мне свежие газеты и пересказывает новости "вражьего радио": у кого-то из надзирателей есть транзистор, он слушает, а потом рассказывает зекам. Особенно им нравится, когда говорят обо мне.

Тараканы

Прожив всю жизнь в Ленинграде, я ни разу не видела живого таракана. В тюрьме их полчища. Они кишмя кишат даже в моей камере, где нет ни крошки хлеба. Ночью я щелчками сбрасываю их с постели. Никто никогда не убедит меня в том, что заключенные принесли их с собой. Это явно местная фауна.

Но первого и самого большого таракана я встретила в следственной тюрьме КГБ. Вот это был таракан! Генерал! Я уж подумала, что его запустили в мою камеру нарочно — изошренная пытка, так сказать. Потому только и не завизжала на весь Литейный проспект.

В Крестах тараканы помельче, но зато сколько их тут! Нечисть тянется к нечисти, но субординацию соблюдает.

Хотела бы я знать, какие твари жили в кабинетах Сталина, Дзержинского, Берии. Летучие мыши? Гигантские черви? Вши необычайных размеров?

Как-то в Музее Зоологии я видела китовых паразитов – отвратительных насекомых размером с черепаху. Нечто в этом роде ползает под коврами Андропова.

А у меня над письменным столом в Важинах под Свирью ласточки слепили гнездо и вывели птенцов. Я писала стихи, а они над моей головой – чирк да чирк, туда и обратно...

В моем ириновском доме уже в феврале появляются бабочки...

На Жуковской я просыпаюсь под птичий гам: воробьи залетали в открытое окно и разбойничали на столе среди остатков вчерашнего ужина...

Негритянская проблема в СССР

– Женя! Это правда, что у Вас по делу проходил негр?

– Был у меня сообщником один гражданин республики Чад, доставлявший мне валюту. Я ее сбывал. Он дал показания, а потом в отношении его дело закрыли "в связи с выездом из СССР". Но на суде он присутствовал – на всякий случай.

– Сколько вам дали, Женя?

– Десять лет.

– А вот были бы вы, Женя, негром!..

Любовь к желтому цвету

Стены в психиатрическом отделении выкрашены в желтый цвет. Потолок и шконки тоже. Под потолком желтая лампочка.

Я вспоминаю, как ненавидели желтый цвет Достоевский и Блок – люди тончайшей нервной организации. Ван Гог все время воюет с желтым цветом, любит и ненавидит его одновременно. Рембрандт его приручил и сделал золотым, но и в этом золоте всегда тайная тревога.

Кто придумал сумасшедшие дома делать желтыми домами? Сумасшедшие, по-моему! Пора уже строить красные дома для умиленных – чего уж стесняться-то?

О поэзии

Когда в сентябре меня выпустили из тюрьмы КГБ, у меня долго не проходило ощущение собственной нечистоты, хотелось мыться,

мыться, мыться. Я удивлялась — я же вела себя безукоризненно! Откуда это?

Пришел однажды Миша Генделев и прочитал свои новые стихи. Я заплакала и омылась от скверны.

Грязный гений (или демон) государственности бесконечно далек от понятий добра, любви, поэзии. Следовательно, поэзия не только добро, она еще и оружие, и даже вовсе не тогда, когда призывает: "К оружию, граждане!" Красота — враг тоталитаризма. Живопись гитлеровских времен отличается фундаментальностью, претензиями на высшую символику и потрясающей пошлостью. Этими же достоинствами отличается и наше официальное искусство. Та ненависть, с которой власти начали необъявленную войну против ленинградских художников и поэтов, сделала многих из нас диссидентами. Если будет нужно, я отдам все свои силы демократическому движению, откажусь даже от поэзии — там, где она не служит ему непосредственно. И это будет самой большой жертвой.

Мы жили очень красивой жизнью. Мы делали то же, что и профессиональные диссиденты, но утверждали свободу и призывали к ней только своим искусством. Власти заставили нас свободу гражданина поставить выше свободы творчества — это закономерный переход к целому от его части. Возможно, я что-то потеряю, как поэт, но пути назад уже нет. Я вспоминаю о наших вечерах, о наших выставках, чтениях, о нашей богемной, но такой чистой любви друг к другу — так, как взрослый человек вспоминает о детстве: дорого, прекрасно, но вернуться назад нельзя, да и не к чему.

Но поэзия не платит мне заслуженной неблагодарностью. Самые тяжелые дни в тюрьме я распределила между любимыми поэтами. Один день я читаю Ширали, другой — Чейгина, Куприянова, Елену Шварц, Елену Игнатову, Леонида Аранзона, Роальда Мандельштама, ну и Наташку, конечно, тоже. Это было хорошим противоядием.

Тюремная эстетика

В сравнении с "Крестами" Большой Дом поражает безвкусицей. В коридорах какие-то диаграммочки, цветочки, портретики, бюстики. В комнате свидетелей плюшевые диванчики и плюшевая же, молюю траченная, скатерть с кистями на круглом столе. И вечно воняет то щами, то рыбой. И тут же сигнальные табло, цифровые замки...

Нет, кондовый аскетизм Крестов мне милее! Здесь тюрьма не притворяется чем-нибудь другим, каким-то невинным учреждением.

Голый кирпич уместен там, где человечеству пускают кровь. Пусть даже дурную: в Крестах попадают и преступники. Правда, строгая простота Крестов доходит порой до абсурда. Так, например, в больнице ванная комната и морг совмещены. Иногда там лежат трупы, иногда моются больные. Одежду мы кладем на клеенчатую кушетку, на которой перед этим лежал труп "освободившегося" зека. Другой мебели в ванной-морге просто не имеется. Думаю, что ни после больных, ни после трупов эта кушетка не протирается даже влажной тряпкой, не говоря уж о дезинфекции.

Вот так воров приучают к той самой простоте, которая хуже воровства.

Надписи на стенах

Меня считают особо опасной преступницей и при всяких выездах держат не в "собачнике", а в так называемых "стаканчиках". Это узкий железный шкаф с крохотной скамеечкой. Даже мне (рост 156 см, 40 кг веса до голодовки) в нем тесно и душно. От скуки читаю надписи на стенках: "Опять 144-ая!", "Алик Рудаков сука", "Прости меня, мама!", "Витя с Охты", "6-ая ходка", "Жора Платов", "15 лет", "Наташа! Я люблю тебя!"

Карандаш или авторучка у меня всегда при себе. Я тоже делаю свою надпись:

"Вы душите свободу, но душа народа не знает оков".

Смерть в Крестах

Зеки уверяют меня, что трупы из тюрьмы родственникам не выдаются. Не знаю, правда ли, но все равно страшно.

— А как же их хоронят?

— Сжигают в кочегарке.

Трубу этой кочегарки я вижу каждый день в окно с тех пор, как меня перевели в терапевтическое отделение. Не могу сказать, чтобы это зрелище действовало на меня ободряюще: в тюрьме умереть и в тюрьме же быть похороненной! Я знаю несколько неизлечимых больных: рак, последняя стадия чахотки. Все знают, что они вот-вот умрут, но никому не приходит в голову что-то изменить в их судьбе. К весне безнадежные больные умирают один за другим.

Вы удовлетворены, товарищ Советское Правосудие?

Личный обыск

Обыск. Нашли стихи и тюремный дневник. Волокуют обратно на психоотделение. Две опердамы заводят меня в пустую камеру и приказывают раздеться догола. А дверь камеры распахнута в коридор, где стоят зеки, санитары и надзиратель.

– Прикройте дверь! – прошу я.

– Ничего, ничего! Не маленькая! – отвечает блондинка довоенного типа. Вторая, черная толстуха, хихикает.

Я ведь стесняюсь не только наготы – слава богу, все на месте! – сколько псориаза, который уже начал осыпаться на меня. Отхожу в угол, чтобы меня не было видно из коридора.

– На середину! – командует блондинка.

Ах так! Я раздеваюсь, затем сажусь на шконку нога на ногу. Холодные полосы железа не лучшее в мире сиденье, но я достаю сигареты, закуриваю и сижу с мечтательным видом, как будто все происходящее меня даже не задевает. Правда, сажусь так, чтобы проклятые красные пятна были меньше заметны.

Обнюхав и процулав чуть ли не на зуб мою рубашку, оперша швыряет ее на шконку.

– Можешь одевать!

– Ну зачем же? Я уж подожду, пока вы со всем справитесь.

Они берутся и берутся, а я сижу, как на пляже, да еще и ножкой покачиваю.

Осмотрев все, они возвращают мне одежду. Я неторопливо одеваюсь.

– Скорее!

– А я вас не торопила.

Они уходят, оставив меня в камере с распахнутой дверью. Но им приходится пройти мимо всех мужчин, которые все это время простояли напротив, демонстративно отвернувшись от нашей камеры. А вот тут-то они все вдруг обернулись и в упор глядят на них.

– Суки! – довольно громко несется им вслед.

Они обе ускоряют шаг.

Кого они судят

Однажды дверь камеры отворилась, и в мою одиночку ввели девочку лет шестнадцати, всю в синяках и царапинах. Забилась в уголок и выглядывает зверенышем.

Я молчу. Мне жаль нарушенного одиночества, я к нему привыкла.

– А как вас зовут? – спрашивает девчонка через час.

– Юлия Николаевна. А вас?

– Юлька. Вот здорово, правда?

– Забавно.

Она пододвигается поближе, заглядывает в глаза.

– Юлия Николаевна, а вы меня не будете бить очень больно? Я не люблю, когда у меня все личико поцарапано.

Я подскакиваю на своей шконке – Юлька шарахается в угол и закрывает голову обеими руками.

– Ты что, с ума сошла?! – ору я в ярости.

– Да, – невинно отвечает она. – После менингита. Меня два года в дурдоме держали.

Кое-как успокаиваю бедную дурочку. Потом спрашиваю:

– Что же ты натворила такого, что тебя посадили?

– Зонтик украла. Красивый такой, красенький и в цветочках.

– А зачем же тебе понадобился чужой зонтик?

– Просто так. Он красивый очень был. А потом соседка сказала мне, что я воровка. Я пошла в милицию и все рассказала.

Философия Юльки-маленькой

Одиночеству моему пришел конец. Теперь нас зовут Юлька-большая и Юлька-маленькая.

Юлька-маленькая неописуемо болтлива и прожорлива. На болтовню я установила строжайший лимит: по три вопроса после завтрака, обеда и ужина и полчаса болтовни перед сном. Бедняжка свято соблюдает уговор и целый день мотается по камере, сочиняя вопросы к следующему разговору. В дозволенное время она изводит меня, как три любопытных дошкольника. Вопросы у Юльки такие: почему у одних людей волосы светлые, а у других темные? Что едят крокодилы, когда нет поблизости людей? Воруют ли богатые люди? И последнее: нужно ли ей вешаться после тюрьмы?

Или такой вопрос:

– Юлия Николаевна! А о чем люди думают перед смертью?

– О разном, Юленька. Наверно, о самом дорогом.

– Вот и я так думаю. Я бы покончила с собой, но мне страшно: вот я буду лежать перед смертью и думать, что так и не попробовала шоколадного торта...

На глазах у Юльки слезы, она трагически взирает на кусок черного хлеба в своей руке.

Между прочим, прожорлива моя Юлька до крайности. Она съедает по две порции любой баланды, благо ребята из хозобслуги отно-

сятся к ней, как к ребенку, и подкармливают. Хлеба Юлька-маленькая съедает по две буханки в день. Запах хлеба раздражает меня и привлекает в камеру тараканов.

— Юлия Николаевна! А вам приятно смотреть, как я хорошо кушаю? Вы ведь сама не можете...

Юлька все пытается поделиться со мной своей едой, так я придумала сказать ей, что я умру, если съем хоть кусочек хлеба. Она поверила и больше ко мне не пристает. Но зато требует, чтобы я хвалила ее за каждую съеденную ложку добавки. Я и хвалю — с тайным стоном досады в душе.

Юльку-маленькую завербовали

Как-то Юльку вызвали к врачу и продержали не меньше часа. Вернулась она растерянная и перепуганная.

— Юлия Николаевна! А чего они все про вас спрашивают?

— Что же они спрашивали?

— Не кушаете ли вы потихонечку и что вы мне говорите.

— И что же ты им сказала?

— Я сказала, что по-честному хотела с вами поделиться едой, но вам нельзя — вы можете умереть от кусочка хлеба. А еще — что вы мне рассказывали про зверей, и еще, что вы сказали, что воровство существует не для таких, как я.

— Ну и что же они тебе на это ответили?

— Сказали, чтобы я запоминала все, что вы говорите, а потом им пересказывала. А что я им рассказывать буду, если я ничего не запоминаю? Вы меня научите, что им говорить, ладно?

— Хорошо, Юленька, научу.

Опять птицы!

Юлька-маленькая ходит на прогулки.

— Юлька! Ты видела птиц на тюремном дворе?

— Ой сколько! И воробьи, и голуби!

Наше окно выходит в яму, вырытую в земле и забранную сверху решеткой. Само окно выложено из толстенных стеклянных плит. За ними — решетка, поверх решетки — глухой железный щит.

— Юлька! Возьми на прогулку кусок хлеба и покроши над нашим окном. Вот и у нас будут птицы!

Юлька обрадовалась и назавтра взяла не только хлеб, но и немного каши, завернутой в бумагу.

Теперь и за нашим окном целый день поют птицы. Однажды я слышала синичку.

Белая горячка

Вечером в камеру втолкнули женщину лет пятидесяти, отчаянно отбивавшуюся от санитаров. Белая горячка. Ее привязали простынями к шконке, сделали несколько уколов, облили холодной водой — все бесполезно. Она продолжала бредить, разрывая крепчайшие путы, и металась по камере. Мой голос действовал на нее отрезвляюще, ко мне она подходить не решалась, но зато все время подбиралась к Юльке-маленькой. Я боялась за ту и за другую. Юлька дрожала и со страху забиралась под шконку. Двое суток я не спала ни секунды и следила за каждым движением больной. Ну и наслушалась же я всего за эти двое суток! Какой странный, какой убогий бред!

Эпизод первый. Какая-то пьянка. Муж ("героини" прячет бутылку. Все ее разыскивают, все о ней знают, а "героиня" руководит поисками. Она обшаривает всю камеру, ползает под шконками — все ищет злополучную бутылку. "Верка! Погляди в шифоньере! Женька! Лезь в холодильник!" — кричит она воображаемым гостям. И так часа два-три. Затем перерыв на две-три минуты, и начинается новый бред.

Гастроном. Героиня встречает ревизора. Он, как явствует из ее речей, заподозрил, что она стоит в нетрезвом виде за прилавком. Она пьяна, но пытается это скрыть: "А я вам говорю, товарищ ревизор, что вообще капли в рот не беру! Все пьют, директор пьет, завмаг пьет, а я не пью! Вы спросите моего мужа, спросите соседей. Они вам так и скажут — капли в рот не берет!" Вдруг: "А-а-а! Никакой ты не ревизор! Ты грабить пришел! Маша, гони его в шею! Зови милицию! Бей его!"

Эпизод третий, самый опасный. "А где это я? А вы кто? Вы зачем ко мне в дом забрались?!" — и она идет на нас с Юлькой. "Отворите дверь, такие-сякие!" И черный, какой-то убогий мат.

Перед судом

Приближается суд. Врачи лицемерно обеспокоены состоянием моего здоровья. Я знаю, к чему могут привести их заботы, и потому объявляю всем и каждому, вплоть до моего защитника, что на суде откажусь от показаний, как это сделал Вадим Филимонов. Мне верят, и на суд меня выпускают.

К суду я не подготовлена совершенно. Во время знакомства с материалами дела я была больше занята лжепоказаниями Трифонова, чем собственной судьбой. Внезапный арест помешал мне найти такого адвоката, который мог и хотел бы участвовать в подобном деле. Но незадолго до ареста отец Лев как-то привел слова из Писания о том, что не нужно заранее готовиться к суду — Бог подскажет нужные слова.

Слова эти запомнились и стали мне руководством к действию: я ничего не готовлю заранее. Единственное, чего я боюсь — встречи с Трифоновым. А в остальном я полагаюсь на Господа и на себя: что я есть — тем я и предстану перед всеми в решительную минуту. Почему бы не проверить себя еще раз? Я знаю, что я сама далеко не совершенный человек, я легкомысленная, я до обидного мало знаю в свои 36 лет, я могу сорваться и потерять контроль над собой. Наконец, мне может просто стать плохо на суде. Но в глубине души я почему-то надеюсь, что человек по имени Юлька меня не подведет.

Друзья

В ночь с 28-го на 29-ое я не сплю — думаю о суде. Вернее, я думаю о тех, кого увижу в зале. Смешно, но суд для меня не расправа, не признание заслуг, а свидание с теми, кого люблю. За себя я спокойна — Бог не оставит. Я уже чувствую, как мои силы сливаются воедино и крепнут.

И вот наступило утро. Мне принесли мою одежду прямо в камеру. Ребята из хозобслужки провожают меня до дверей больницы.

— Не возвращайся! — кричат они мне вслед.

Меня сопровождает фельдшер с набором средств первой помощи. Предложили сделать укол кофеина — я отказалась.

И вот я еду по городу в тюремной машине. В моем "стаканчике" отверстие для воздуха расположено напротив окна. Я вижу Петропавловку! Это — первая радость.

К зданию Городского суда подъехали какими-то задворками. Около часа меня держат в маленькой, но очень холодной камере. И вдруг мне становится так плохо, что чувствую: и до залы не дойду, и двух слов не свяжу. Девятый день голодовки! За мной приходят конвойные. Пять человек и все при оружии. Ведут. По дороге я вижу зеркало и достаю расческу.

— Вперед, вперед! — в панике кричит мальчишка-казак.

— Я всегда иду вперед. Просто иногда необходимы остановки. Неужели вам приятно сопровождать непричесанную даму?

Я спокойно расчесываю волосы, укладываю их попышнее, чтобы скрыть ужасающую худобу лица. Конвойные страдают, но что они могут со мной поделать? Не силой же меня оттаскивать от зеркала...

Наконец, я удовлетворена, и мы двигаемся дальше. Выходим на широкую лестницу. Конвойные оттирают меня от перил к стене.

— Вы думаете, мне туда надо? — спрашиваю я, указав рукой в пролет.

И в этот момент на меня сверху обрушивается какой-то шум, как-будто взлетела громадная стая птиц. Я поднимаю голову и вижу, что лестница последнего этажа полна людей. Я различаю любимые лица, я машу им рукой! Между мною и друзьями кордон милиционеров.

Зал оказывается издевательски маленьким. Я иду за загородку, сажусь на скамью подсудимых и, счастливая, закрываю глаза.

Фельдшер испугался и спрашивает: "Принести воды, дать валидол?" Я киваю. Чувствую, что рот пересох, губы горят — трудно будет разговаривать. Но это от радости — все пришли.

Через некоторое время двери зала открываются и в него входят человек двадцать определенной внешности. Они рассаживаются в шахматном порядке. Я нахально их разглядываю одного за другим, знакомым киваю.

Только после этого в зал впускают моих. Молодцы видят, что друзья садятся плотно, стараясь, чтобы места хватило всем. Тогда они шепчут что-то менту-распорядителю, и тот громко объявляет: "Только по четыре человека на скамейку! Первый ряд оставить для свидетелей!" Свидетелей у меня пять человек, из них один в США, а троих привезут и увезут под конвоем. Таким образом, весь первый ряд освобождается для двоих — Кайфа (Юры Андреева) и Елены Павловны Борисовой, которую сделали свидетелем, дабы не мучаться с Володей. Но и это пустой номер — диссидентская мама!

Начинается судилище. Сначала я никак не могу сосредоточиться, все оглядываюсь в зал — милые, милые, милые мои друзья, как я по вас соскучилась! Постепенно прихожу в себя. Мне очень помогает то, что Исакова так некрасива, даже безобразна. У нее очень темные, жирные волосы, короткие толстые пальцы рыночной торговли, наглый и самодовольный голос. В то же время она пытается держаться со мной высокомерно, перебивает на каждом слове, по четыре раза переспрашивает даты рождения моих сыновей. Сидит она в своем кресле, как на троне, вот только спинку держать не умеет — расплзается. Чем больше женского безобразия я замечаю в ней, тем лучше я себя чувствую: "Ты можешь сделать со мной все, что тебе

позволит дышло нашего закона, но ты никогда не будешь такой счастливой, как я. Даже сейчас я счастливее тебя во сто крат! Вот они, мои друзья. Ты с ненавистью глядишь в зал, а зал с любовью смотрит на меня. Когда-нибудь тебя будут судить. Кто будет на твоём суде, судья Исакова, глядеть на тебя с такой любовью и заботой?”

Слабость постепенно уходит, я обретаю силу и холодное спокойствие. К середине заседания я уже понимаю, что так называемые народные заседатели здесь присутствуют только для мебели, а прокурор — дурак. Да, да, самый обыкновенный дурак! Это даже несколько обидно — меня явно недооценили... Он не задал ни одного вопроса по делу, чтобы не сесть в лужу.

Вечером меня доставляют в тюремную больницу. Моя постель убрана.

— Мы надеялись, что ты уже не вернешься... — грустно говорит мне санитар и идет греть чайник.

Я выпиваю стакан крепкого чая.

Ребята приносят мою постель и подсовывают мне второй матрас: “Тебе надо выспаться перед последним словом”.

Господи! Еще и здесь! Я засыпаю в счастье.

Еще о суде

Были ли по-настоящему страшные моменты на этом суде?

Да, дважды.

В самом начале, когда все расселись по местам, я стала искать глазами Борисова. Его не могло не быть, но его не было! Когда я дошла взглядом до Натальи, она уже поняла, кого я ищу, и показала мне на пальцах решетку. У меня в глазах потемнело. Она замахала руками, стала делать какие-то успокаивающие знаки, но во мне все оледенело, я ничего не понимала, кроме одного: его тоже взяли, его будут судить, а ему малым сроком не отделаться.

В перерыве его мама остановилась неподалеку от меня и очень громко рассказала, как Володю на улице схватила милиция и отправила его в психушку. Это уже легче, но все равно почти невыносимо: девять лет, и вот теперь еще! Если его взяли из-за меня, то и не выпустят до тех пор, пока меня не увезут из Ленинграда. Где же ты, Володя, что с тобой?

Второе — Трифонов. Встречи с ним я боялась и на его суде, но тогда я еще не читала его показаний полностью. Теперь мне еще страшнее: я знаю, что Трифонов в своих показаниях привел такие факты, которые были известны только КГБ. Требовался свидетель,

который изложил в своих показаниях данные, полученные экспертизами ГБ. Он говорил о ширине валиков, которыми делались надписи, о методе их исполнения — где трафарет, где кисть, причем называл все очень точно, точнее, чем это помнят исполнители — сколько месяцев прошло, например, с апрельских лозунгов! Но Трифонов делает больше, чем от него требуют его покупатели: он связывает исполнение надписей с деятельностью московских диссидентов и даже намекает на руководство зарубежных представителей.

Вводят Трифонову. Я опускаю голову, мне отчаянно стыдно и тяжело. Его поставили напротив меня. Он начинает изворачиваться, уклоняться от ответов. Еще бы! Положение не из завидных: скажешь правду — повредишь себе, повторишь ложь — забудешь о бывших друзьях, а они все в зале, все смотрят на тебя, Трифонов. Он начинает нести уж совсем постыдную чепуху о каких-то письмах, якобы отправленных им Л. Корвалану, начинает изъясняться в любви ко мне. Я не выдерживаю и тихо теряю сознание, опустив голову на колени. Из-за барьера меня не видно.

Наталья рассказывает, что в этот момент сидевший рядом с ней сотрудник удивленно спросил:

— Она плачет?!

— Она никогда не плачет! — сердито ответила Наташка. — Это я плачу.

У нее и в самом деле все лицо было залито слезами, когда уводили Трифонову.

Боже! Упаси нас от стыда за друзей!

Почему ты мне не поверила?

Еще задолго до суда и ареста я обещала Наталье, что вытаску Юла на суд в качестве свидетеля. Это было трудно, но я этого добилась. Уже на самом суде мне пришлось сделать на этот счет заявление и повторить, что я настаиваю на его вызове. Юла привели под конвоем. А Наталья мне не поверила, забыла о моей клятве и не пригласила на суд его родителей! Ах, Наталья! Я редко чего желаю всеми своими силами, но когда доходит до этого, то очень-очень редко желаемое не исполняется.

Юл побледнел, осунулся, постарел. Долго не понимал, что от него нужно суду, а что — мне. Глядел на меня с напряженным вопросом в глазах: "Что я должен говорить? О чем?" А я только улыбалась — так рада я была его видеть. Под конец только он понял это,

засмеялся и покачал головой: "А ты все такая же!" И его увели уже на годы.

А Наталья мне не поверила...

Возвращение "домой"

30-го суд был очень недолгим — мое последнее слово и приговор. Накануне я так устала, что до того момента, как мне было предоставлено последнее слово, я не нашла ни сил, ни времени подумать, что же я буду говорить. Говорила, как Бог на душу положит, опять-таки следуя тому давнему совету отца Льва, который он привел мне из Писания. Я больше чувствовала, чем слышала, то, что говорю. Обращалась я только к друзьям, демонстративно отвернувшись от суда. Я прощалась с ними, прощалась с теми, кого не было в зале — живыми и мертвыми: с Константином Кузьминским, который в это время волновался за меня и пытался меня защищать из своего Техаса, с Юрой Таракановым-Штерном, которого я успела проводить, с Игорем Синявиным, невольно сыгравшим мрачноватую роль на моем процессе, ибо его показания, которые были абсолютно безупречны, Исакова вертела как хотела (они перевраны даже в приговоре); с Илюшей Левиным, которого заблаговременно арестовали 23 декабря, с Володей Борисовым, насильно упрятым в психушку 25-го. Я простилась с Татьяной Григорьевной Гнедич, моим Учителем — как оказалось, не только в поэзии. В середине последнего слова Исакова не выдержала и потребовала внимания и к себе. Я слегка обернулась к суду, и что-то мне не захотелось продолжать последнее слово, взирая на эти лица: уходя надолго, покидая друзей и родной город, хочется видеть то, что любишь и просто то, что красиво. Физиономии моих судей оскорбляли во мне чувство прекрасного, и пустая стена передо мной была куда милее. Больше на судей я не оборачивалась.

После перерыва, когда меня вели в зал для слушания приговора, Наташка крикнула мне из толпы друзей: "Юлька, шампанское уже на столе!" "Выпейте за меня" — ответила я.

Приговор я выслушала абсолютно спокойно, даже посмеиваясь, и, по-моему, не только в душе, для пущего куражу, скрестив руки на груди. Где-то я даже торжествовала: уж очень нелепо звучал этот приговор: с учетом 43 статьи и назначением 5 лет ссылки в виде наказания — ниже низшего предела". Напомню, что указанная в статье 190-1 низшая мера наказания — штраф до 100 рублей (!)

Я восприняла и буду воспринимать этот суд и этот приговор как

признание ленинградскими властями, а точнее — КГБ, своего полного бессилия. Чем они ни грозили, чем ни соблазняли — все разбивалось не столько даже об мою твердость, сколько об абсолютное мое нежелание вступать с ними в какие бы то ни было отношения.

Я с большим интересом наблюдаю за их крысиной возней, но я в ней не участвую.

Мои родители пришли на второй день суда, хотя я и просила их этого не делать — они уже достаточно пострадали за всю мою буйную жизнь. Мама сидела спокойная, чуть высокомерная, как всегда, красивая. Отец держался тоже молодцом, хотя чувствовалось, что ему это дается труднее. Но было заметно, что он гордится моим поведением на суде. Это меня порадовало, ибо он никогда не разделял моих убеждений. Слава богу, хоть признал мою смелость и твердость — это-то во мне от кого, спрашивается?

Был на суде и мой старший сын. Бледен, как всегда в минуты волнения, но голову держал высоко, по-моему!

Вечером меня увезли в "Кресты".

В психушке дежурил самый добродушный из всех надзирателей, Н. Н. Он зовет меня Юлюшкой.

— Что, Юлюшка, домой вернулась? Сколько?

— Пять ссылки.

— Ну ничего, не расстраивайся только. Главное — не на зону.

И санитар дежурил мой любимый — Володя. Удивительно веселый и приятный человек.

— Чаю хочешь?

Поболтали, покурили. Я напилась чаю и легла спать. Вот и кончился "день забот"! Вот я и вернулась "домой". Устала.

Тюремные врачи

На первый взгляд — врачи как врачи. Белые халаты, спокойный участливый голос, пульс щупают при каждом удобном случае. Они даже немножко лечат!

Тюремная их сущность проявляется постепенно, от случая к случаю. Так, я ни разу не слышала, чтобы врач воспрепятствовал помещению тяжело больного заключенного в карцер за какую-нибудь чепуховую провинность.

Я лежала в терапевтическом отделении, когда у меня при обыске обнаружили рукопись "Книги разлук", приготовленную к отправке на волю. Я признаю рукопись своей (еще бы — это моя лучшая книга стихов!).

Со мной в камере еще две женщины. Одна больна гипертонией, другая — воспалением придатков. В тот же день их вместе со мной переводят на психоотделение — не столько в наказание, сколько в наказание. Терапевты их отпустили, психиатры их приняли.

После второго моего появления на психоотделении мне был поставлен диагноз "истероидная психопатия". Такой диагноз — женщине, которая не пролила ни одной слезы, ни разу не повысила голоса и продержалась ровно и спокойно все 50 дней голодовки! Не думаю, что они спят спокойно. Нет, не думаю!

Я спрашиваю, какими психическими заболеваниями больны мои соседки.

— Надо будет — найдем!

Медицинские сестры

Эти делятся на две категории. Одни всерьез пытаются действовать по фарисейской поговорке крестовских врачей: "У нас нет заключенных, у нас есть только больные". Они не отказывают в срочной помощи, не боятся дать нервничавшему зеку лишнюю таблетку снотворного, их можно вызвать среди ночи к тяжело больному. Некоторые даже передают письма больных на волю. Таких немного: это случайные в тюрьме люди, они стыдятся своего положения и навряд ли задержатся в этом гэбзугодном заведении.

Вторая категория и многочисленнее, и стабильнее по составу. Эти по духу уже давно стали тюремщиками и больше похожи на надзирателей, чем на медицинских работников. Они наушничают, шпионят, всячески изводят больных, без стыда проявляя свои садистские наклонности. Особенно хороша одна, татарка по национальности (упоминаю об этом единственно для того, чтобы побывавшие в Крестах поняли, о ком идет речь). Эта стерва прославилась тем, что вместо назначенных врачами лекарств подсовывала больным какую-нибудь гадость вроде пургена. Ее несколько раз ловили на этом. Больная, хороша знающая свои лекарства, получив от нее очередной "заменитель", вызывала врача и показывала ему таблетки. Реакция всегда одна и та же: "Да, это не ваше лекарство, выбросьте его. А сестру эту нам приходится терпеть потому, что никто не идет сюда работать".

В нашу камеру-палату приводят молодую и очень красивую девушку. Высока, стройна и похожа на Клаудиу Кардинале в молодости. Диагноз: рак матки. 22 года. Зовут Таней. Я немедленно хватаю карандаш и начинаю ее рисовать.

Ее краткая история. Два года назад попала в лагерь по 206-ой за скандал на танцплощадке. В лагере озоровала, дразнила надзирательниц красотой и молодостью. Отомстили — установили надзор сроком на год. Надзор — это страшная вещь: поднадзорный не имеет права никуда выезжать с места жительства, обязан постоянно отмечаться в милиции и быть дома в 20 часов вечера. Таня решила выдержать надзор, никуда не ходила, вела жизнь старой девы. Но на горе свое она понравилась одному из местных сотрудников. Он нагло преследовал ее, обещал уладить дело с надзором, если она уступит его домогательствам. Она не уступила. Результат: три опоздания, от 15 минут до получаса. Дело передают в суд.

Незадолго до этого у Тани обнаружили рак матки и начали лечить радиацией.

На суде врач просил пощадить ее больную, дать возможность долечить ее. Отказали. Дали год.

В тюрьме у Тани начались страшные боли. Ее положили в больницу на обследование. И вот тут она влюбилась, вернее, ответила взаимностью влюбившемуся в нее парнишке, тоже больному. Он чуть старше ее и болен язвой желудка. Было прободение. Между ними начинается переписка. Таню отправляют в карцер. Но в это время из онкологической клиники приходят ее анализы: да, рак матки. И врачи вновь берут ее в больницу — прямо из карцера.

Случайно Таня оказывается в камере как раз над камерой своего Сережи. Тут уж переписка разгорается вовсю. Они любезничают, строят планы на будущее, а мы их всячески стараемся уберечь от очей надзирателей. Таня дарит ему свой портрет моей работы. Удачный. Влюбленные безрассудны до крайности. И мало того, что они целыми днями строчат друг другу длиннющие послания, что они видят друг друга во время прогулок — они ухитряются несколько раз встретиться в больничных коридорах, когда их ведут на процедуры! Ну, тут уже начинаются сумасшедшие объятия и поцелуи, часто на виду у других больных. А среди них есть спешащие на волю любой ценой...

Тане делают операцию. Причем оперирует ее не специалист-онколог, а обыкновенный гинеколог. Операция идет около часа; Таню приводят (а не привозят!) в камеру еле живую.

Через день, когда она еще и ходить не может, ее переводят на корпус, а еще через несколько дней отправляют в лагерь. Сергей передает нам отчаянные письма: "Что с Таней? Где она? Как прошла операция?" Мы отвечаем, но что мы можем ему ответить?

Таня рассказывала ему обо мне. Сергей берет у меня стихи на

сохранение. На волю их передать ему не удалось. Но спустя четыре месяца эти стихи цитирует в своем письме Трифионов. Значит, они живут? А вот жива ли Таня, я не знаю.

За девяносто восемь копеек

Она сидит за 98 копеек. Сама над собой смеется.

— До рубля не дотянула!

Работала санитаркой, жила трудно, муж бросил... И вот теперь еще это.

История ее такова.

С полочки пошла в магазин самообслуживания, чтобы закупить продукты впрок. Хотела взять побольше мяса — вечером ждала подруг. Поглядела — мясо паршивое. Взяла небольшой кусок для супа назавтра, за 98 копеек — много ли нужно одной? Накупила того, другого — получилась полная сетка. У кассы стала расплачиваться и забыла про этот злосчастный отгрызок мяса! А контролер углядел. Она сразу извинилась, вынула деньги из кошелька, чтобы заплатить. И вдруг слышит сзади:

— Воровка! Ты ведь живешь на краденое! Я ее заметила — она только за этим в наш магазин и ходит!

Оглянулась — продавец из-за прилавка. Ей бы смолчать, а она ему:

— Да вы сами все здесь воры! Я-то один раз нечаянно заплатить забыла, а вы-то каждый день с полными сумками отсюда ходите!

Завязался скандал. Вызвали милицию и составили протокол. Милиционеры ей заявили:

— Мы вас поставим на учет и будем год за вами следить. Попадете еще раз — посадим. Завтра принесете характеристику с работы.

— Черта с два!

Ушла и забыла, и никакой характеристики не принесла. Завели дело и осудили на год. Год она, конечно, отсидит. Женщина измучена жизнью, работу всегда знала самую тяжелую. Но вот комнату свою она потеряет, через шесть месяцев ее выпишут. Куда она денется после тюрьмы? Найдет работу тяжелее прежней с лимитной пропиской? Так еще возьмут ли ее после заключения, пропишут ли по лимиту?

— Вот и вся жазнь за 98 копеек полетела...

А как она добра, приветлива... Представляю, как она прекрасно ухаживала за больными, и жалею больных, лишившихся ее ухода.

Когда я начинаю есть, она подает мне еду в постель: "Лежи, лежи! Тебе силы беречь надо для этапа". Целый день чистит и моет нашу камеру-палатку: "Раз нам такой дом дали, так пусть хоть в нем чисто будет!"

И зачем она здесь? Но самое страшное и глупое заключается в том, что таких "преступниц" здесь сколько угодно.

Это первая из множества подобных историй.

Вот, например, скандалят две старухи-соседки. Обоим лет под 70. Обе давным-давно вырастили детей и внуков, живут в пригороде. У каждой своя хатка, только забор общий. У этого забора они и встречаются вечерами. Обе выпивают. И вот, выпив каждая свою "маленькую", встречаются, и, как водится, вспоминают свою жизнь. Кончатся эти воспоминания тем, что вдруг одна припоминает другой невозвращенное 15 лет тому назад решето. "От такой и слышу!" Начинается ссора, заканчивается она обычно тем, что старушонки хватают друг друга за волосы. На следующий день одна пишет заявление в милицию, другая этого сделать не догадывается. В один прекрасный день недогадливую старуху сажают на полтора года по 206-ой (хулиганство).

Я ее увидела в Вологодской тюрьме на пересылке. Старуха собирала хлебные корки после обеда и сушила их на батарее. При мне их была у нее уже целая наволочка.

— Работать я не могу, кто ж меня в лагере кормить будет?

Там же, в Вологде, еще одна забавная 206-ая, часть 2-ая.

Пожилая женщина пришла в магазин, подвыпив, и попросила бутылку дешевого вина после 7 часов. Продавец спокойно отпускает водку мужикам, которых в магазине целая толпа, а ей вино продать отказывается, ссылаясь на неурочное время. Разобиженная, она хватает коробку дешевых конфет и запускает ею в продавца. Хулиганство? Несомненно. Вот и вызвать бы милицию, составить акт, оштрафовать... Продавцы поступают иначе. У магазина довольно высокое крыльцо. Они хватают женщину за руки и за ноги и сбрасывают с этого крыльца. Она падает и не поднимается. Покупатели и прохожие видят это и вызывают "Скорую помощь". Только тут перепуганные продавцы вызывают милицию. Слава богу, "Скорая помощь" приходит раньше. Пролом черепа, перелом руки и бедра.

Ну, и милиция свое дело сделала. Был составлен акт о хулиганстве. После двух месяцев больницы ее отдают под суд. Я своими глазами читала в приговоре суда, что "по свидетельству продавцов, обвиняемую никто не избивал, она уже в таком виде пришла в магазин". И вот получила она 2,5 года. В эту историю я бы не поверила,

если бы не читала ее на бумаге. И как это она умудрилась сломанной правой рукой конфеты бросить?

И все-таки я еще плохо разбираюсь в этих людях, чтобы верить им во всех случаях, когда они мне рассказывают о неправых судах. Видимо, мне просто нужно побыть подольше в этой среде, чтобы разобраться, почему добрая треть преступниц таковыми мне не кажутся.

Как узнать сроки этапа

В конце февраля у меня по всему телу пошли черные нарывы. Возможно, это последствия голодовки, возможно — простая простуда: последнюю неделю меня держали в неотопливаемой камере. Батарея испортилась, а чинить почему-то не стали. Я несколько раз обращалась к врачам и сестрам — никакой реакции. А я не могу ни ходить, ни лежать, меня бросает то в жар, то в холод. Наконец, я устраиваю скандал и все-таки добиваюсь вызова врача. "Похоже на язвенный диабет", — заявляет она и исчезает навсегда. Я прошу сестер сделать хотя бы перевязку — глаза в сторону и: "Потом,потом..."

Я задумываюсь, а затем расспрашиваю зечек, не намечается ли на ближайшее время этап. Да, говорят, есть этап 25-ого. Все ясно! Начать лечение — значит задержать меня в Крестах. И тогда я иду на приступ: устраиваю дикий шум и грохот 24 февраля и требую врача. Является.

— Завтра этап. Распорядитесь, чтобы мне наложили повязки и дали антибиотики.

— Какой этап?! — забегала глазками тюремная врачиха. — Никакого этапа завтра не будет.

— По моим данным — будет. Но я не двинусь с места, если вы не сделаете мне все, что требуется.

Обещает и уходит. В течение дня я повторяю свой шум несколько раз. В 12 часов ночи мне накладывают повязки на все нарывы и дают несколько таблеток тетрациклина. В 2 часа ночи ведут на этап.

Все время этапа меня лихорадило. Настоящую медицинскую помощь мне оказали уже на месте. Я боялась заражения крови, но и смеялась над теми, кто так боялся меня, кто так мечтал избавиться от меня любой ценой. А зачем брали?

Этапы большого пути

Я прочла до конца "Архипелаг ГУЛАГ": отбросила книгу с воплем: "Лучше я сама через это пройду, но читать я об этом не стану!"

Книга написана либо для очень сильных людей, либо для очень толстокожих. Я не принадлежу ни к тем, ни к другим, и мне такие вещи читать небезопасно — могу в окошко выпрыгнуть, а могу и за автомат взяться. Особенно страшными мне показались "Столыпины". Кроме того, у меня в душе живет постоянный, ровный и холодный ужас этапа Мандельштама: так ведь никто и не знает, что с ним было, что привело его к гибели.

В Крестах меня готовили к этапу. Рассказали, как нужно обходиться с водой, предупредили, что будут давать селедку, которую нельзя есть ни в коем случае. Я шла спокойно, хотя и прихрамывала из-за моих чертовых нарывов.

Перед отправкой — последний крестовский обыск. Все зеки уже построены в коридоре, томятся, а меня все раздевают-одевают. Заставили размотать бинты, крохоборы! Отобрали все написанное моей рукой, даже черновик кассационной жалобы в Верховный суд. Впрочем, это немудрено, так как она звучит не столько жалобно, сколько изобличающе.

Затем нас погрузили в тюремные машины и повезли на вокзал. Я смотрю в щель "стаканчика", прощаюсь с городом.

Набережная, Литейный мост, Литейный проспект... Мамочки! Жуковская! Мы сворачиваем на Жуковскую и проезжаем мимо моего дома. Я успеваю трижды перекрестить его. Видно, надолго меня увезут, если такое знамение!

Задворки Московского вокзала, автоматчики, собаки — и началось!

Я могу с чистой совестью сказать, что на этапе я не столько страдала, сколько сострадала. Я измучилась, в Воркуту прибыла еле живая, но мне было легче, чем другим. Во-первых, я по природе аскет и могу обходиться довольно долго без питья и еды, могу расслабляться и спать в любом положении. Кондовые этапные пытки на меня не действовали: я почти ничего не ела, пила очень мало воды. У меня была полиэтиленовая банка, которую мне в Крестах раздобыли специально для этапа; если зеки, когда их поили, выпивали за один раз по несколько кружек, то я делала из кружки два-три глотка, наполняла свою банку, а оставшейся в кружке водой нахально умывалась на глазах у обалдевших конвоиров. Если было душно, я дышала через платок, смоченный все той же водой. Если в туалет выводили всего два раза в день — я от этого не страдала. Но я истерзалась, слушая, как здоровенные мужики часами вымаливают глоток воды. Если конвоир был не последней сволочью, я через него

передавала воду больным. Слушать, как плачут мужчины – нет, я этого не люблю!

До сих пор не понимаю, для чего это все?!

Забавно складывались отношения между мною и остальными зеками-мужчинами. Я почти все время была единственной женщиной в вагоне. Сначала – дикие вопли, скопища рож и рук в решетках, пока меня ведут по коридору в последнюю камеру. Мат, всяческие гнусности, оскорбительные комплименты. Я отвечаю полным молчанием. В мою камеру летят записки: соседи проталкивают их в отверстия решетки. К забаве подключаются и конвоиры. ”Я не принимаю записок”, – объявляю я, дождавшись паузы в этом концерте, и притворяюсь спящей. Через час все успокаиваются. Кто-нибудь из конвоиров объявляет: ”Она политическая!” Начинается новый ажиотаж. Теперь мне со всех сторон предлагают помощь, дают советы. Зеки, едущие на поселение, делают заявки на покровительство в будущем. Я смеюсь: какое покровительство? Вы на карачках выползли на поселение через УДО, а я еду в ссылку, успев довести до белого каления зное количество советских опричников. Защита!..

Находятся двое-трое достаточно информированных ребят, завязывается нормальная беседа, и до следующей пересылки – никакого мата! Все довольны. Новая пересылка, новый вагон – все начинается сызнова.

О смерти

На одной из пересылок у меня начинается жар и бред. Мне дают антибиотики, на совесть обрабатывают мои гнойники, но все это мало помогает: вся сопротивляемость ушла на другое. Ночью я плачу под одеялом – это всего второй раз с сентября. Плачу от обиды – уж очень некрасивая смерть, смерть от заражения крови. А ведь это – убийство! Крестовские врачи знали, что делали, когда отправляли меня на этап в таком состоянии.

Раньше я жила в уверенности, что непоправимых бед не бывает. Потом, когда начали умирать мои друзья, я узнала горе, которое уже не поправишь. И вину, которой нет прощения.

Вот Валентин Трунов, талантливый музыкант-самоучка. Он повесился. Несколько лет я его опекала, потом надоело, устала. Может быть, не нужно было его оставлять? Художник, любивший меня, пытался покончить с собой после того, как я отказалась с ним даже встречаться. Его, слава богу, спасли, но грех-то все равно на мне!

А потом смерть пошла косить. В дорожной катастрофе погибает мой друг Юрий Козлов, страшная смерть художника Евгения Рухина. Осенью умерла Татьяна Григорьевна. Панихида в царских конюшнях...

А вот теперь умираю я. Так некрасиво умираю, так далеко от дома... Но ведь это же убийство!

Злость поднимает меня, высушивает слезы.

Выживу.

Деревянное яблоко свободы

“Деревянное яблоко свободы” — это выражение Веры Фигнер. Так она назвала ссылку, о которой столько лет мечтала на каторге.

Воркута встретила меня сорокоградусным морозом, пасмурным небом и метелью.

— Ну вот вы и свободны в пределах Воркуты! — ласково сказал мне мой новый шеф. — Можете идти.

— Куда?

— Куда хотите.

— В Ленинград, что ли? Или на улицу?

— Мы обязаны устроить вас в течение двух недель. А пока уж как-нибудь перекантуетесь, поночуете на вокзале.

— Я, знаете ли, не из тех дам, что ищут ночлега на улице или ночуют на вокзалах.

— Ну что, устроить вас на КПЗ?

— Только попробуйте!

Задумывается.

— Если вы сегодня же не устроите меня, я немедленно еду в Москву к Генеральному прокурору — пусть он сам разбирается с этим делом.

Звонит в гостиницу, с большими уговорами выбивает место.

— Деньги у вас есть?

— Нет, конечно! Мои деньги остались в ленинградской тюрьме. Могу взамен оных предложить вам квитанцию.

— Пишите заявление в райисполком об оказании денежной помощи.

— Что? Я никого ни о чем просить не собираюсь. Вы меня сюда доставили силой, под конвоем — вы обо мне сами и позаботитесь.

Долго-долго думает.

— А от меня лично возьмете в долг 10 рублей?

Тут уже я задумываюсь.

— От вас лично?.. А почему бы и нет? Через два дня отдам.

Беру у него десятку, лечу на почту, телеграфирую домой, а потом еду в гостиницу. Нормальный душ, прекрасный обед, целовечья постель с чистым бельем — и тоска, тоска, тоска...

Как я далеко ото всех!

Что такое — ссылка?

Ссылка — чушь, ссылка — глупость и провокация. Мне ли удержаться на коротком поводке? Вместо борьбы — болото, вместо друзей — окрестность. Я здесь, как мышонок в мокрой вате: и душно, и мокро, и противно. Надзор отвратительно откровенен. Мои первые письма не дошли ни до кого! Нет, лучше уж за колючку. Среди отверженных есть люди, среди посредственностей — навряд ли. Я здесь утону в одиночестве!

В тюрьме, в одиночке, в психушке мне было легче, чем здесь.

И даже леса нет! Кто это придумал — загнать женщину в Заполярье? Волки вы, господа кагебня, дикие и злые волки. Уж лучше лагерь, но в лесу. Здесь люди не живут, здесь зарабатывают деньги или отбывают каторгу.

Время разлук

Моя последняя книга стихов называется "Книга разлук". Боюсь, что и все последующие можно будет назвать так же.

В Ленинграде я горевала оттого, что половина моих друзей уехала на Запад. Уехать самой? Но тогда придется тосковать по оставшейся половине. Господь рассудил просто: теперь я одинаково тоскую и по тем, и по другим. Я больна разлукой, я только об этом и думаю. Но и вся Россия больна разлукой. Больна, больна неизлечимо.

Как все-таки много значили в моей жизни друзья!

Писем все еще нет, а по телефону главного не скажешь...

О тебе

Мы встретились с тобой, как в осажденном городе — во времена репрессий, судов и прочих военных действий, ведущихся государством против инакомыслящих. Интересно, а как бы мы встретились в мирное время — в лесу, на берегу моря, в какой-нибудь деревушке? Узнали бы мы друг друга, заговорили бы?

Я иногда думаю, что бы ты сказал, увидев меня плачущей? В душе я плачу о том, что разучилась плакать. Мои редкие слезы —

это злые, тайные слезы. А так хочется заплакать для кого-то, чтобы утешали, по головке гладили, слезинки оцеловывали... Да где уж! На таком ветру любые слезы высохнут.

Даже тоска по тебе — не печаль, а тоска и ярость. Насколько мысль о тебе постоянно полна нежностью и светом, настолько мысль о тех, кто оторвал тебя от меня — полна гневом.

Воркутинцы

Воркутинцы почти все безобразно толсты ("Эскимос греется изнутри пищей", — сказал один американский этнограф), очень богато и крайне безвкусно одеты, начисто лишены грации и неразвиты духовно. Но все они добры и спокойны, очень приветливы. Слово "ссылная" их не пугает — они всякого нагляделись. В очередях и учреждениях не слышно скандалов, в автобусах никто не переругивается. Воркутинок хорошо кормят — видимо, в этом все и дело. Они озабочены тем, где достать ковер, но они не думают, чем накормить детей. Работать стараются все — уж очень их соблазняют деньги, даже тех, у кого мужа шахтеры. Муж приносит 800 рублей в месяц. В условиях нашей страны это очень много, в условиях Воркуты такие деньги просто некуда девать. И все же воркутинка ищет себе работу, идет на зарплату в 70-80 рублей. Впереди "северные"! Дом заброшен, муж приходит из шахты и сам разогревает себе обед, дети отданы в детский сад. Одна воркутинка поведала мне, как она два года ходила отмечаться на биржу в ожидании работы. Вот вам и безработные!

Воркутинцев я еще не знаю, и представления о них не имею. Могу сказать только, что прелести местных красавиц им, видно, поднадоели. Мне постоянно оказываются неуклюжие знаки внимания. Но, благодарение Богу, после двух-трех ядовитых слов они отскакивают от меня на почтительное расстояние.

Официальные лица ведут себя куда пристойнее, чем в Ленинграде. В них меньше истеричности и административного восторга. Многие добродушны и приветливы. Даже мои шефы. Но это не мешает им перехватывать письма и проводить тайные незаконные обыски. Всюду жизнь.

Но мне понравились редкие коренные жители — коми. Их мало. Они тихи, добры, начисто лишены "хватательного рефлекса", столь развитого в приезжей публике. В них нет даже обиды, чувства оскорбленной национальности. А ведь должно бы быть: целую республику превратить в сплошной лагерь — это ли не преступление?

Коми похожи на слабых детишек в семье нахрапистых объедал. Нужно будет съездить в настоящую комяцкую деревню, ибо чуёт мое сердце — что-то здесь не так! Уж слишком часто встречаются коми, внешне похожие на индейцев. Я тут как-то познакомилась с восемнадцатилетней девочкой-коми, ходившей с отцом на мед-ведя.

Словом, все, что я пишу — это только первые впечатления. Поживем — разглядим!

Одно только твердо: друзья у меня здесь будут. Будут ли единомышленники — вот в чем вопрос.

Жить или выживать?

Я ненавижу слово "выживать". Слишком много подлостей совершено в мире только потому, что люди считали своим высшим долгом элементарное выживание. "Надо выжить!" — говорили они и лизали сапоги своим тюремщикам.

Я чувствую, что жить мне здесь пока нечем — все там, в Петербурге. Воркута проходит мимо моего внимания. Чуть-чуть любопытства — и только. Я вспоминаю странников всех времен и народов, вплоть до Одиссея. Разве они жили во всякой стране и со всяким народом? Нет, они проходили сквозь них, наблюдая, запоминая, движимые своей единственной мыслью, своей идеей. Иногда только тоской по дому:

И скажешь ты случайно: "Боже мой!
На Итаку, на Итаку, домой!"
И станешь повторять ты: "Боже мой,
На Итаку, на Итаку, домой".

Относительная география

"А далеко на севере, в Париже..."

Когда-то эти пушкинские слова из "Дон-Жуана" меня околдовали. Это было фантастично: на севере и вдруг — в Париже. Как-то я писала работу о первом фильме Клода Лелюша. Дошла до эпизода, где героиня тоскует о герое, находящимся в Ницце, и с великим удовольствием написала: "А далеко на севере, в Париже, его ждет женщина..."

Теперь я хожу и твержу: "А далеко на юге, в Ленинграде..."

А Москва в моем представлении и вовсе где-то у самого экватора!

Закливание компаса

Стрелочка, стрелочка!
Покружись, покружись
Да на Юг повернись!

Они думали: "Пусть она заболит".
Они думали: "Пусть ей будет трудно".
А у меня на столе холмик белеет,
А под ним – неотправленных писем трупники.

Стрелочка, стрелочка!
Покружись, покружись,
На бочок не ложись!

Они меня видят, а я никого не вижу.
Они меня слышат, а я никого не слышу.
И никого в целом мире обнять нельзя –
Господи! Где же мои друзья?

Стрелочка, стрелочка,
Стрелочка-невеличка,

В колесе белочка,
В западне птичка!
Покружись, покружись
Да на Жизнь повернись!

А она все к Северу, к Северу...
А душа все по миру, по миру...

Находка

Из сугроба на перекрестке двух улиц лезвием вверх торчал нож. Он сверкал на солнце, он был похож на самолет, вырывающийся вверх из облаков. Я подняла его, подержала на ладони, подышала на лезвие. Сталь не замутилась, как будто ее поднесли к губам мертвеца. Далеко мне лететь до жизни моей...

О расстояниях

Над крышей моего воркутинского дома пролетают самолеты на Москву, пролетают совсем низко.

Самолетик голубой,
Забери меня с собой!

Часа через четыре я могла бы быть на своей Жуковской.

А когда я сидела в Крестах, ты был от меня в двух остановках электрички. "Но стены двойные", — писал ты.

На земле давным-давно не существует никаких расстояний, ни больших, ни малых, а есть только злая воля холодных властолюбцев, делающих непреодолимыми даже самые малые расстояния. Будь их воля, они бы запретили и птичьи перелеты! Да будут они вечно одиноки и нелюбимы — во всей полноте их власти! Пусть их всех ждет смерть Джугашвили — без слез, без людей, без прощания!

Встреча

"Разрываю всем телом аркан государства!"

Я в Ленинграде. Болен младший сын, идет суд над Рыбаковым и Волковым, тоска о тебе перешла границы выносимого — вот сколько причин для побега. Просидела, обнявшись с младшим. Он успокоился и обещал терпеливо ждать каникул, чтобы приехать ко мне. На суд я не пошла — мое появление уже ничего изменить не могло. Олег и Юл действовали так, что возникла мысль о сговоре с ГБ. Вот только в чем он заключался? Я не могла их видеть. А на следующий день меня взяли.

Олег и Юлий

Свирепый демон государственности царит в этом мире и даже делает чудеса. Как они умеют "раскручивать" людей, решившихся на разговор с ними! Юл и Олег хотели заслонить, спасти других и вот...

Нет, с первой секунды и до последней — "ответ один — отказ!"

Многие вступали в игру с ними, но не победил еще никто. Кто-то выиграл толику малых радостей: получил на пару лет меньше, отделался условным сроком, выехал за границу и даже вывез архивы и коллекции картин. Но какой ценой? Кто знает об этом? И кто теперь эти люди?

— Солнце высоко, колодец далеко. Сестрица Аленушка, я напьюсь из коллей?

— Не пей, братец Иванушка — грузовичком станешь!

Друзья, от которых я, как говорят добрые люди, "высокомер-

но отвернулась”, мне дороже братьев. Но видеть их слабыми я не могла и не хотела. Линия их поведения до сих пор мне не ясна, я не понимаю, в чем тут дело. Никому, кроме самих себя, они ни малейшего зла не причинили. Дело пострадало от их слабости — это да. Но люди — нет. А мне всего дороже люди. Они и мне с Натальей помогли отбиться. Может быть, они заслоняли не только нас?

И все-таки я против даже самых выгодных сделок с ГБ! Мне будет трудно забыть эту их слабость. Но жизнь продолжается. 6 и 7 лет лагерей — это страшно. Наши лагеря только называются так невинно, почти по-пионерски. Если называть вещи своими именами, то их отправили на каторгу — так это несколько веков называлось! Но и каторга одних убивает, а других — закаливает. Они обманули мои ожидания во время следствия и на суде, но главное-то — впереди!

И потому я все еще люблю их, как братьев.

Олегу и Юлию

Как молоды вы были, как богаты!
На свет на собственный ловили мотыльков
Коричневых и бабочек рогатых,
И радовались вы, что мир таков.
Но — улучшали. В этом все и дело.
Вино тех дней давно прокисло, но
Я не виню беднягу-винодела.
Лишь об одном жалею: что давно
Когда-то платье длинное надела
И рядом с розами поставила вино.

И волосы красавиц, как траву,
Небрежно вы меж пальцев пропускали,
И грезили о славе наяву,
И мед ломали спелыми кусками,
Вздыхая о старинных мастерах,
И белых птиц писали на стенах.

Под тихий снег бездомными ночами
Безропотно грущу я об одном:
Не о друзьях, не о гнезде родном —
С разлукой нас заране обвенчали,
А дом еще увижу я... Но чьими
Картинами украшу я свой дом?

Вот сколько жизни утекло!
Сквозь разноцветное стекло
Гляжу на Сад воспоминаний,
Туда, где "чисто и светло",
Где деревья летят, как пламя,
Где я летала вместе с вами,
Пока меня не унесло.

Куда река меня уносит?
Душа какого чуда просит?
Рука оставила весло,
Но белый парус над волнами
Летит, как ангел, над словами
"Туда, где чисто и светло" –
В мой сад, блистающий листьями,
Где вас мне встретить повезло.

6 и 7 лет – уму непостижимо! Ущерб – 10 000 рублей. Что за чушь, если для ликвидации лозунгов властям понадобилось всего несколько часов, а самая большая надпись на Петропавловке была сделана на Государевом бастионе, который уже был предназначен к пескоструйной очистке. Теперь они представляют дело так, что чуть ли не из-за надписи началась реставрация стен крепости; на самом деле она началась еще в мае. И ни слова нигде не было сказано о том, какого рода были надписи. Только борзописец Викторов в своей статье "Пачкуны" назвал эти лозунги "сквернословием". Ну что ж, если слова "Партия", "СССР", "КПСС" – сквернословие, то уж я-то спорить с этим не стану!

В 1973 году новгородский житель облил кислотой из огнетушителя фреску Феофана Грека. Ему, видите ли, туристы надоели! Идиотом его не признали. Ущерб был определен в 300-400 рублей. Приговор – два года.

Последовательность и законность нашего судопроизводства умилительны!

Чудо

Сегодня на улице меня окликнули: "Юля!". Гостиничная знакомая. Постояли, потрепались и разошлись. Но какое это чудо – услышать, как тебя окликает знакомый голос!

А мы потеряли еще одного переводимого западного писателя! По сценарию А. Миллера поставлен фильм "Потолок архиепископа". Гвоздь сюжета в том, что в лепном потолке бывшего кабинета архиепископа, а ныне — кабинета героя (чеха или поляка, не помню), спрятано подслушивающее устройство. Герои произносят правверные речи, обращаясь непосредственно к потолку, с глазами, возведенными горе. Это еще семечки!

Я иногда казалась себе подопытной собакой, которую опутали проводами и зондами, а в череп ей понатыкали электродов. Собака пытается жить нормальной собачьей жизнью, а вокруг толпа белоглазых вивисекторов обрабатывает полученные данные: столько раз вздохнула, столько-то выработала желудочного сока, тогда-то уснула, тогда-то проснулась.

Удивительно ли будет, если однажды в бедной собаке проснется волк и бросится на своих мучителей? А ведь таких собак много...

Почтовые радости

Утром я встаю и сразу бегу на почту.

— Вам ничего нет.

Второй раз иду после двенадцати.

— Вам ничего нет.

Третий и последний заход — вечером, перед самым закрытием.

— Я уже говорила, что для вас ничего нет. Что вы бегаеете целый день, работать мешаеете?

Однажды я зашла утром на почту, а потом целый день держала себя на привязи и больше туда не заглядывала.

Прихожу на следующий день утром. Телеграмма! "31 и 1 буду ждать звонка дома. Целую". И подпись. Смотрю на время — телеграмма получена еще вчера днем! И так мне стало жаль себя вчерашнюю, дневную и вечернюю, что я решила плевать на недовольство почтовых девиц и не пропускать больше ни одного захода.

В июне Наташка приезжает свидетелем на мой суд. Готовимся мы к нему, копаясь в моих рукописях. Переписываем эту книгу. Когда я прочла ей эту главу, она схватила письма, с которыми я не расставалась, и, тряся пачкой оных, возмущается: "Мало ей писали? Мало ей писали?!" Гляжу и удивляюсь — а ведь и вправду много!

Страстная неделя

Перед Страстной у меня кончились деньги. Я сказала об этом по телефону друзьям. Но они что-то там замешкались, перепоручили это один другому. Остались у меня только чай и сигареты. И тут я узнаю – Страстная неделя!

Всю неделю постилась и читала Евангелие. Соседки по комнате заметили, что я ничего не ем, и предложили мне денег в долг. Я отказалась и объяснила, почему. Они попросили читать Евангелие вслух. Это было хорошо.

Перед самой пасхой денег прислали много и со всех сторон. И мы справили Пасху. Все было чудесно. Но больше всего я радовалась тому, что мне удалось соблюсти хотя бы неделю поста. Всего неделю, но зато уж полного! А друзья мои расстраивались и никак не могли понять, за что я их благодарю.

Для меня самое страшное в Страстях Христовых – ночь в Гефсиманском саду. "Симон! Ты спишь? Не мог ты один час бодрствовать?"

Я чувствую, что дела у вас плохи, но я почти каждую ночь мысленно кричу тебе: "Почему ты мне не звонил и не пишешь? Посмотри, что со мною сделала тоска! Я слепну, тело мое покрыто отвратительными струпьями. Если бы ты был рядом хоть одну неделю, я бы уже бегала счастливая и здоровая. Не мог ты один час бодрствовать?"

Я жалею, что меня не было в ту ночь в Гефсиманском саду – я бы не уснула! Я и теперь не сплю эту ночь на Страстной – в память о Нем. А у меня какая длинная ночь спящих друзей!

Я потому не плачу,
Что горше слез моих
Раскрытый наудачу
Новозаветный стих.

Я потому прощаю
Изменникам моим,
Что горшие печали
Стояли перед Ним.

Как Он рыдал когда-то,
Две тыщи лет назад!..

Спит, тишиной объятый,
Мой Гефсиманский сад.

Ни шороха, ни ветра
В сугробах февраля.
Лишь редко вздрогнет ветка
Под лапой снегиря.

Я отворю калитку,
Войду в его покой.
Озябшую молитву
Согрею под рукой.

Легка печаль простая
С глазами в облака:
Тот, кто меня оставит,
Не приходил пока.

Весна в Воркуте

В конце апреля солнце стало пригревать. Весна? С крыш, карнизов и балконов закапало. Начали таять великолепные, огромные воркутинские сугробы, эти горы и пригорки, по которым так весело бегали дети и беспризорные собаки. И вдруг стало видно, что никакие это не сугробы, а просто гигантские помойки. Некоторые достигали второго этажа.

Через несколько дней вновь ударил мороз, налетела метель. Снег опять запорошил помойки самым приятным для глаз образом. Теперь я уже знаю, что скрывается под этим пушистым снежком, и старательно обхожу все возвышенности. Но, увы, это почти невозможно, ибо невозмутимые воркутинцы протаптывают тропинки напрямик, по сугробам и по помойкам.

Вот теперь мне понятно, почему в шикарных приемных воркутинского "верхнева" начальства по персидским коврам бегают тараканы.

Наташка уехала...

"Пришла, развесилась,
клоками повисла
на ветвях дубов".

Воркуту замело майским снегом. Где-то скрипит, затворяясь за тобой, еще одна дверь. Тянет впасть в новую спячку – Наташка уехала! Больше мне ничего не покажут.

Приехала она, нашумела, упустила часть привезенных бумаг в мелкий омут местной кагебни, растормошила меня, закармила икрой – чушь какая-то. Но зато привела ко мне друга – Женю Пашнина. Столько лет ходили к нему, а теперь вот он ко мне ходит, передачи в больницу носит. Принес лекарство для глаз: альбомы Модильяни, Шагала, Лотрека, Пикассо.

А Наташка все равно уехала!

Еще один подарок правосудия

Я давно уже заметила, что перестала видеть в сумерках. Сегодня проверила зрение – 0,07 оба глаза. Неужели это так серьезно? А как же путешествия, отложенные на старость? "Увижу ли Бразилию до старости моей?" Ведь этак и Мордовии не увидишь! Обидно.

"Если можно, пронеси чашу сию мимо меня! Но не как хочу, а как хочешь Ты".

Город ледяного дьявола

В Воркуте нет ни одной церкви! Ни одной!

Этот город построен по черному замыслу и на крови. Жизни здесь никогда не будет. Недаром здесь не хватает больниц и врачей. А стоит человеку уйти отсюда на год – город развалится, сгинет, а через пять лет уйдет в небытие. Нужны ли такие города? Уголь? Пожалуйста, добывайте уголь, но зачем заставлять людей обживать необживаемое, неживое? Дети болеют, женщины некрасивы и рано старятся, мужчины выглядят переодетыми каторжниками. И все считают деньги! Каждый семилетний воркутинец знает, сколько стоит цветной телевизор!

И вновь закрытые двери...

Псориаз начался у меня еще в тюрьме. Врачи очень хорошо знали, что север мне противопоказан, но я уже писала о том, что такое тюремные врачи. В Воркуте псориаз меня истерзал. И форма очень противная – эксудативная. Впервые он покрыл меня всю, до ступней ног. По утрам я не могу встать на ноги до тех пор, пока не размочу все корки в горячей воде. Хожу и вспоминаю бедную

Русалочку – ”будешь ходить по ножам и бритвам...” Болит и все тело. За что это мне?

Когда в 68-ом году у меня начался псориаз, я не роптала: я считала, что несу свою долю наказания за чехословацкие события. А за что теперь? Пытаюсь объяснить это так: судьба решила сконцентрировать все беды, выпадающие на долю жертвы судебной расправы, чтобы я сразу всему научилась и все выдержала. Ну что ж, объяснение это ничуть не хуже любого другого. Но сомневаюсь, чтобы меня можно было сломить духовно через физические страдания, уж извините! Мы, бабы, народ выносливый!

Но почему ты мне не звонишь и не пишешь? Забыл? Нет. Беда? Но какая? От кого я узнаю, где ты и что с тобой?

Единственное письмо зачитано так, что я без страха оставляю его в комнате, когда ухожу: ни один чекист не разберет!

Не вижу снов, не вижу лиц,
Свернулось в кулачок пространство.
Так далеко от двух столиц
Метель играет постоянно!

Как будто кокон надувной
Или яйцо, лежит больница.
В сугробы выронила птица
Ее и плачет надо мной.

В желтке больничного яйца
Дремлю. Никто меня не будит.
Глаза разлив на пол-лица,
Гадаю: будет иль не будет?

Давно спуститься вам пора
В чистилище мое простое,
Где я, как ангел на простое –
Живу без крыльев и добра.

Флейтистка вылупится к лету –
Легка, светла, полуодета,
Касаясь тундровой травы,
Взлетит и скажет: ”Это Вы?”

Я довольно долго маялась с направлением в больницу – все не было мест. Уже всем позвонила, со всеми простилась, просила писать почаще. И вот я в больнице. Это здание барачного типа, насквозь прогнившее. Все трубы протекают, батареи не греют, двери в палатах не закрываются. Но зато двери на улицу почти всегда на запоре: половину больницы занимают венерические больные.

Первые ночи в больнице я почти не сплю, хотя мне сразу стали давать снотворное. По ночам я ухожу в ванную и там курю. Туда приходят крысы на водопой. Я их не боюсь, а с одной даже познакомилась. Я зову ее Норой, Норкой, Норочкой.

А вот врачи в этом сарае ничуть не хуже ленинградских. Лечат вполне добросовестно. Я изо всех сил буду стараться поскорее избавиться от псориаза, чтобы не оттягивать нового суда. Скоро лето, пора в лагерь!

Что могут двое?

Теперь у меня есть друг, такой же ссыльный, 19 лет лагерей и тюрем, дважды – Владимирский Централ. Кавалер ордена Св. Владимира II степени, Евгений Пащнин. Он пишет хорошую, честную прозу. Я уже полгода не читала никого, кроме себя, а этот автор мне уже изрядно поднадоел. Женя добр, благороден, весел, щедр на хорошее. Он приносит мне все письма от своих друзей. Мне немного завидно – мои-то пишут так редко! Но я радуюсь за него и жадно глотаю информацию. А какие книги приносит мне Женя в больницу! Какие журналы! Даже приемник принес. Но... Время разлук, время разлук! Значит, скоро с Женей расстанемся. А как жаль: ведь мы бы многое могли сделать вдвоем, тем более, что у меня-то уже есть круг друзей, разделяющих мои убеждения. Что могут двое? Многое. И первое – поддержать друг друга. Букет сирени на тумбочке – три дня хорошего настроения.

Е. Пащнину

Чем поделюсь с тобой? Легка
Изгнанническая котомка.
Чужого снега белизна
Болезненна и монотонна;

И ослепительно горька
На нем тропа Кассандры русской.
И нет ни птицы, ни зверька,
Чтоб покормить с ладони узкой.

Воспоминания

Чем можно заниматься в больнице, если глаза устают от чтения уже через час? Писать легче: я не читаю того, что пишу. Перечитываю потом, специально. Стихи не пишутся — больна. И вот я начинаю вспоминать все-все-все. Боже мой добрый! Как прекрасна была наша жизнь, как мы умели жить! А ведь и впереди все то же, черт меня возьми!

.....

Я не люблю зиму, зимой я сплю, как дерево. И зима, как бы в отместку, почти не оставила мне воспоминаний.

Вот разве первая зима на Свири. Мы живем в бывшем купеческом доме, на втором этаже. Какие чудесные были утра! В большой печке трещат дрова. На ковре младший сын возится с Дозором, рыжим приبلудным псом. В окнах сплошное кружево заиндевелых деревьев — мы даже занавесок не заводили — а за ними белая широкая полоса Свири и черный лес на том берегу. И солнце, солнце, солнце! Почему меня не сослали в какое-нибудь такое же место? Я так соскучилась по деревьям.

.....

Дождь в Ириновке. Я собираю вишни с самого большого из матушкиных деревьев. Дождь теплый, но так и лупит по вишням, по рукам, по листьям. Ягоды я отвезу Олегу, Юлу и Наташке. Подставляю лицо дождю, срываю ягоды губами, смеюсь сама с собой и знаю, что этот дождь среди вишен не забудется. Вот и не забыла. Но ягоды — к слезам!

.....

Мне не нравится дом Юла — холод напоказ. Он звонит и просит срочно приехать. Еду с досадой, приезжаю хмурая. Разговор, очень важный, от которого, кстати, многое зависит в будущем следствии по делу № 62, не получается, не клеится. Я решительно встаю и ухожу. А по улице летит навстречу сильнейший ветер с залива.

Я останавливаюсь, задыхаюсь в восторге — люблю ветер! Тут и Юл догоняет меня, и мы едем в центр. Там уже нет этого пиратского ветра с залива, да он и не нужен больше: мы уже помирились, бродим взявшись за руки по набережным, и разговор наш, очень важный, идет легко, мы друг друга понимаем с полуслова. О чем тогда договорились, на том я стою до сих пор. А ты, Юл? А когда-то я писала: "Нас только двое на этой пустынной дороге", — и это казалось правдой.

.....

Высокий ириновский туман клубится в вершинах старого парка. Мы стоим на обрыве, но туман поднялся и сюда. Стволы едва-едва проступают сквозь серебристое молоко. Султаны иванчая, влажные и тяжелые, качаются возле самого лица. Тебя я не вижу совсем, только глаза — темнеют и приближаются.

Запрокинутой голове
Было зелено на траве,
Было зелено, было молодо...
А теперь мне бело и холодно.

.....

На песчаном берегу я играю с сыновьями в индейцев. Мы бросаем дротики из тростника, прыгаем через костер, с дикими криками догоняем друг друга и боремся. Мои друзья, которые все моложе меня, с завистью глядят на нас.

Сыновий лес на берегу, белый песок, белые барашки, синяя вода, синее небо. Свобода! Вот физически ее еще можно почувствовать в редкие минуты счастья в этой стране.

.....

Я веду тебя на могилу моего друга, погибшего в прошлом году: ты должен сделать эскиз надписи на камне. Памятника еще нет. Холмик в цветах и деревянный крест над ним. Я сажусь в траву по одну сторону могилы, ты — по другую. Молчим. Это тихое деревенское кладбище, полное деревьев, цветов и птиц.

С криком пролетает над нашими головами ворона и роняет перо. Оно, кружась по спирали, опускается вниз и падает возле тебя. Ты поднимаешь его и протягиваешь мне над могилой. Я вставляю перо в волосы, мы поднимаемся и уходим. Нас ждут друзья.

.....

Утром расцвел клен, а к вечеру пошел снег. Падает и застре-
вает в желто-зеленых зонтиках. Взбитые сливки в золотых бокаль-
чиках, золушкин бал.

Звонил муж и сказал, что клен уже снова цветет. "Как же
это — без меня?"

.....

Однажды в Ириновке мне очень захотелось, чтобы ты приехал.
Я шла по дороге под гору. Вдруг мимо меня проехала изукрашен-
ная машина — цветы, шарики, куколки. Свадьба. "Хочу красный
шарик и хочу, чтобы ты приехал", — подумала я. В ту же секунду
от машины оторвался красный шарик и полетел назад, прямо ко
мне в руки.

Дома я не отдала шарик детям, а привязала его к раме окна и
все на него поглядывала. Когда через час я увидела в окне тебя,
идущего по тропинке к нашему саду, я ничуть не удивилась.

.....

Однажды мы должны были доставить Б. один важный доку-
мент. Нас "пасли" от самого дома. Восемь часов мы уходили от
преследователей, дважды возвращались в центр города почти от
самого дома Б., живущего на окраине.

На Сенной мы почувствовали себя "чистенькими". Но не хоте-
лось рисковать важной бумагой (Ох! Документ в защиту Трифо-
нова!), и мы решили побродить по старым улицам, по Екатеринин-
скому каналу.

— Давай зайдем к Раскольникову! — предложил ты. — А вдруг
сегодня дверь окажется открытой?

Все знают эту "дверь в каморку Раскольникова", но она всегда
заперта и мало кто верит, что за ней действительно была комната,
а не обыкновенный чердак.

Подошли мы к дому Раскольникова и видим: он поставлен
на ремонт. Окна заколочены, ворота закрыты на цепь с большим
замком. Ты подошел, потрогал цепь, толкнул ворота — и они мед-
ленно отворились: замок не захватил одной из половин. Мы вошли
во двор, свернули к заветной лестнице. С тайным предчувствием
чуда поднялись к чердачной двери. Остановились.

— Ну? — сказал ты.

Я тронула дверь, и... она распахнулась!

За дверью сияло солнце. Из-под наших ног с писком взлетела стая голубей и закружилась над нами.

От дверей прямоугольником лежали толстые почерневшие доски. На правой половине они были стоптаны наполовину. Значит, здесь все-таки была комната! На правой стороне – остатки стены, на левой – развалины печки. Дом начали разбирать, сняли крышу – вот откуда солнце в каморке Раскольниковова!

Когда мы уходили, ты вдруг остановил меня за руку и показал глазами на край чердака: вся крыша была по периметру обтянута веревкой с красными флажками. Облава!

На следующий день арестовали Трифонова, а там пошло и пошло!..

Под тихую музыку

Совсем молодая девушка, осмелившаяся не скрывать своей дружбы со мной, сразу же оказалась в центре внимания моих мелких надзирателей: на нее донесла комендант общежития Айна Яновна Лубганц. Беднягу подвергли незаконному обыску, а затем вышвырнули из общежития на улицу. Я в это время уже давно лежала в больнице и могла помочь ей только советами. Пошла моя Галина по инстанциям: к начальнику паспортного стола, к начальнику милиции, в городской отдел КГБ. "На каком основании меня выгнали на улицу?" – спрашивает. Никакого ответа, никто ничего не знает. Вернее, все знают, что прописать назад нельзя, а вот почему – никто толком объяснить не может. Игрет тихая музыка КГБ, все под нее пляшут кто во что горазд. Еще противнее, когда в этой тайной вакханалии беззакония участвуют женщины.

Я отпросилась на день из больницы и пообещала этой Айне Яновне разрешить вопрос с Галкиной пропиской, а заодно и с незаконным обыском, через генерального прокурора. Сама Галка тоже многое обещала. Прописали – но в другое общежитие. По соседству с Женей Пашниным...

Почтовые горести

У Жени тоже пропадает половина писем. Мы думаем, что это проделки местной кагебни. Я теперь посылаю ценные письма с уведомлением о вручении. Приходят очень миленькие уведомления: "Письма имеются в наличии... в почтовом отделении такого-то". А зачем мне их наличие в таком-то? Мне нужно, чтоб они были в наличии у моих друзей. Вот выйду из больницы и начну

их трясти. Сколько было горя и обид из-за пропавших моих грамот! И ведь воруют все подряд, даже мою, простите, любовную переписку! Ох, и крохоборы...

Опять "ехать – не ехать"!

И до сих пор я все спрашиваю себя, уеду ли я на Запад после ссылки? Теперь, когда мне грозит год заключения в лагере, а затем отбывание ссылки заново, получается, что я освобожусь вместе с последним из наших – с Олегом Волковым, которому осталось сидеть 6 лет и 3 месяца. Тогда я уже вправе буду думать об эмиграции.

Свободы хочу до смертной тоски. Очень хочу родить еще одного сына и вырастить его в свободном мире. Годы и силы еще позволяют об этом мечтать. Пугает другое: никто из наших еще оттуда не возвращался. А вдруг я в Париже затоскую по Летнему саду так же, как тоскую здесь, в Воркуте? Отсюда я могу вернуться, в крайнем случае, сбежать. Но и здесь ностальгия тяжела: говорят-то не по-русски, а по-советски. Одни воспоминания остались!

Я в Вандомском лесу
Пил березовый сок.

Хотя бы на час попасть на Жуковскую. Да что там – на Сенатскую, к Петропавловке, на Литейный, черт побери!

Но вот я слепну. Так что же, так я никогда и не увижу Больших бульваров, не увижу Афин и Рима? Если через шесть лет я ослепну совсем – а ведь ослепну в этих краях, непременно ослепну, чтоб только не видеть этих лиц! – куда же мне тогда ехать? Все так еще неясно...

Россия, Лета... лотерея!
Родина, свобода, счастье, честь.
Половина там, половина – здесь.

Ленинград – Воркута 1976-1977

О Юлии Вознесенской.

Ленинградская поэтесса, 38 лет. Мать двоих детей. Ученица Т. Гнедич. Участвовала в организации выставок нон-конформистских художников, в создании литературно-художественных поэтических сборников "Леита", в проекте альманаха "К/Д" ("Крас-

ный диссидент”). Была арестована вместе с ленинградскими художниками за надписи-лозунги на стенах. Но позднее ее выделили из их дела в отдельное производство и осудили к 4-м годам ссылки (в г. Воркуту). Во время суда над художниками покинула место ссылки и, приехав в Ленинград, была арестована и вскоре осуждена на два года лагерей.

Конец срока июнь 1979 г.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАМЕТКИ

В. ГЕРШУНИ

ЮБИЛЕЙ ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ

Долгим оказался бы перечень тех творений русской словесности, которые достойны юбилейных чествований, от летописей, "Слова о полку Игореве" и др., с которыми связаны хоть какие-то даты – время написания, время обнаружения, первой записи, первой публикации и др. Так, например, трудно установить время появления песни "Вдоль по улице метелица метет", но известен год, когда ее записал Владимир Даль. "Народные русские сказки", изданные А. Афанасьевым, читают уже второе столетие. В этом году исполняется 115 лет со времени выхода последнего из восьми выпусков "Сказок" и 115 лет первого тома Далева словаря – дата не очень-то круглая, но зато она совпадает с выходом того же первого тома, обещанного в нынешнем году. Это уже 8-е издание "Толкового словаря", включая стереотипные. Тираж семи изданий не превысил 200 тысяч – за 115 лет! Таково отечественное радение о книге, ставшей райским пиршеством для всех, говорящих по-русски. Кстати, у словаря Даля, как и у самого составителя, есть своя биография, полная приключений (к разговору о словаре мы вернемся после выхода первого тома), и я бы высказался за то, чтобы отмечались юбилеи первого слова, записанного 17-ти летним Далем в мартовский день 1819 г. у станции Зимогорский Ям. Ведь с этого слова – "замолаживает" – начинается и

биография Даля — словопроходца, и история его словаря.

Мы надеемся на скорое переиздание сборника Даля "Пословицы русского народа", и надеемся также, что он появится уже без предисловия Шолохова. Между прочим, для будущих юбилеев "Тихого Дона" нам еще предстоит уточнить датировку его первоначального текста, когда он будет восстановлен.

Итак, собрания сокровищ народного словотворчества, народной мудрости и фантазии, лирики и юмора объединили творения, рождавшиеся в течение многих веков, и у нас есть повод хотя бы раз в четверть столетия возвращаться к большому и обстоятельному разговору о них, используя традиционные юбилейные сроки — 100 лет, 125, 150, 175 и т. д.

Я не буду говорить о классике. Знающие нашу литературу знают и ее хронологию, поэтому не только, скажем, для каждой главы "Онегина" и для любого стихотворения Пушкина самой их датировкой определены их юбилеи, но даже для многих изречений, острот, крылатых фраз — ведь и они относятся к нашей словесности.

Так в прошлом году я отмечал 150-тилетие остроты П. А. Вяземского, живущей и сегодня — "квасной патриотизм", и 150-тилетие стихотворения Евдокии Ростопчиной "Послание к страдальцам".

Пусть кому-то покажется все это смешным, но едва ли покажется тем, кто помнит время первых всплесков самиздата *) или октябрь 1958 г., когда из газетной брани советская публика узнала о существовании романа "Доктор Живаго", за который, как это было представлено нашей прессой, автору присуждена Нобелевская премия, и она лишь накалила интерес к роману, т. к. все знали, что эта премия не дается за одну только тенденциозность и тем более за сенсационность обстановки вокруг имени автора. Когда я впервые получил роман для прочтения, я распаковал его дома с тем же чувством, как в пору голодного детства пришлось однажды открывать коробку с тортом. Хотелось обойти всех голодных приятелей и раздать по кусочку, но дело происходило дома, и съели мы торт впятером. Так и "Живаго" хотелось нести по всем знако-

*) Я имею ввиду массовый самиздат последних 20-ти лет, включая период, когда он уже работал под этим именем, придуманным, насколько известно, Николаем Глазковым. Вообще же самиздат — бесцензурная нетипографская литература — существует со времени возникновения письменности, а вольное слово — с той эпохи, когда человек начал говорить. Это общеизвестно.

мым, и я понес, не успев даже дочитать с первого захода. Среди прочитавших были и Аркадий Белинков, и некоторые рабочие того СМУ, где я тогда слесарил. А еще раньше я им давал "Не хлебом единым" — это был 1959 г., и именно дни III съезда писателей, на котором Хрущев уверял, что по прошествии 3 лет после появления этой книги она уже никому не нужна. "Кто ее сейчас читает?" — громыхал ведущий мэтр соцреализма, а в это самое время наши рабочие читали эту "забытую" книгу в три смены: кто из ночной смены — читал днем, кто после дневной — читал вечером, а кто из вечерней — читал ночью. А что уж говорить о чтении самиздата!

Как же не вспомнить об этих романах, когда наступает какая-то их годовщина? В нынешнем году, например, едва наступит Октябрь, я отпраздную 20-летие "Доктора Живаго". Написано он раньше, но всенародная известность его началась именно с нобелианы Пастернака.

Любопытное примечание: среди матерых книжников я узнал, что существуют рыночные цены не только на книги, но и на "прокатное" время пользования недоступными книгами. За чтение "Доктора Живаго" брали, кажется, 30 руб., а бывало, вроде бы, и 50 — цены колебались. Напомню, что после ареста Радищева и уничтожения остатков тиража "Путешествия" оставшиеся единичные экземпляры тоже давались читать за плату. Гостиннодворские купцы платили по 25 руб. за час чтения! Спросите у экономистов-историков, что представляла собой эта сумма в 90-е годы ХУШ века.

* * *

Если бы я знал о подготовке первого номера нашего московского самиздатского журнала, я бы тогда и написал эти заметки, чтобы не отрываться от юбилейного года, поскольку речь идет о стихотворении гр. Ростопчиной, написанном в 1827 г. Но и сейчас только еще январь. И, наверное, такие задержки допустимы.

* * *

Е. П. РОСТОПЧИНА

ПОСЛАНИЕ К СТРАДАЛЬЦАМ

Соотчичи мои, заступники свободы, —
О, вы, изгнанники за правду и закон, —
Нет, вас не оскорбят проклятием народы,
Вы не услышите укор земных племен
Удел ваш — не позор, но — слава, уваженье,
Благословения правдивых сограждан,
Спокойной совести, Европы одобренье,
И благодарный храм от будущих славян!
Хоть вам не удалось исполнить подвиг мести
И рабства иго снять с России молодой,
Но вы страдаете для родины и чести,
И мы признания вам платим долг святой.
Ах! Может быть, меж вас, в степях Сибири диких,
Увяли многие безвременно в цепях...
И воздух ссылочный, сей яд для душ великих,
Убил цвет бытия в стесненных их сердцах...
Ни эпитафии, ни пышность мавзолеев
Их прах страдальческий, их память не почтут,
Загробная вражда могучих их злодеев
Украсить нам не даст последний их приют.

Но да утешатся священные их тени!!
Их памятник, — в сердцах отечества сынов,
В неподкупных хвалах высоких песнопений,
В молитве праведных, в почтенье всех веков!
Мир гробу их!! ...А вы, сподвижники несчастных,
Несите с мужеством ярмо судеб крутых;
Быть может, вам не век в плену, в горах ужасных,
Терпеть ругательства гонителей своих...
Быть может ... вам и нам ударит час блаженный
Паденья варварства, деспотства и царей,
И нам торжествовать придется мир священный
Спасенья россиян и мщенья за друзей!
Тогда дойдут до вас восторженные клики
России, вспрыгнувшей от рабственного сна,
Тогда вам явится, окончив бой великий,
Младых сообщников венчанная толпа;
Тогда в честь падших жертв, жертв чистых, благородных
Мы тризну братскую достойно совершим,
И слезы сограждан ликующих, свободных
Наградой славною да будут вечно им!...

1827

* * *

Евдокия Петровна Сушкова, в замужестве графиня Ростопчина, росла в богатой семье. Ее первое стихотворение опубликовал без ее ведома П. А. Вяземский, оно было встречено одобрением Пушкина и Жуковского. Критика расточала похвалы молодой поэтессе, имя ее обрело широкую известность. Лермонтов посвятил ей известное послание. Стихотворение "Послание к страдальцам" Ростопчина написала в 15-тилетнем возрасте; тогда стихи юной поэтессы распространялись в списках и о них потом вспоминал Огарев:

Не помню — слог стихотворений
Хорош ли, не хорош ли был,
Но их свободы гордый гений
Своим наитьем освятил.

В 1846 г. Ростопчина обратилась к мятежной польше с аллегорической балладой "Насильный брак". Она вызвала негодование Николая I.

Мужественные стихи русской поэтессы писались не в либеральные александровские времена, не в пору пушкинской "Вольности", а в "моровую полосу". Я напомнил о "Послании к страдальцам" не только ради его юбилея, но также для того, чтобы поставить в пример 15-тилетнюю дворянку многим нынешним "либеральным" и "радикальным" поэтам, в том числе и самиздатчикам, чья муза пребывает в полнейшем забвении тех, кто гибнет в застенках, если сами поэты еще и помнят о них. Я уж не повторяюсь о людоедском выступлении на XXIII съезде КПСС члена ее ЦК Шолохова — идеологического Малюты Скуратова. Но вот Евтушенко некогда писал, когда это не было столь опасно, что если, мол, идет на бой за правду бесталанность, — "талантливость, мне стыдно за тебя". Но ни он, ни другие претенденты на звание талантливых воителей — Рождественский, Ахмадулина, Вознесенский и пр. до сих пор не поднялись до гражданского уровня, заданного 150 лет назад дворянской девушкой-подростком. Они, возможно, повторят ее подвиг когда-нибудь в "Вознесенье, когда будет оно в воскресенье". Я не знаю также, писал ли в лагеря и желтые тюрьмы что-нибудь подобное "Посланию" Ростопчиной, хотя бы один поэт из числа борющихся, даже из тех, что сами там побывали. Хотя бы из эмиграции, где явно ничто не угрожает.

Этим воителям из "Русского Парижа" (так была названа хвастливая передача о них в программе "Голоса Америки", ими же, наверное, и составленная — 7 и 8 июня 1977 г.) будет посвящена в следующем номере журнала лекция о втором юбилеяре — об остроте Вяземского.

ПЕРЕКРЕСТОК

М. ГЕФТЕР

ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД?

Заметки в связи с проектом новой конституции

В в е д е н и е

Но еще бездействен ропот
Огорченной твоей души.
Приобщая к опыту опыт,
Час мой, дело свое верши.

А. Твардовский. 1970

Когда я начал писать свои заметки, задача представлялась мне сравнительно ограниченной. Правда, появление конституционного проекта не было ни единственной, ни даже главной причиной, побудившей взяться за перо, но оно и не было только поводом. Скорее, это повод, предельно заостривший причину — давнюю и даже застарелую. "Бездейственность ропота" — вот что озадачивает и тревожит. Бездейственность — в смысле приложимости его к делу, действительно способному вывести из нынешнего тупика. Осмелюсь предположить, что эта ситуация не только моя: существует, как видно, множество разновидностей этого недуга — весьма современного, хотя в его анамнезе по меньшей мере полтора столетия отечественной истории, и никто еще не доказал, что болезнь

эта только русская, напротив, все — и все чаще, все больше — говорит в пользу обратного. Такое, разумеется, не утешает, наоборот, усложняет любую задачу, какую ставишь перед собой. Потребность "высказаться" наталкивается сегодня на почти непреодолимую преграду: каждая частная, *будто* частная тема стихийно перерастает в самую общую, подстрекая дойти до корня, добраться до дна, и тогда начинает обнаруживаться глубь, которую трудно не только осилить, но даже измерить.

В какой-то точке вся коллизия переворачивается, чтобы затем вновь вернуться к первоначальной. Ищешь смысл, охватывающий, как и полагается смыслу, Мир ближний и дальний, а упираешься в обстоятельства, будничная проза которых заставляет усомниться в существовании всякого смысла. Пытаешься пробить хотя бы маленькую брешь в этих обстоятельствах, — и упираешься в смысл, приходишь к вопросам, на которые нет (пока?) ответа.

И как это ни странно на первый взгляд, ничто, пожалуй, не могло бы сейчас очертить с большей рельефностью эту коллизию, чем проект нашей новой Конституции. Разумеется, он мог появиться и полтора десятилетия назад, а мог бы и позже 1977-го. Но он появился все-таки в свое время. В нем даже скрыто нечто, инстинктивно опережающее ход событий — движение времени. И этому отнюдь не противоречат обстоятельства, по всей вероятности, заставившие его авторов торопиться, — обстоятельства, непосредственный рисунок которых как будто в разительном контрасте с серьезностью намерения: заново сформулировать основной закон государства и даже "Основной закон нашей жизни" (как определила его цель и — тем самым — характер обсуждения "Правда", под таким заголовком печатающая отобранные отклики).

Об этих свежих обстоятельствах мы вправе высказать лишь догадки. Можно допустить, что в их числе — Белград, а также новая администрация в Вашингтоне, словесная дуэль вокруг проблемы прав человека и желание обрести более твердую, постоянную почву для искоренения диссидентства. Не только это, однако, и это — не исключено, что оно-то раньше всего другого призвало к "всенародному референдуму" в летнее время, когда у одних отпуск, у других — страда. Впрочем, что бы изменилось, если б обсуждение было назначено на осень или зиму?! Но раз так, стоит ли включаться в разговор, подлинные сюжеты которого вне его, и тем более искать глубину под такой поверхностью?

Не стану оспаривать практический вывод: включаться, вероятнее всего, не стоит. Однако глубина здесь есть, хотя и не различ-

мая сразу. (Мы легко раздаем эпитет "исторический", когда имеем дело с событиями и судьбами, отстоящими на десятилетия, а еще лучше на века, но то, что рядом, что персонифицировано в таких же, как мы, в *почти* таких, трудно воспринимается, как переломное, пороговое, пограничное. Задним числом оно, конечно, займет свое место, но вот вопрос — вправе ли мы, нынешние, препоручать это завтрашнему историографу?). Ведь если ограничиться даже одной "конъюнктурой", если не идти дальше некоторых из предполагаемых мотивов, заставивших поспешить с новой Конституцией, если только задуматься над природой несоответствия: между текуще-громким, столь преходящим, как чья-либо пресс-конференция, интервью, заявление, телеречь, и тем, что рассчитано на годы-десятилетия, — если поразиться виду весов, на одной чаше которых сверхдержава, а на другой — "просто" человек, и если в этом качестве, в этом положении оказывается человек, которому, соответственно былым заслугам и наградам числиться бы национальной гордостью, неотъемлемой от сверхдержавы, то и тут — разве не глубина? Разве добровольностью удела и деятельности, избранных просто человеком, как и несовместимостью и этой деятельности, и этого удела — с господствующим и общепринятым, не подчеркивается с силой, перекрывающей обычные, расхожие слова, что мы *все* находимся в положении, когда нельзя больше ни молчать, ни бездействовать, скрывать свои мысли и откладывать диктуемые ими поступки, и когда все менее и менее ясно: каким образом действовать и *во имя чего*, то есть — какую не промежуточную, близлежащую задачу, а дальнюю и общую цель преследовать?

Есть ли она — и дальняя, и общая? Есть ли она — цель?

Сегодня уклониться от этого "сюжета" равносильно тому, чтобы признать себя побежденным. Я понимаю, что такое заявление по меньшей мере неосмотрительно, не говоря уже о том, что крайне неясно в отношении адресата. Если есть побежденные, то должны быть и победители. Где ж они? Где они у нас? Даже те, в чьих руках все средства пресечения, даже они как будто не чувствуют себя победившими. Да и кого "им" *побеждать*? Само слово это содержит подозрительный, даже крамольный намек, поскольку (неявным образом) отводит "инакому" роль стороны в духовном поединке, предполагая необходимость и возможность такого *спора* в заведомо бесспорной ситуации с раз навсегда определенной связью, последовательностью и очередностью: прошлого-настоящего-будущего... Но считает ли себя *стороной* инакомыслие, шире

(точнее): разномыслие, — оно считает ли себя стороной спора — о смысле и цели?

И есть ли нужда в этом споре? При наших-то обстоятельствах кому без него "ни шагу"? И не жаждут ли его лишь домашние затворники, бесконечно ищущие и что-то, видно, навсегда потерявшие? Конечно, и люди дела, заинтересованные в переменах, и те, кто вхож в коридоры или закоулки власти, кому сдается, что довольно толики доброго желания ("там") и умной подсказки вовремя, чтобы все, правда не сразу, но непременно и уже своим ходом наладилось, устроилось, — и эти наши реалисты, среди которых, кстати, не одни самодовольные, с румянцем успеха на щеках, и они ведь не чужды цели, и они тоже подумывают о смысле. "Однако, спорить — сейчас — об этом, домогаться публичности *этого* спора, связывать действие (неотложное!) отысканием — заново! — смысла, смысла как такового — ну, не прихоть ли, не расточительство ли?" Чем опровергнуть упрек и иронию реалиста, и есть ли такие доводы у затворников, у доискивающихся? Когда туго им приходится, на что и на кого втайне надеются, как не на реалистов же: может им и удастся что-то сделать, хоть на вершок, но стронуть с места?!.. К тому же реалист наш не односторонен, напротив, он знает пользу дискуссий и круглых столов, он даже за соревнование концепций и проектов, он даже за плюрализм... но не без берегов же, не без разумных ограничений!

И здесь у него, реалиста, то неоспоримое преимущество, что он в ногу с веком, что он — поборник трезвости и расчета, — прочно стоит, — и на трех китах сразу.

Один — *наука*, современная, с математическим аппаратом, эконометрикой, компьютерами и АСУ, а другой — *современный социализм*: "научный" и "реальный", — правда, первое со вторым не вполне совпадает и не только по той причине, что реальность всегда отличается даже от самых мудрых и осмотрительных предначертаний, но также и по другим, совсем разным причинам, почти космическим по своей величине и неподатливости (века истории!) — и житейским, хотя также трудно поддающимся учету и прогнозу (персоны у власти и отношения между ними, от которых столь многое, едва ли не все у нас зависит), — но, хоть и не совпадает "научный" с "реальным", реалист наш знает, что это один, все тот же один кит: устой, который ничем не заменишь, если, конечно, оставаться в границах допустимого и достижимого, не вступая в опасные игры, где на карту ставятся не только результаты целой эпохи, но и существование, *существование как таковое* (вот он —

смысл как таковой!). И потому-то необходим, потому-то неустрашим и третий кит — наше (и однотипное ему) *государство*: не то чтобы в данном его виде, но и не то, чтобы в не-данном; нынешнее — но с поправочным коэффициентом: гибче, уступчивей, самодемократичнее; столь же всеобъемлюще — допуская, однако, соучастие и самодеятельность; признающее себя ответственным перед обществом при сохранении всей полноты суверенитета за собой. И чему иному быть носителем целостности реального социализма, как не этому государству, в его неистратившейся до конца идеальности — способности стать лучше, разумнее, эффективней (если даже не самым лучшим стать, то, по меньшей мере, *не худшим*, и разве так уж это несбыточно?)

На трех китах реалиста покоится, таким образом, целый мир, и если даже, как ни вглядывайся, за горизонтом его не видно ничего, ему — этому миру — неведомого, неписанного в его прописи, из его прозы не вытекающего, если трехмерный этот мир не знает, по сути, четвертого измерения — исторического *времени*, времени незапрограммированных перемен и незаданных превращений, то надо еще поразмыслить: плохо это (*ныне*) или, напротив, — хорошо; во всяком случае, в этих-то себе назначенных границах мир наших реалистов соотносим с мирами "не-наших" реалистов и понятен последним как то, от чего зависит и их существование (как и его, нашего мира существование зависит, в свою очередь, от них), — а этой крепкой соотносимостью, выдают ли ее притяжения или даже отталкивания, завтрашний день, как ни крути, готовится в неизмеримо большей мере, чем всеми обличениями и взрывами справедливейших чувств вместе взятыми.

Что может противопоставить всему этому современный наш *не-реалист*? Те самые добрые пожелания, которыми вымощена дорога в непридуманый ад? Идеальную попятность? Снова утопию либо ее же, перевернутую в "анти"? Амальгаму несусветных идей — от просветительства до анархизма, где вместе с суверенностью мысли — децентрализация власти и всей публичной жизни вообще, — идей, которые, питаясь современными вопросами без ответов, ищут в прошлом утраченные возможности, а в будущем — новую, новыми средствами устанавливаемую и поддерживаемую естественность в отношениях человека к природе и к себе подобным? Все это, почерпнутое из разных эпох и источников, но больше всего и прямее всего — из *исторического русского*: ищущего, переимчивого, мыслящего "миром" и Миром, землю и Землей, личностью и народом (правом первой, освобождаясь, стать собою

и правом второго, освобождаясь, собою оставаться)? И потому оживающие, вновь и вновь, воспоминания о блестящем, неповторимом Деятнадцатом столетии, о нашем Возрождении и Просвещении — европейских веках, спрессованных в десятилетия, со смещением очередности, с той непривычной сжатостью сроков, которая заступала результатам путь к превращению в наследство, а наследству мешала готовить почву для новых актов раскрепощения и устойчивых форм свободной от оков цивилизации, — воспоминания о том, что начиналось за столами, где горели свечи, начиналось неподвижным каре — фантастически "бесполезным", "бессмысленным" как символ, а затем, сразу от него — неистовством направлений, из которых каждое было от силы сам-десять, сам-тридцать, а кончилось, точнее, кончалось не раз и не два гибелью многих, поражениями всех — и снова, снова одиночеством, пустотой вокруг одиноких?.. Как наваждение: все повторяется, даже даты наши, смена десятилетних эпох — череда поколений. От первого русского Гамлета — Чаадаева, первого, кто решился спросить: быть России или не быть*, и от следующих за ним с опасной склонностью думать о необозримом и непонятном, пытаюсь извлечь "оттуда" смысл, способный вывести Россию из застылости, всемирно-исторического небытия, — и столь долгим, скользким и мучительным путем самим вернуться на родину, непременно вернуться, произойдет ли эта встреча дома или вне его, останется ли вернувшийся в Лондоне, в Женеве навсегда либо найдет свой конец в сибирской земле, в вечной мерзлоте русского Севера — с памятным могиль-

*) Незабываемые — преданные казенному забвению слова: "Я не умею любить свое отечество с закрытыми глазами, с понижшим челом, с зажатым ртом, я думаю, что время слепых привязанностей миновало, что ныне нашей родине мы прежде всего обязаны истиной... Мы принадлежим к нациям, которые, кажется, не составляют еще необходимой части человечества, а существуют для того, чтоб со временем преподать какой-нибудь великий урок миру. Нет никакого сомнения, что это предназначение принесет свою пользу: но кто знает, когда это будет?.. По моему мнению, было бы странным непониманием выпавшей нам роли, если бы мы стали неловко повторять весь длинный ряд безумий, совершенных народами, стоявшими в положении, менее выгодном, стали проходить все бедствия, ими выстраданные. Я полагаю, что наше положение — положение счастливое... Будем знать, что для нас не существует безвозвратной необходимости... Каждый из нас должен сам связывать разорванную нить семейственности, которой мы соединились с целым человечеством... Скажите, не должен ли я в самом деле разъяснять, в каком отношении находится к своим ближним, к своим согражданам, к своему Богу человек, объявленный сумасшедшим?.."

ным знаком или вовсе без следа. *Во имя России – вопреки России* означало *войти в человечество, одновременно тем и сотворяя его*: не одна лишь русская тема, но без нее не было бы мыслящей и борющейся России, к этому и от этого она шла – и начинала себя не раз и не два. И снова – так? Сейчас – снова так? Совсем иначе и при иных обстоятельствах, но вновь к этому, – чтобы вновь от этого? И потому неизбежен (снова, снова!) счет; сам-один, сам-десять, сам-тридцать..., и не миновать ”лишних людей”, странных, угловатых, отчасти не от мира сего, нравственных экстремистов, со взглядами, очевидно неприложимыми к делу, если оставаться при прежнем понимании *дела* и при прежнем способе *понимать*?!

Итак, повторение в несопоставимых условиях... А не мираж ли? Не внушаем ли себе это, не кормим ли себя иллюзиями сходства судеб (и славы? и бессмертия?), не сооружаем ли своего рода душевный комфорт из теперешней, довольно-таки безопасной – по сравнению с прошлым, отрешенности, из сегодняшнего полумнимого, сплошь и рядом симулируемого одиночества? Есть, правда, ныне и непрактичные, кто за право человека быть собою (*быть*. а не *слыть*) готов заплатить весьма дорогую цену, исчисляемую в ”сроках”, однако и тут реалисты наши могут спросить: а результат? Приближает к нему или, наоборот, отдаляет – всякий такой вызов без оглядки, тем паче, что повод-то у него чаще отнюдь не метафизический и даже не общий, а групповой или просто личный, расплачиваются же за ”безоглядность” *все*: отсрочками, задержками назревших, конкретных изменений (неконкретные, преждевременные – бывают ли?). Да если вдобавок поглядеть на эту нашу путаницу, взглянуть самым широким из возможных взглядов, вбирающим в себя главное из человеческих прав – право на жизнь, главную из нынешних проблем и целей: разрядку, обуздание гонки вооружений, превращение ядерного моратория в полное и окончательное ядерное разоружение, во всеобщий мир, – если с этой решающей точки зрения взглянуть на эти современные ”без оглядки”, то сам собою напрашивается вопрос: не ими ли учиняется (разумеется, объективно, логикой, или, вернее, безрассудством поступков, в силу наивности либо нарочитости и самолюбивого упрямства отчужденных), не учиняется ли *ими* нечто, весьма далекое от благородных намерений и прямо противоположное искомому: цели, смыслу?

Вопрос не обойти, особенно когда задают его не следователи – штатные и внештатные, и не лицемеры – по вдохновению и по

привычке, а единомыслящие и просто мыслящие, все те, для кого исторический закон — не пустой звук, для кого нет ничего важнее действительных человеческих нужд, потребностей, чаяний, — кто знает также, что, между "непосредственно данным" и высшими истинами, велениями духа существует некий трудно обозначимый, средний уровень — *исследования и понимания* (где формируются мыслящие движения и программы коллективного действия, складывается и соотносится между собой сознание разных "Мы"), — кто убежден, что ныне особенно опасно третировать и проскакать этот уровень общего, стремясь к единственному либо даже к множественному "Я" — и к человеческой вселенной, состоящей из одних "Я" и "не-Я" ...и пекущихся об их полноправии, обязующихся охранять и сохранять священные права личности государств и правительств. Пекутся-то они о личности, но для попечения — всякого — попечители и защитники должны быть властными, полномочными, эффективными, а потому и наделенными соответствующими орудиями и средствами: от государственного сектора до разных современных "зондер-команд", — и отбираться, комплектоваться должны потому из соответствующих людей, соответствующим образом выученных и вышколенных, ведь ни попечители-мэнеджеры, ни защитники-устроители межгосударственных круглых столов с неба не падают, — кто начисто отвергает это, кроме экстремистов, анархистов и иных нынешних аутсайдеров, но и кто справится со всеми следствиями, отсюда вытекающими, из коих *неучастие*, исключенность из участия *всех* — в главном и решающем для *всех* — еще не самое худшее. Есть еще и следствия следствий, и сегодняшнее неучастие способно предстать завтра *неожиданным и необратимым*, двумя неразлучными признаками современного Мира, — нет, с каждым днем все заметнее, что со следствиями, следствиями следствий никому *врозь* не справиться, никому и нигде, а — как вместе, систематически и суверенно вместе??

Центральный пункт. Предельно трудный везде и для всех. Вряд ли преувеличу, сказав, что нигде так не труден, как у нас. Из трех китов здешнего реалиста под сомнением более всего третий — *власть*, и самое сомнение лишь по видимости раздвоено на умозрительное: не истрачена ли вдрызг идеальность нашей власти, и на сугубо практическое: может ли она стать "не-худшей" и как, и чем побудить *ее* к этому? Раздвоено по-видимости — поскольку нет практического ответа на практическое сомнение и не быть ему, пока нет ясности с умозрительным и более всего неиз-

вестно — каким образом эту последнюю приобрести, как и чем побудить нас к этому? То есть: есть ли у нас — и где — упомянутый "средний уровень" понимания — лишь по видимости средний, а возможно, и самый высший уровень, без которого мы все — не власть, а наша власть — не мы; то есть — способны ли нынешние наши "единицы" к другой между собой связи, чем та, которая и проходит через государство, и *исчерпывается им*, устраняя в излишек все "Я" и "Мы"? Абстрактность вопроса не от нежелания называть вещи своими именами. Она от незнания "имен", и это более всего относится к разнообразным "Мы". То, что пока они не существуют, то, что пока они у нас — зародышевые, предсознательные, еще себя не опознавшие, все это не беда, это в порядке вещей, так уже было (и у нас, и не у нас), а стало быть: прийти в свое время и дальнейшему — опознаванию, сознанию, почве, лицу... Но придет ли? Не опоздает ли, без возможности наверстать упущенный срок, будет ли вообще? — вот в чем сомнение, и острее, неотступнее с каждым днем. Будет ли — не в том даже смысле: разрешат ли, допустят ли, не раздавят ли..?, а больше всего в другом, относящемся к природе этих "Мы", их непохожести на прежние, даже если они почти такие же или совсем такие, связанные преемственностью этноса, культуры, веры, умственной и профессиональной традицией, социальной близостью, общностью прямых выгод и образом жизнедеятельности. Даже если такие же, как прежде, те же самые, но потерявшие себя (целая полоса — утрат, исчезновений, молчаний — бессловесных и суесловнонапыщенных, казенно-пустых...), потерявшие и лишь на пути к возрождению, к нормальной жизни — без запретов и внешних ограничений — даже в этом случае — если возродятся — станут ли, смогут ли стать *целым*: обществом, совокупным сувереном, миром в Мире?

И опять воспоминания, опыт и антиопыт: "чужой" и свой... прежде всего свой. Старая русская, российская тема — поиски целого, силой и объемом не меньшего, чем абсолют Государства, пространством — в ту же империю, но совсем иного толка, исключаящего первый, роковой смысл, возвращающего (снова и снова!) к русскому вопросу вопросов: возможно ли общество, общество как таковое — величиной в Россию? И если не империя, не единоедержавие, а разноукладный и многомерный мир в Мире, то *быть* ли ему, не ставшему обществом, либо ...всю задачу следует сформулировать по-другому, *всемирно иначе?*

Искать, открывать, собою выстраивать особый, еще неопоз-

нанный социум — и сквозь весь Девятнадцатый к Двадцатому это и искали, теряли, открывали вновь. И тогда, когда уже, казалось — нашли, и обрел искомый социум свою особость и имя, язык ("Республика Советов *снизу* доверху, "свободный союз свободных наций", "свободное социалистическое общество"*), тогда-то вплотную к этому началу и непрерываемым ходом событий от него, считанные годы — одно-два поколения — он сам перечеркнул себя, этот социум, перевернувшись в *новое старое*: через поравнение, через переворот, затронувший самые нижние, самые возможные пласты — вернул себя к абсолюту Государства, и потому унес в небытие зачатки общества понимания, общества-суверена, фрагменты, накопленные предшествующими поколениями в традициях, в человеческих типах и в культуре, в художественном и интеллектуальном порыве к нестесненности, широте, миро-открыванию.

Почти найденный и утраченный навсегда социум — условие окончательного раскрепощения "дома"; и недостроенный, почти забытый мир в Мире — залог соучастия в человечестве, в становлении человечества, — что это: один лишь вчерашний день или завтрашний, либо они вместе — нерасчлененные и разорванные на разные "Мы", существующие и недорастающие до себя? Если так, — видимо так, — наверняка так!, то — дорастут ли, соединятся ли *новой*, — общей, всеобщей связью?

Не узнаешь без пробы. Однако опасны ныне и даже непозволительно обычные — человеческие, исторические пробы с ошибками, ибо что такое в данном случае "ошибки", как не катастрофа, распад и всеобщая человеческая перетасовка, которая никогда и нигде еще не обходилась без крови и жертв, а теперь — кто подсчитает, сколько их "потребуется", и кто рискнет начать такое?! Стало быть, без "Мы" — ни с места, и к ним, а с ними — к новому, естественному, нормальному целому — не пробиться, минуя тот самый, то ли "средний", то ли высший уровень — минуя понимание, каковому вовсе не быть, если оно *не взаимное, не взаимно-понимание*,

*) Все это — формулы первой Советской Конституции 1918. Оттуда же: "Стремясь создать *действительно свободный* и добровольный, а следовательно, тем более полный и прочный союз трудящихся классов всех наций России, III съезд Советов *ограничивается* установлением коренных начал федерации советских республик России, предоставляя рабочим и крестьянам каждой нации принять самостоятельное решение... желают ли они и на каких основаниях участвовать в федеральном правительстве и в остальных федеральных советских учреждениях".

если не нуждаются наши — еще утробные, больше желаемые, чем реальные "Мы" в том, чтобы дополнить друг друга: в споре, спором дополнить, сообща разобраться в главном из всего, что относится как к будущему, так и к прошлому: чем *были*? чем *будем*?

В ответ слышу знакомые, — и отнюдь не чуждые голоса: да ведь эта проблема — *ваша*, эта трудность — для вашего брата-марксиста, это *вы* и давным-давно растеряли свое "Мы", и как раз оттого, что притязали втеснить в него *всех*, всех до единого выстроив в одну-единственную шеренгу, всех заставив верить в одну и ту же — вашу веру, и действовать только "*в соответствии*", и жить только этим "соответствием". В итоге — разбитое корыто с кровью на обломках, но корыто-то ваше, а вы (пускай и разуверившись, пусть даже отшатнувшись от содеянного вами и с вами) пытаетесь и разбитое корыто выдать за общее, всечеловеческое, заново втянув всех в отыскание единственного вашего — революционного и коммунистического смысла, либо в одиссею примирения с "разумной" — социалистической действительностью, обманывая себя и всех коренным, якобы, различием между второй и первым. Еще одна, современнейшая уловка — расчленить сие занятие на "сферы" влияния: в одной превозглашают тот же смысл, но в обновленном, смягченном, разжиженном виде, в другой же сфере вновь и вновь "примиряются", поскольку, дескать, не весь прежний смысл улетучился, а иного здесь быть не может, с чем находящиеся в других "сферах" словесно согласны и регулярно демонстрируют это свое согласие...

Нет, — говорят эти человеческие, отнюдь не чуждые голоса, — нет, видно так и оставаться вам у разбитого корыта, не замечая, что все вокруг уже не то — в худшую или лучшую сторону, да не то. И дальние единомыслящие не те, и навряд едино-мыслящие они вам сегодня, зато ближних почти нет, а вскорости и вовсе не будет. Расплата... расплата за верность вашу, за приверженность к коммунизму, у которого (как заметил давненько уже один из оригинальных русских мыслителей) нет вообще *ближнего*, а есть только *дальний*; такова уж природа этого феномена, что внутри нее допустимы лишь одинаково думающие, единодействующие, за пределами же — *необходимы* прямо противоположные и только противоположные: неистинные либо просто вражеские. И нет иного пути избыть уродство этого взгляда — диктата, как отказаться от него полностью и до конца, как отречься от положенных в основу его обезлюженных аксиом. И весь ваш вопрос: хватит ли у вас сил сбросить его вериги и сделать

первый подлинный шаг вперед, приняв за подлинное — приоритет *жизни*, человеческой жизни, которая однократна, которая выше всех идеологий и у которой только один равноправный соперник-двойник: смерть?! И хватит ли решимости осознать несводимость *жизней* — индивидуальных, групповых, национальных, религиозных, вообще духовных... — *жизней*, а не ипостасей единого существования, которое, если вдуматься, не нуждается ни в плюрализме, ни в независимости, ни даже в действительной автономии (*жизней* внутри *Жизни*), а лишь позволяет им сохраняться, примиряясь с традицией и бесконечно приспособляясь к пресловутым "условиям места и времени"?! *

Эти вопросы — отчасти услышанные, отчасти "придуманные", ведь я и сам задаю их себе, не находя удовлетворяющего меня ответа. И тем не менее, и вопреки всему — не отрекаюсь. Впрочем, почему это "тем не менее" и "вопреки всему"?! Именно потому, что нет ответа, и не отрекаюсь. Именно потому, что кругом вопросы, притом неполные, непроясняющиеся, застревающие в каких-то гиблых промежутках между "первопричинами" и множественными, ветвящимися следствиями, — вроде бы и вопросы, но такие, в которых уже наперед постыло маячит, подмигивает ответ, вдалбливая себя повторениями, — повторениям же несть числа, ибо вторятся, перемножаясь и переворачиваясь в причины, сами следствия и следствия следствий... — именно поэтому нелепо искать ответ "где-то", выбрасывая из головы и забывая начисто прежние "свои" ответы. Нет, именно *их* подвергнув критике, их также, их в первую очередь (поскольку *свои* и поскольку двигали, движут миллионы, континентами, поскольку сопричастны всему, что делается и творится на свете белом, желтом, черном, оливковом, всяком...) — только так можно пробиться к вопросам, которые уже будут не одни *свои* и "про себя", но вновь — общие, *всеобщие вопросы*.

*) Один молодой человек спросил недавно: "Скажите, плюрализм — это процедура, которой обязуются следовать, или *миропонимание*, которое обязывает самого обязавшегося — тем, что исключает сегодня иной взгляд на Мир? Можно бы и потрунить над наивностью вопроса, пояснив, что ни в чем так не открывается суть и серьезность миропонимания, любой философии истории и жизни, как в способе, каким оно реализует, "овнешняет" себя; можно бы добавить еще, что и процедура не частность, когда от той или иной процедуры принятия решений зависит судьба Мира и человека, и потому сама "процедура" становится проблемой, выше остальных проблем (которые сами по себе могут быть и неизмеримо больше) — так можно бы отмахнуться от вопроса... но нет — "детский" вопрос бьет в точку.

Вечные: о сущем, о человеческой жизни и человеческой смерти, о Мире, видимом и скрытом от взоров, — и сугубо актуальные, неотложные: о сущем Мире, который на грани жизни и смерти — видимой и скрытой от взора. Это сегодняшний мир, что между прошлым и будущим (не там и не здесь: *нигде*), это он — вопрос всех вопросов, и только ли для марксистов, только ли для них в новинку? И только ли в голове одиноких, потерявших цель и смысл, сдваиваются, накладываются один на другой проклятые, "наши" вопросы без ответа: о себе — чем были? чем станем? — и о Мире: а есть ли он, этот Мир-человечество или его "еще" нет, движемся ли к нему либо каждым шагом ему навстречу отодвигаем его — в недостигаемость, не исключено, что и до полной *невозможности*? А если, все-таки, возможен общий и единый Мир-человечество, то предстоит ли ему *развитие* — преобразование из одного в иное, в иные состояния, — либо он и останется на веки вечные таким, как сейчас: идеально-недостижимым и неидеально-даным, одновременно неначатым и завершенным?!

Так только ли у домашних затворников не вяжутся *эти* концы с *этими* же концами, вышибая почву из-под ног: ни старой, ни новой, какая-то чересполосица сиюминутного и вечного, то очевидного, то вовсе трансцендентного, либеральных недостижимостей и коммунистических фикций, бытовых компромиссов — каждый день и на каждом шагу — и жестов отчаянья, которые часто и все чаще просто прощальные, добровольного отказничества и, становящаяся рутинной ритуала "воссоединения" с далеким или вовсе чужим, — ладно бы с несуществующей "семьей", а то с сомнительным и все удаляющимся человеческим родом... И нет уже речи о цели и целом, и лишь по инерции, чтобы не смолкнуть насовсем, чтобы остаться в зоне слышимости, на виду — толкаем прожекты, обсасываем косточки вчерашней речи и сегодняшней статьи, — и о чем же другом нам прикажете толковать, как не о "назревающих реформах", что видятся такими доступными, захоти лишь начать (и ведь будто бы есть хотение, и на подходе всерьез хотящие) — и о чем же еще нам судить-рядить, как не о заокеанском "хотении", которое уж наверняка есть и с которым нельзя не посчитаться нашим хотящим, полухотящим и даже совсем нехотящим, поскольку с одной стороны — безопасность, вещь серьезнейшая, и еще серьезнее — невозможность дальше расточать ресурсы на нее, включая человеческие, которых в обрез! — а с другой стороны потребность в технологии, суперсовременной, и невозможность сегодня жить без *обмена*, особенно тем, у кого

открытый или приоткрытый вход в этот самый суперсовременный обмен.

И все-таки концы с концами не сходятся — ни у первых, ни у вторых, ни у третьих. И все-таки — всеобщая чересполосица и нет ни у кого подлинной веры в осуществимо-близкое, в доступно-конкретное. И все-таки "метафизика" заедает, не всех, правда — не всех прямиком и не всех так, чтобы совесть понуждалась и поощрялась заново сводить счеты с собой, убеждаясь (в нелегком результате), что *не сводятся* — и в обход мозга, помимо поступка не сведутся; и еще в том убеждаясь, что мозг с поступками тоже не в ладу, говорят и объясняются сегодня на разных "языках", — не поймешь, какой тут архаичнее, какой современной: или он вовсе — пиктограммой будущего иероглифа, даже не алфавита, а значит, и тут также придется начинать с самого-самого начала?!

Нет обоюдного языка у мозга и у поступка, вот — разноречие, вероятно, существеннее всего остального, пусть ощущается меньше других и оно само, а уж тем паче — обратная цепочка, что тянется от погруженных денно и ночью в рефлексию, и от тех из них, кто до навязчивости сосредоточен на Мире и старомодно страдает от рассогласованности наших и не-наших "Мы", — после, от них эта цепочка тянется (незамечаемая) и к реалистам, и к охранителям, к озабоченным и к равнодушным, — и тем только тянется, что не из голых "да" и "нет" состоит, не из ответов и даже не из вопросов, а из белых пятен, еще не обозначенных на исторической карте, не отграниченных там от известного и освоенного... И, кто знает, поддаются ли они, эти белые пятна, такому отграничению или они просто иное наименование известного и освоенного — переставшего быть известным и страдающего от своей освоенности. Известно, например (и очень уж хорошо освоено): "два мира — две системы", но и невооруженным глазом видно теперь, что не два, а по меньшей мере *три*, и что третий своим существованием меняет всю логическую панораму — и то, что впереди, и то, что позади, прошлое и будущее в равной мере, и что потому и понятие Мир из известного перешло в неизвестность, а вместе с ним и такое освоенное, как *развитие, прогресс, революция...* и что же "социализм" неизменен?.. В качестве будущего и в качестве прошлого один и тот же? И не только обликом, набором "реальных" черт и признаков, но и непременною своей также, неизменно непременною — в качестве того единственного, что должно и что способно объединить и заменить собою все, что создали история, цивилизация, эволюция человека.

А если не то и не так... Как будто уже не трудно, как будто уже не страшно согласиться, что *не то и не так*, но вместе с согласием почва убывает из-под ног, и не одна уверенность социалиста — любого в социализме — разном, но и другое, распространеннейшее убеждение, либо ощущение, либо, если даже предрассудок, то давно ставший второй нашей натурой — убежденность, что Мир: наша, нами, людьми освоенная, очеловеченная часть Вселенной, — он, она всегда в единственном числе, как и развитие, как и прогресс: единый общий завтрашний день; одно-единое время, отсчитывающее все начала и все концы, — и что потому у любого промежутка, у всех перегонов к *Одному* должен наступать, раньше или позже, неумолимый *Финал*, и долг зовет: поспешествовать этому, и нынешний долг в этом же, хотя и приходится считаться теперь с тем, что раньше того все нынешние перегоны и промежутки, все числящиеся "переходными" фазы и состояния могут взаимно уничтожить друг друга, а ничейный результат — кому же впрок?

И стучит в голове: сроки уходят, необратимо уходит время, нужное для предотвращения катастрофы, и даже не только время действия, но и прежде всего время, потребное, чтобы понять, откуда, из каких глубин движется магма, — заново научиться понимать, переучиться делу понимания...

И скручивает, одолевает абсурд *жизни ради сохранения жизни*, проникая сквозь все перегородки, смещая все мотивы и стимулы, разрушая классические основания действия и механизмы социального самоконтроля, обнаруживаясь то пиками неадекватных реакций на старые и обновленные нужды, то извращаемыми — с поразительной быстротой и неожиданностью — движениями души и ума, а главное: отличаясь такой же инерцией слипания в один иррациональный, вселенский ком, — как все беды вместе взятые и много свыше простой суммы их. Что это — медленное взаимное самоубийство, от которого не спастись ни в какой Оптиной пустыне, не отгородиться никаким пиром во время чумы, или порог нового — всеобщего первоначала, единственно способного предупредить досрочный всеобщий конец?

"Не наша эта печаль, не наши проблемы-напасти, не наши белые пятна" — кто отважится произнести такое? А между тем, что дальше от нас здесь: чем это?! Блаженные не то чтобы даже незнанием, а неведением, — слышащие, читающие, отчасти даже видящие Мир за собственными нашими стенами, но не принимающие его слишком близко к уму и сердцу или принимающие избирательно, по правилу — "своя рубашка ближе к телу" — и недогадывающиеся,

что эта "чужая" ныне *больше своя, чем "своя"*. И не только в общегуманистическом либо интернационалистском смысле, а в более отвлеченном, но и более прямом: проблемном, — и не потому, что "там" даны все ответы, а прежде всего потому, что существует скрытое единство вопросов, единство в различии их, — и еще потому, что к узнаванию этого единства путь — единственный! — через диалог, через спор, требующий открытости: не душевной распахнутости, что от Бога и от русских генов, а именно открытости, особой *культуры взаимного открывания*, взаимопонимания. Стало быть, и условия, необходимые для этого — неизмеримо больше, чем "процедуры", хотя и они нуждаются в узаконении, да не могут быть просто спущены "сверху", как и не могут сами по себе создаваться и возникать "снизу". *Не могут быть дарованы и не могут самотеком вырасти из того, что уже есть*, — этим признанием мы возвращаем себя к социуму — особому и неопознанному, возвращаемся к нему уже не только от себя, со "своего" конца, а прежде всего — с всемирного его края, где неизвестное, ненайденное — также *всемирно, но по-другому*, существенно по-другому, чем в прошлом, и не только составом задач, проблем, вопросов без ответа, но и невозможностью задавать и ставить их как прежде, с уверенностью, что есть один, единственно верный ответ и что мы ближе всех остальных к нему (если вообще не суверенные его обладатели). От этой-то невозможности и идти бы, и прийти обратным ходом к искомому — утраченному и ненайденному — социуму, для которого ныне "затворническое", "заумное": разговор вопросами — с каждым человеком "оттуда", взаимооткрывание миров в Мире — именно это и стало бы, и было бы тогда нормальным и обязательным, естественным и неотложным. Хлебом насущным — и вообще насущным...

А если не станет? Самое тяжелое, самое неотступное из всех "если". Оно-то и подсказывает, будто нарочито заостряя и совсем нереалистичное: о "чужой рубашке", которая *"больше своя, чем "своя"*, и о том, что не только не "блаженно" неведение наше, наша отчужденность от чужих бед, которая между тем вошла и в житейский обиход, интеллигентский в том числе, где формы ее рафинированнее, зато и отвратнее, — не только не блаженство, не преимущество, но прямая беда наша, общее наше бедствие, *цепь*, что сковывает и приковывает к абсолюту власти и анти-власти, догмы и анти-догмы, оставляя под видом недобровольного выбора: либо выпадай, но уж начисто, либо оставайся и обстраивай свое существование с помощью софизма "исключенного третьего",

отыскивай даже комфорт в замкнутости, отчужденности, а тем самым и в разноречии мозга и поступка — ибо нужен ли поступок, чреватый... — зачем, если у мозга масштаб — одно "свое", "суверенное", и это одно все съеживается, стягивается до крохотного *микро-своего*: кружка, кружочка, семьи... Однако, и здесь предел, и похоже, что достигнут уже и он, — не в 68-м, не в 70-м, а в конституционном 1977-м, когда на годы определяется мера допустимого и невозможного — и по закону, и по совести, и прочерчивается — всеми, нами всеми — черта под давно окончившимися, однако живучими, несдающимися Шестидесятыми*.

Прочерчивается всеми — разумеется, не буквально всеми, на деле участников немного: совсем разные люди, полярные, несовместимые позиции... и близкие природой взаимного отталкивания. И потому общий итог — *черта под Шестидесятыми*: против них — против вчерашнего дня... во имя позавчерашнего; следуя им, храня им верность, двигаясь в их русле — против себя будущих. И потому — безысходность, притом на обоих краях, на обоих полюсах сразу, хотя, правда, на одном лишь она выступает откровенно, упираясь лбом уже не столько в недостижимость перемен, сколько в невозможность жить прежним днем, в Невозможность без лишних слов. А на другом, противном полюсе не торопятся — ни решать, ни перерешать, и со словами здесь полный порядок, однако, устали и тут приспособляться к "месту и времени", сидеть на двух стульях сразу. И с этого края терпение на исходе, — и не оттого только, что дела подпирают, но главным образом потому, что и тут жмет психологический барьер, перешагнуть который страшно и оставаться у которого тягостно: своя "метафизическая" ситуация — и могут внезапно открыться бездны, готовые поглотить не одних "лишних людей", но и постепенцев, реформаторов

* Черта под Шестидесятыми-реальностью и под Шестидесятыми — творимой легендой: под импровизированным движением, самооткрыванием, крушением иллюзий и под прорывом к тайне, к ее раскрытию и обнаружению — осуществленному "по графику" — и вызвавшему всемирную детонацию. Реальность и легенда — вместе, и сегодня уже не определиться в этой путанице понятий и людей, не разобраться без специального анализа, поскольку легенда мощнее реальности, от этого не отмахнешься "разоблачениями" и внесениями ясности по мелочам. Ибо и то, и другое — лицо эпохи. Это ее смысл и ее граница, которая-то и прочерчивается ныне — так же импровизированно и чаще неосознанно, недодуманное до корневого смысла, — и как легко, — привстав на цыпочки, провозгласить, что тобой все это заранее было исчислено, как в свое время некто нынешний "вычислил" даже появление... Солженицына.

исподтишка, — и как раз в тот самый момент, когда они на подходе: вот-вот..., остается лишь модернизировать пульт управления с перепутанными на беду кнопками и затерявшейся схемой: нажмешь на одну — "улучшение", "Перемены" — сразу, скрежеща приходят в движение механизмы, почему-то подчиненные команде — "Стоп" и "Назад", и это еще не все, ибо никто, *ни единственный человек* наперед и наверняка не знает, какими каналами, проводочками, сигналами сообщены эти "Помалу вперед" и "Полный назад" — с тем одушевленным и неодушевленным, неведомым, что в силе сказать: "Стоп — все, приехали" всей очеловеченной Земле...

Это-то — *наше*. Наше — и потому всеобщее. *Неисключенный* завтрашний день, корни которого во вчерашнем — нашем и уже тем — всеобщим. Ибо, что ни говори и как ни оценивай, Мир, суверенный и не-единый, рвущийся в равенство и отбрасываемый от него, борющийся за свободу и все более несовместимый с нею — самоценной, Мир этот *начался нами* (не нами одними, но без нас не было бы его и он не был бы таким), и эта его подлинность и непостижимость — наши в том самом широком и самом простом смысле, от которого можно удрать, но не уйти. И если не в силах сделать его другим, и если не в состоянии понять его таким, каков он есть, то это тоже наше, и не одних домашних затворников это забота, не одних экзотических марксистов — боль. Это также затрагивает всех так же неотделимо от всех, как и права человека: право его думать, исследовать, спорить, свободно дышать — и все остальные права, без которых эти не обрести, не защитить... И так же, как они, это не признается общим — нашим; в общую нашу прозу не влезает (места нет!) и не оттого ли нет, что "пока" не связывается первое со вторым: "их" Мир и наш мир, "их" беды и наши бедствия, "их" ножицы и наши тупики, "их" поиски выхода с безысходностью нашей, — что между тем и другим — зазор, разрыв, открывающий место (целое пространство!) для стопорящих, пресекающих, для комплота наших поборников "порядка" — и закрывающий место для всех и всяких неказенных "Мы", особенно же для сближения их, для понимающего единства разных "Мы" — *место для выбора*.

Есть ли он? И, опять-таки, не только в том смысле есть, что "разрешат ли, допустят ли?": искать и найти, а в том, где *предмет* его, в чем выбор состоит?

Если даже только мысленный, не больше пока, чем мысленный, то поддается ли он устроению, "конкретизации", либо

так и обречен застревать в сомнениях и допытывании себя? Как перевести неизвестное на язык, понятный себе же — сознающему неотложность, непременность действия, хотя бы действия, которое расчистит площадку для новых поколений от лжи, предрассудков, идолов, завоюет следующим за нами право и возможность думать, искать?! Заколдованный круг. Простое оказывается наисложнейшим, начальное — итоговым, ограниченное — всеобщим. И потому не укрыться, — никому, нигде, — от "метафизики", и снова: быть или не быть, которое в принципе не то же самое, что "жить или не жить", совсем другое, и вместе с тем, близкое, родственное, даже неотделимое, исключаящее смерть-бегство и жизнь-смирение, неправду укромного любомудрия и неистинность порывистого действования. Собственно, даже не "быть или не быть", а *не быть или быть*. И потому не иллюзия, не погоня за призраками — точка отсчета: Невозможность. Далеко не просто физический тупик: еще шаг и конец. Сверх того, и премного горше того — невыносимость, мозговая и нравственная. Предшественница физического тупика, — сигнал! — и ускорительница его (причина?!). Но способная и на обратное: открыть источники еще неизвестных, более того — несуществующих пока возможностей. Их и не открыть — без нее, в обход ее. Но и она не стихийна. До нее тоже надо дойти, дорасти, *дотянуть* себя. Так бывало, этим двигалась и история, хотя мы чаще всего не замечаем этого (есть ли она в понятийном словаре любомудров — *Невозможность?*).

Стало быть, ничего нового и в этом? Надо только увидеть, признать, понять? И это немало. И это важно, до зарезу нужно. Ведь, можно не успеть, не смочь. И нов масштаб: Земля. Планетарная Невозможность, Невозможность как предмет *выбора*, соединяющего ныне несоединимых — не странно ли? Не более странно, чем Мир-человечество, заверченный и неначатый, Мир, который ни в будущем, ни в прошлом — нигде...

Вот почему и отречение от себя, от жизни, которая уже позади, не то, чтобы запоздало и нецелесообразно. Я не стал бы настаивать на этом, и тем более безоговорочно. В отречении есть свой гражданский резон, особенно когда оно не на расстоянии, да и простая человеческая потребность распрямиться, вырваться из гетто вечного недоговаривания, уловок, непременных для высказывания собственной мысли, которая в конечном счете — уже и не собственная, и даже не вполне мысль, эта потребность подобна пружине — от сдавливания она способна перейти лишь к бунту, распрямлению, порыву вовне. И это бы естественно, и

это бы на пользу (уравновешивать не нам, а потомкам), но беспокоит *порог*: неизвестность того, что за ним, не дает покоя. Убежден также — если выход из нашего тупика, как и из всех нынешних тупиков наивно было бы искать в любых директивах — начальственных и "мозговых", то его и не найдешь ни в "антидирективах", ни в предписаниях к розыску преступников. Деидеологизация — далеко не иллюзия и больше, чем заблуждение. Это — предрассудок, заново расцветший в пору самого жестокого кризиса идей, не выдержавших искуса "руководства" целым Миром и каждым человеком в отдельности. Отбросив *эти* идеи, что приобрели и что можем приобрести взамен? Как будто Мир, раскрепощенный от них, восстанет вдруг оазисом тишины, сохранности и всеобщего дружелюбия...

Не так стоит вопрос — без идей или с теми, что есть. И даже не просто в том он, каковы эти идеи: человеческие ли, гуманные ли, убереглись ли от грязи, отмьели ли пятнающую их кровь. То есть вопрос, конечно, в этом, и кощунственно бы предполагать, что свойства эти второстепенные, что требования эти необязательные. Однако, такова уж странность нашей и всеобщей "пороговости", что их самоценных, не переменных — невзирая ни на что, превращаются эти свойства, эти требования в условия, и в качестве условий — жестких, даже абсолютных, но все же *условий* — в "подсобные" при решении задач, равнозначущих сегодня для Мира и человека: быть им или не быть. И потому главный критерий уже и глубже, чем оригинальность мысли вообще, чем независимость духа от всего проходящего и сиюминутного. Нынешний тест для испытания идей: устойчивы ли против "жизни ради голого сохранения жизни" и содержится ли в них — в виде воспоминания, традиции, неистраченных резервов — *вещество сопротивления* этой "черной дыре", которая норовит втянуть в себя и сожрать без остатка все помыслы, желания, надежды? И способны ли испытываемые (идеи, воспоминания, традиции) воодушевить на действия, достаточно энергичные и всеобщие, чтобы не упустить срок — время, "отпущенное", чтобы предотвратить преждевременное обесчеловеченье Земли?

Рисковую утверждать: коммунизм Маркса в числе этих идей. Не потому, что лучше остальных, — этаким потолок, выше которого нет и не может быть. Если бы так, говорить бы не о чем... но и рассчитывать не на что бы. И даже не потому, что сам-то исповедует надежду и уверен, что всегда присутствуют возможности, мобилизация и утилизация которых обеспечит победу сил, что и

без того наделены "исторической инициативой". Такая уверенность — не нейтральна, она может послужить и добрым намерениям и черным замыслам, в сталинском арсенале она занимала не последнее место. Эсхатология — также неоднозначна. У этой разные лики, на ее счету — порывы к свободе и инквизиция, притом не одна, притом коммунистическая — едва ли не худшая. Но коммунизм все-таки не сумма эсхатологии и рационалистической прагматики. Он так же не исчерпывается инквизицией, как и звездными часами самопожертвования, героизма его поборников и увлеченных ими человеческих масс. Он идеальный и реальный, и это не только ипостаси его, имеющие разную персонификацию, не только эпохи его эволюции: был таким, стал другим, — противоположным себе же... Это — обнаружение — или становление, движение, развитие — несовместимости, заложенной в нем первоначальном, — несовместимости, образующей целое, движущуюся целостность: его и Мира.

Инвариант несовместимости — может ли быть такое?

Ответ — в происхождении. У коммунизма — корни, которые уходят в самые глубоко залегающие пласты эволюции и истории человека. И уже это не однозначно, уже это обременено двойственностью. Две точки отсчета — в едином исходном пункте. Или это мы сейчас видим — *две*? Видим, оглядываясь назад включая в свою ретроспективу целый век и даже века — с их превращениями, их "перевертышами", со всем непредвиденным, что стало затем в центр — главным, — и в свете этого главного перечитываем биографию мысли, "накладываем" одно на другое: мысль — на века, и, видя, что не накладываются впритирку, что с разных концов — зазоры, на зазорах-то и сосредоточиваемся, их вводим в *предмет*, их делаем *своим* предметом, — и тогда оказывается, что там, где единый цельносваренный исходный пункт, там, где начало великому и непремennomу "от... к...", там нет единства, там конфликт и несовместимость — драма единства, трагедия несовместимости, как в чудовищном коконе заключившая все предстоящие "*непредвиденные*" трагедии... коммунизма? Да. Мира? Да. Их — вместе. Этим и неразделимых. "Скованных одной цепью".

Ибо Марксов коммунизм изначально и непременно универсален. Другого нет. Другой — не Марксов и не коммунизм. Жесткая, перетолкованиям не поддающаяся позиция — и открытый вопрос: универсум *позади* или *впереди*, есть ли он или его еще нет? Есть — и нет: две точки отсчета. Одна — от эволюции, включающей Вселен-

ную, Землю, жизнь, возникновение человека, разума, истории. Единая цепь — с прерывами, разветвлениями и тупиками — и *нарастанием* единства, уже только отчасти стихийного, поскольку все более весомую, активную роль играет в этом движении исторический человек, творящий свой Мир — социум. Здесь — фокус. Место соединения и место разрыва. Другая точка отсчета — История. Замкнутая в себе; комок, заново разворачивающийся во Вселенную — в человеческую вселенную. Новое пространство, *пространство истории — время.*

“Обыкновенный марксизм” с порога отмечает это предположение, не без основания усматривая в мистике путешествующего Духа, определяющего, кому *быть* в истории, кому оставаться вне ее, кому *не быть*, весьма подозрительную (и не без расистского привкуса) заявку на исключительность. Мессианизм не в чести и у Маркса, но он не только знал, чем отличается Гегель от гегельянцев (всех — и разных), но и видел проблему там, где для множества его собственных эпигонов — лишь предрассудок, извращение, в лучшем случае оправданные временем и классовой ограниченностью. И для зрелого Маркса, и для позднего Маркса история сохраняет *тайну*: открытая заново, она становится камнем преткновения. Не истолкование ее, а она как таковая. Откуда она, и до каких пор — единственная в качестве человеческой: *всемирная история?*

Очевидная явь: бери билет на самолет и лети в любой уголок Земли, и в любом уголке — история, и любой уголок связан с любым другим уголком, со всеми уголками Мира. Правда, не отовсюду улетишь. Правда, совсем не у каждого найдутся для этого доллары, фунты, марки, франки.., и далеко не у каждого — потребность (жизненная!) смотреть, узнавать, сопоставлять. Сколько тех, кто не бывал никогда в жизни дальше соседнего города, и тех, кто и там не бывал?! Однако, всемирен ли автопешеход мировых столиц и даже интеллигент с бессмертного левого берега Сены?.. Щелчок объектива — и картина меняется. Теперь не историческое повсюду, а внеисторическое. Довлеет оно. Но все же не так, как сто лет, двести, пятьсот назад — и даже не так, как тридцать, двадцать? Не так, разумеется. Различия меньше, контраст — сильнее. Сильнее и больнее. Все стало связанней — и потому разьединенней. *Экспансия истории закончилась.* И везде, и повсюду — история. И везде, и повсюду — лицом к лицу со своим источником и антиподом: *Мир истории с Миром* вне истории. И позволительно усомниться — столь ли устарел старый Гегель?..

От Гегеля к Марксу. Читаем заново – и отмечаем, замечаем: ”внеисторическое” и ему не чуждо, и для него оно не просто больше, но и другое, чем ”просто”: кто-то подзадержался, затрудняемый входением в мировой процесс (помехи – местные: от климата и способа освоения среды до неустойчивости первичных межчеловеческих связей...), а кого-то – сотни миллионов – насильственно удержали от вхождения *туда* на тех же основаниях (какие другие?), на которых вошли некогда народы, очутившиеся впереди. Вчера впереди были немногие, завтра станет их много больше, послезавтра ими станут все, и, стало быть, не будет вовсе передовых и тех, кто позади; и ”внеисторическое” полностью, без остатка войдет в историю; *история же станет всем*: растворит в себе, включит в себя, соподчинит себе все. Так думать – и благородно, и, вроде бы, в полном соответствии с ”историческим материализмом”. Не спорю: сам так думал; и целая эпоха, назовем ее ”коминтерновской”, из этого исходила, этим измеряла происходящее и на этом строила директивы – ему и себе...

Но Маркс так не думал, по крайней мере на протяжении *почти* всей своей сознательной, марксистски-сознательной жизни – думал иначе.

Ибо: его Мир, его ойкумена – это часы, отмеряющие историческое – всемирное – время. По этим часам живут не все. Это не избранничество, это – факт, который надо принять и понять. (Избыть ли утопию – в себе – без стоицистского отношения к факту? От утопии к стоицизму всемирно-исторического понимания – не точнее ли, чем ”от утопии к науке”?!)... Опережение – факт. ”Господствующие народы”, ”наиболее передовые народы” – факт. Факт, относящийся в равной мере к прошлому и к будущему. Необратимый факт, которому еще предстоит *стать* – правилом, непреложностью, нормой. Особый факт: *долженствующий-существующий*. Гегелевское среднее звено – грешное, неистинное овнешнение духа, воплощающего себя в народах-ступенях, чтобы затем вырваться и покинуть их навсегда – Марксово *начало*. Начало логики истории, у которой нет изначального плана и графика. Она выстраивает себя, все более строго обуславливая себя собою, – и лишь потому, и лишь так соподчиняет своему восходящему движению ”оставленных позади” – все прежние состояния, формы и типы развития.

Это Мир Маркса: одно-единственное буржуазное демократическое общество, величиной с планету, ”идеализированный” капитализм: отрицающий, преодолевающий себя, себя преобразующий.

Это предмет Маркса, его сверхзадача – и корень трудностей: Маркса и наших. "Неизначальное начало" – капкан. Мир, который не задан, но который уже есть – тем, что *будет*. Отрицая себя, он, ступень за ступенью, раздвигает свое основание: творит собственное прошлое – всемирную историю. (В этом смысле, но и *только в этом*, – все, что существовало, есть "формы, предшествующие капитализму", все, что происходило – "история борьбы классов"; все, что возникало, исчезало, сменяло и вытесняло друг друга, сосуществуя во времени и в пространстве, – одна для всех, единая от начала и до конца – "экономическая общественная формация": вертикаль восхождения, многоступенчатый Континуум самоотрицания...).

Это – Мир Маркса: движимый из будущего в прошлое – навстречу стихийному, прерывистому, разновременному, разнородному "естественному" движению: то ли самоповторению, то ли самораспаду. Встреча – взрыв, социальная катастрофа. Пирамида трупов – прогресс, *прогресс без кавычек*, ибо другого – нет! Прогресс – английская паровая машина и английская свобода торговли, которые сметают "с лица земли" индийца – прядильщика и ткача, и уничтожением их "полуварварских, полудивилизованных общин" – производят "величайшую и, надо сказать, правду, единственную *социальную* революцию, пережитую когда-то Азией". Надо сказать правду! Правду истории и правду Маркса. Ибо это и его правда. И правда о нем. Но неполная, не вся, как и первая. Для полноты нужно, чтобы все, что было до "идеального" капитализма, превратилось в его предпосылку – в "устранение предпосылки", а устранить (и тем сделать их – предпосылками!) способен лишь тот же самый капитализм, превращающий самого себя в предпосылку собственного устранения. Круг замкнут. И разомкнуть его можно, лишь выходя за *пределы предельного развития* буржуазного строя, буржуазной цивилизации. Только так. Нет второго – нет и первого. Но во имя второго должно быть принесено в жертву первое – без отсрочек и без сантиментов.

"Коммунизм эмпирически возможен *только* как действие господствующих народов, произведенное "сразу", одновременно..." Можно бы сделать вид, что эта формула 1845 года была действительна для "домонополистической эпохи буржуазного развития", пока не приобрела основополагающее значение и вес "возможность победы социализма в одной, *отдельно взятой* стране", – но это безусловно не так, то есть в том смысле не так, что формула Маркса, неотторжимая от его миропонимания, и изме-

ниться, обновиться могла лишь *вместе со всем миропониманием* – в кризисе и как следствие крушения исходной посылки – аксиомы: Мир – одно, единственное общество, преобразуемое одной-единственной коммунистической революцией... Большой пункт, мучительно большой пункт. Весь в ореоле воспоминаний, и весь в крови. Тут кульминация распрей, переходящих в разрывы, и разрывов, завершающихся оргией убийств. Бунт "своего" против "чужого", национально отграниченной реальности против всесветной абстракции, человека дела против "гражданина мира", смертная их схватка внутри коммунизма... но пока еще нет палачей и жертв, пока орудия – одни силлогизмы, и не укажешь ни сразу, ни даже задним числом – кто полностью прав, кто от начала и до конца виноват.

Это Мир Маркса: комок, развертывающийся в человеческую вселенную, чтобы вновь "свернуться" в движение, в прообраз будущего, созидающего всемирно-всеобщее прошлое: Историю, где есть место без исключения всем. Логика этой истории не знает изначального плана и графика; движение же обязано иметь и заглавную идею, и план... и даже график. Капкан "неизначального начала" – отныне капкан цели, доходящей до себя в *способе осуществления*, – доходящей там и теряющей себя там же. Стремительная стрела восхождения – полный ухабов и ям путь восходящих. "Долженствующее-существующее" – и вперед она и назад. Вперед и назад, поскольку каждый виток – расширение арены действия. Последнее же таит в себе как развитие – обновление, так и попятность. Не простой возврат, а *попятное развитие*. Ибо мертвый хватает живого – *в живом же*. Живой побеждает мертвого – в себе, собою. Это так же относится к людям, как и к народам, цивилизациям, движениям масс – к Миру в целом. Еще и потому уже в отправном идеале это Мир, Мир-человечество – налицо, и вместе с тем его "еще" нет. Полнота, "окончателность" – в коммунистической революции, которая *преобразует капитализм, отрицая саму себя*. И каждая историческая ступень – момент этого двустороннего движения. Именно двустороннего. Двусторонность – аксиома коммунизма, условие, определяющее, сохранится ли он или перестанет быть собою. Залог того, что этому живому удастся одолеть своего мертвого – себя мертвого. Удастся – либо не удастся? Поле сражения: всемирная история. "Нынешнее поколение напоминает тех евреев, которых Моисей вел через пустыню. Оно должно не только завоевать новый мир, но и сойти со сцены, чтобы дать место людям, созревшим для нового мира". *Должно*

сойти со сцены — звучит пророчеством и предостережением, оставляя в неизвестности — кто окажется субъектом этого долгоствования: обретший власть завоеватель нового мира, добровольно уступающий место своим потомкам, или последние, свободные от искушений власти, плюралисты от рождения и воспитания? Современный человек усмехнется — “утопия”, либо мрачно заметит: это-то мы и видали... Опыт, однако, не только разочаровывает, но и просвещает; он открывает глаза, позволяя заново увидеть смысл коммунизма, его пробуждающую, возвышающую силу — и его обреченность на поражения.

Кто же и кого победил — не в ограниченном пространстве, не в тесном отрезке времени, а в Мире, которому от рода, по меньшей мере, два столетия? Вроде бы нетрудно ответить. Средства победили цель. Результат — замысел. Обстоятельства — людей. Осуществители — зачинателей. Да, это так — и, все-таки, не вполне так. Не вполне, ибо *не было* у всемирной истории: этого особого “долгостояния-существования”, “будущего-прошлого”, у этой особой логики, воплощающейся в действие и безжизненной вне его, — не было у нее одного, — *окончательного поражения!* Не поражение-крах, отрицательный финал, а поражения — отвергающие собою финал, возобновляющие движение Мира, — таков ее закон. И потому это движение неизменно — “спиной вперед”, лицом к прошлому-проблеме. Не ради повторения, но и не ради предотвращения повторений, поскольку то и другое — мнимая цель, призрачное побуждение. Подлинные же — единоборство исторического человека с результатами собственной деятельности, в том числе и с теми высокими результатами, которые предстают перед следующими поколениями продолжателей-наследников как закон и как слепая власть, как необходимость и как ощущение собственной беспомощности: вместе и в схватке, неотторжимые друг от друга, — контрастом к ликованию, к победному чувству, к иллюзии полного самоотождествления, прозрачности, безостановочности восхождения, отличавшей зачинателей и завоевателей, “евреев, которых Моисей вел через пустыню”. Трагедия эллинов и Шекспира сродни Марксу, с тем отличием, что он не принимал Рок, разрыв времени даже в форме закона, уверенный, что изменилась в корне природа человеческого развития. Ибо — сознание “уже” преборолو мрачную и величественную безысходность *концов* — не отменой их, а естественной согласованностью, синхронностью своего движения со стихией движения человечески-

ронностью своего движения со стихией движения человечески-исторической материи, вещественности, "богатства".

Таково оно — "абсолютное движение становления". Мир Маркса, духовно-вещный Мир, *становился* тем, что ассимилировал сопротивление себе. Этим именно,этим в конечном счете и обновлялся. (От Мира товаров — к Миру капитала — так. От предбуржуазности, зажатой абсолютистским Левиафаном, к свободной конкуренции, к нации, к "гражданскому обществу" — так. И от них к мировому рынку, к стихийному обобществлению, к выходу за собственные пределы — так...). Ассимиляция сопротивления — условие выживания и больше: появления у "идеализированного" капитализма новых — незапрограммированных свойств и качеств. Именно: у идеализированного. То, что у реального вещного строя появляется нечто такое, чего у него раньше не было, — это, как будто, в порядке вещей. Под угрозой банкротства, гибели — вперед! Вперед и вверх: в технический, научный, даже социальный, и даже прежде всего социальный "верх". Однако, до какого предела — вперед и вверх? И откуда закон, норма: "всякий предел есть подлежащее преодолению ограничение"? В "Капитале" лишь отзвуки, зарницы революции, движущей *предмет*. Сама она — за кулисами. На сцене — последствие: освоение, ассимиляция. Чем радикальнее и чем квалифицированнее отрицание, питаемое "идеальным" — мыслью и действием, тем глубже и основательнее ассимиляция. Она и есть реальное движение — реальность его безмерности и реальность его ограниченности. От поражений "идеального" к торжеству ассимиляции, к иллюзии прочности и результата, и от них — "назад", к обновленному исходному пункту... "Второй ХУ1 век" — в середине Х1Х-го. Почему второй, откуда этот образ у Маркса, только принимающегося за главный труд и ищущего в политэкономии богатства разрешения загадки коммунистической революции?.. "Второй ХУ1-й" — возобновление всемирно-исторического процесса сызнова? Практически, конечно же, нет. Между 1848-м и концом 50-х никаких катастроф. Разрыв исторического времени, перебой мировых часов — в сознании Маркса. Движением его мысли — возврат к неполноте, к незавершаемости начала.

Будь иначе, коммунизм исчерпался бы категорическим императивом "Манифеста". И тогда бы не уйти от предопределенности, предуказанности. И прав оказался бы тот шутник, что приписал пещерному теоретику: "Наше светлое будущее — рабовладельческий строй".

Голое отрицание предопределенности, однако, тоже не выход.

Можно делать вид, что над нами ничто не довлеет, но это лишь увертка, страусова поза. "Смирись, гордый человек" — в этих словах рядом с принижающим, пригибающим человека к земле содержится призыв — не к сдержанности, а к ответственности. До вулканического, гордого Достоевского — "темный" и гордый Гегель, вгоняющий страсть в понятие. "Подобно тому, как разум не удовлетворяется приближением, которое ни холодно, ни горячо и которое потому исторгается, точно также он не удовлетворяется и холодным отчаянием, которое соглашается, что в сем брэнном мире все идет плохо или в лучшем случае посредственно, но полагает вместе с тем, что в нем и нельзя получить ничего лучшего и только поэтому надо находиться в мире с действительностью". *Ни то и ни другое*: ни оптимистическая, филистерская равнодействующая, ни конформистский пессимизм — что же? Дух, пробивающийся к себе полноценному — то во всемирной исторической жизни, то, что действительно лишь осуществлением истинного: божественного плана — "познание нами разума как розы на кресте современности". Таков гегелевский мир с действительностью — приятие существующего, постижение "того, что есть", немислимое без креста, без Голгофы для самого духа...

Маркс тоже чужд отчаянью, а о его враждебности всякому казенному прекрасодушию, в том числе и "марксоидному", говорить не приходится. И для Маркса "действительно" далеко не все — не все, что есть, и не все, что было, а только то, что строит собою всемирно-исторический процесс, включаясь, втягиваясь — раньше или позже — в его самоопределение, самоотрицание. Раньше или позже — это весьма существенно, и не только для практически действующего субъекта истории, но и для действующего по своим особым правилам теоретического постижения, теоретического преобразования Мира. Оно также *становится* — преодолением и отрицанием себя, притом особым преодолением и отрицанием: не изошренно-простым путем непрерывной рефлексии, идеального перпетуум-мобиле, которое, единожды заведенное, требует для себя лишь секты посвященных, авгуров понятия, перемигивающихся на глазах у погруженных в будни человеческих толп. Логика истории — пустой звук, если сырой, неорганизованной, суматошной истории "запрещено" вторгаться в пределы логики, поскольку эти вторжения лишь запутывают фундаментальное преходящим и понапрасну раздражают рефлексию, принуждая ее работать на холостом ходу.

Знакомству с жизнью Маркса известно, что он не только

”рвался” в гущу революционных событий и не был отрешен от страстей политической и фракционной борьбы, но и умел ”выключаться”, уносить теоретические ноги из мешанины эмигрантских переговариваний вчерашнего дня, игры честолюбий, повторов законченного во всемирно-историческом смысле или казавшегося ему таковым. И что же – эти вторжения в злобу дня и эти уходы из злобы дня – только биографические факты, составляющие одну лишь канву движения духа? Или они и есть та живая история *”предмета”*, без которой его попросту нет?! Нет – без внезапных кризисов мысли, неожиданных открытий и нечаянных тупиков, без Голгофы *”идеализации”*, как без них не было бы и той внешней, *будто бы* внешней Духу истории, где люди не только рождаются, чтобы умереть, но и досрочно умирают, не успев оставить следа и потомства*.

Впрочем, и сто и больше лет назад эта обратная связь не то, чтобы была неизвестной, незаметной, – память о Французской революции, воплотившей и сокрушившей Просвещение, не выветрилась начисто, но провозвестники и сторонники *”научного коммунизма”* имели основание полагать, что их минет чаша сия (залог – сдвоенный: бескорыстие и особые качества класса, которому нечего терять, кроме цепей, и особые качества теории, равно свободной от апологетики и от сентиментального негативизма, революционной в отношении не только буржуазного мира, но и в отношении самой себя – и собою начатого, ею вызванного к жизни движения...).

Но и то, и другое оказалось не столь безусловным, не столь *”имманентным”* – классу и теории. И то и другое – и бескорыстие, и строгость с необыкновенной быстротой стали превращаться в призраки, боящиеся петушиного крика белого дня – прозы жизни... До всяких оформленных *”...измов”* – оптимизм как господствующее настроение. Еще не самодовольство, только самоуверенность, и не злокачественная, а вполне доброкачественная, без которой и самих успехов бы не было и не стал бы выходец

* В Торжке, прекрасно-старом и захолюстном русском городе, зимой 1941-42-го, в промежутке между бомбежками госпиталя, поглощенный судьбами соседей, я мечтал о том, чтобы была написана когда-нибудь история людей, недоживших до своей истории, – которая самое Историю сделает другой – справедливой для всех; но, при этом, конечно же, не сомневался ни на секунду в неумолимости бессмертного движения *”от... к...”* – и могло ли бы мне прийти в голову, что своей мечтой я покушаюсь на *”теоретическую практику”* Маркса?!

из рабочей гуши столпом, центральной фигурой влиятельнейшей социал-демократии, фигурой, наиболее близкой и к основоположникам и к завоеванию власти. Тот же сдвоенный залог, но уже не вполне тот: с двух сторон – культ Результата, Результата-демиурга, Результата, тождественного замыслу, равнозначного цели, – а если тождественного, если равнозначного, то так ли нужна *сама по себе цель*? *Неизменной* – где ж ей быть, как не в движении, которое “важнее тысячи программ”, в результате, плодящем новые результаты, – растворенной в них без остатка либо с остатком, не вредящем делу – особым экстрактом из нравственных прописей и добродетелей. Тождественность, равнозначность, оптимизм “будущего-настоящего” – больше, чем мировоззрение, сильнее, чем дух – это плоть, характер, многоголовое и однозначное “Мы”. И так ли нужно знать этой плоти и этому “Мы”: тождественно ли “Я” Маркса ему же – автору “Манифеста” и “Капитала”? Уже не Маркс нужен и важен был, а марксизм – учение, которое “всесильно, потому что верно”. Спустя век или полвека заламывать руки по этому поводу кажется не более осмысленным, чем радоваться задним числом “триумфальному шествию” – забывая о *цене и расплате*, или отдавая ее во времени, замыкая в алхимический мрак, где в особом бульоне выростали, набирая исподволь силу и дожидаясь своего часа, вибрионы измены и злодейства.

Если бы так просто. Если бы так прямо. Если бы не было иного – и других, и не только рядом (“отступники”), но и внутри. Первая *новая левая* внутри. Немарксистской Коммуной и народнической Россией она стучалась в двери “идеализации”. Новой наукой, бросавшей вызов позитивистскому мандаринату, и переменами в художественном восприятии мира заново звала к сомнению, к признанию “непрозрачности” человека, несводимости его исторической жизни к одному-единственному основанию. Ах, если бы учли. Если бы были пошире. Если бы не мыслили одной только властью, властью во имя..., и все-таки ею одной как единственным – архимедовым рычагом. Если бы не тесные рамки централистской организации, не деспотизм партийной дисциплины. *Если бы..* тогда жили бы мы в совсем другом Мире с совсем другими напастями и нуждами; сегодня вправе твердо сказать: и в Мире неизжитого рабства, и в Мире торжествующей – чванливой и безнаказанной “белой кости”. Выбор можно, ведь, делать и обращаясь к прошлому, и это лишь до известной степени – “мнимый выбор”, поскольку выбирающий “свое” прошлое неизменно самоопределяется в будущем – открывает или закрывает его для себя. А закрывая,

творит новое самодовольство, новую самоуверенность — и мрачное прекраснотушие перечеркнувших былое. И тогда нет уроков во вчерашних падениях, превращениях, безднах — они "чьи-то", "чужие", анонимные, несмотря на все судейские персонификации...

А что же в таком случае не-простое, не-прямое, не-сводимое — и все-таки сведенное, подытоженное собственной явью? Не одна измена, не одно злодейство, не одна интоксикация властью и золотым тельцом, — и даже не сумма их, — больше, большее, ближе к себе первоначальному — отказом от себя первоначального. Что же это? Его — коммунизма — эдипова участь? Но — ему — спастись ли ослеплением во имя прозрения? Катарсис древних — предупреждение "окончательной" беды, и хотя по сюжету он всегда постфактум, по сути же, по действию — неизменно Пролог. Эллины верили, что Мир завершен, завершен, но не закончен, — и потому в нем неизменно происходит круговое движение и всегда есть место прекращению и возобновлению одного и того же, повторяемость; циклизм их не смущали. Напротив. В этом находили они и смысл, и радость бытия. Но как быть нам, уверенным, уверившим себя, что вся эволюция "выложилась", чтобы создать свой венец в историческом человеке, неумолимо восходящем все выше и выше?

"Спиною вперед" — нам в тягость. И то, что не сошлось, не оправдалось — подлежит проклятию, исключению из достояния, отказу от наследства. Не "роза на кресте современности", а пробел разумения. Но разве проклинаемый не заслужил свою участь? Разве не он накликал ее — на себя и других, без вины виноватых?..

Это предопределенность берет реванш за величайшую из попыток освободиться от нее — полностью и без остатка. Это "абсолютное движение становления", это оно своей утопической безмерностью, как и реальностью ограниченных (а потому ограничивающих) воплощений — ими обоими, ими вместе — роет себе яму. Это союзничество мысли и действия, тождество их движений обернулось взаимной враждой и общим падением, общей униженностью, общей утратой себя. Это люди, верившие, что куют броню, хранящую "их" революцию от поражений, мнившие, что уже выковали, — это они сами, скованные ею; приближали собственную гибель, беспомощные и даже жалкие в час окончательного — своего — поражения...

Энгельс — Марксу, в день пятидесятилетия последнего: "Какими же, однако, юными энтузиастами были мы 25 лет назад, когда воображали, что к этому времени давно будем гильотинированы". Да, подлинная Голгофа — награда. Бывает худшее, и, дай Бог,

заснуть в кресле задолго до решающего испытания идей историей.

Видя итог, уверены ли, что то, что видим — *итог*, а не середина пути? Может, все-таки иначе. Не так безнадежно; "просто" — кончается средневековые коммунизма и брезжит его Новое время? А раз кончается одно и брезжит другое, то чему же быть *между*, как не Ренессансу?.. Это Возрождение — не повторение. Оно также — открытие заново и критика оснований. Этому Возрождению ближе всего не Маркс-триумфатор, а Маркс, терпящий поражения — наедине с собой, и не столько важны сейчас уроки схваток, где олимпиец побивает "сикофантов", сколько поединок Маркса с Марксом... А ради чего возвращаться к этому, пробиваться внутрь духа, уже проделавшего — в самом широком смысле — свой земной путь? В чем резон — в катарсисе? И в нем. Непременно в нем. Но не только. Диалог Маркса с Марксом — судьба Континуума, вертикали восхождения. Диалог Господина и Раба: творца целостности и непрерывности всемирной истории с их заложником. "Раб" жертвует собой, чтобы воскресить, обновить "Господина". К концу жизни: догадка, прозрение — не таков вообще ход времени. Под сомнением — единственность мировых часов. Под вопросом — способность будущего приводить к одному основанию все — без остатка — прошлое. Единство всемирной истории расщепилось... В конце 1850-х идея "второго ХУ1-го века" вдохновляла, вела по лабиринтам и логическим кругам "Капитала". Автора не покидало убеждение: "второй ХУ1-й" — последний, третьему не быть. Так ли был уверен в этом Маркс 1870-х?

Заново — к старому вопросу: не погубит ли *близкую* социалистическую революцию Европы "*восходящее буржуазное развитие*" остального мира — заявленное Россией абсолютизма, который из "последнего слова" капиталистической эволюции уже извлек шанс самосохранения и новой экспансии?!.. Мрачность прогноза заострялась верой в пробуждающуюся и ни на что не похожую Россию нигилистов. Теория, давно распрощавшаяся с утопией, вновь встретилась с ней, и *в ней* открывала, заново находила *свой* предмет. Нашла ли?.. С другого конца к *естественности* мирового процесса. К признанию разнонаправленности развитий. И дальше... к новой точке отсчета, к новому исходному пункту? Неявно так. Так — трудностями, почти физическим ощущением их. Прерывом (навсегда!) работы над "Капиталом". Погружением в "эмпирическую" историю, напряженным интересом к ее внезапностям и импровизациям. Новым взглядом на общину — будто мертвую, теперь ожившую в общечеловеческом смысле. Странной надеждой: тем,

далеким, "динамитчикам" и пропагандистам, удастся перевернуть ход истории, остановить, прервать *восходящее* буржуазное развитие дома — и так открыть совсем иное (характером и исходом) восхождение Европы, Мира.

"...Не следует особенно бояться слова "архаический".

И что же — верил, что миллионы оттуда, из глубины "локализованных микрокосмов", из недр крестьянских миров окажутся лучше подготовленными, чтобы сотворить Мир-человечество, менее "хваткими" и более расположенными, чтобы уступить место "людям, созревшим для нового мира?" И что же — думал, что станет легче на свете, достигиме всеобщее освобождение, и не поражениями пойдет теперь вперед "человек-социум", и, возможно, и коммунистической революции не придется (во имя самоочищения *всех* от грязи и скверны) отрицать самое себя? Верил этому? Думал так — потому, что уходил и не в силах был уйти в безверии? Одержимый цельностью, ею дисциплинирующий веру, последними усилиями мозга стремился удержать архитектонику сооружаемого и перестраиваемого им мысленного здания, — одинокий в окружении единомышленников и "верноподданных"?

Берущийся судить результаты Маркса, да осудит их все — сполна. Иначе — мелко и нечестно. Осуждающий же пусть прикинет: что именно осуждает: то, что *было* или то, чему *быть*? Сугубо важное, коренное различие. Вопрос ребром — не равнозначный судьбе коммунизма, но неотделимый от нее и от него: быть ли дальше восхождению, поступательности? То, чем мы живем, что берет за глотку, на что надеемся, — история ли (единственная — *всемирная*) или уже *что-то другое*, чему еще нет названия??

Это — мы. Это — 1977-й. Две точки отсчета: эволюция и история, всеобщее и всемирное. Единство — в несовместимости их. Только этой несовместимостью еще жив коммунизм — тяжбой точек отсчета. Не сегодня началась эта тяжба и не одними силлогизмами она движется. В ней участвуют и молчаливые, в нее вхожи миллиарды. Это тяжба тысячелетий с веками. "Внеисторическое" переходит в "историческое", но никогда не полностью, не до конца! Переходя, сопротивляется переходу. Переходит — и отторгает начатый переход. "Внеисторическое" мстит за пренебрежение собой: с каждой ступенью вверх тяжелее схватка, мучительнее расплата. Последняя по времени: поражение ли из очередных или преддверие Конца?

Вопрос ждет не ответа, не ответов, *спора*. Но ежели предмет — деление на "истинный" и "неистинный" коммунизм, то нет спора — одна видимость. У этих — желание осудить и засудить, у тех —

получить всемирно-историческую индульгенцию. И с разных сторон — странное молчаливое предположение: истинность — в совпадении. Нет его — дело плохо, ищи виновного или тщишь доказывать, что "то, что было" и есть единственная истина, единственность воплощения ее. Но тогда — о чем спорить? Нужно или уступить — в соответствии с плюралистическим обетом, или оттачивать свою непримиримость... повторениями прописей. И разглядишь ли тогда в коммунизме Маркса — едином во всех превращениях, и в них же оспаривающем себя, враждебном себе — опознаешь ли в нем тяжбу стихий человеческой эволюции с усилиями разума подчинить их себе: усилиями, столь же плодотворными и недостаточными в преходяще-историческом смысле, сколь и тщетными, зато грандиозными в вечном, "конечном" смысле?!

Этим последним, вот, и утешиться бы, и заново бы вдохновиться. И таким путем, собственными арабесками прийти к согласию с собой, которое на зависть отличает "обыкновенный марксизм". Но не получается. Снисходительная мудрость — не ко двору. Сомнения одолевают — сомнения, затрагивающие и букву, и дух, сегодня даже больше дух, чем букву. Ибо сокрушения букв идут ныне с быстротой, особенно впечатляющей, когда сокрушающие уверяют и действительно уверены, что делают это во имя и именем несокрушимого духа, которому дано объяснить, объять и преобразовать Мир.

Меня же одолевает сомнение именно в этом. Сомнение в том, что на пользу нашему духу идет все на свете, все в прошлом, настоящем и будущем, включая любые "несовпадения", "отклонения". Это сомнение, правда, нетрудно бы устранить ссылкой на диалектику. Что и говорить, по самой сути своей — критической и революционной — *диалектика уравнивает*. Если противоречиями топится ее котел, то разве не в виде *тождества* воспаряется содержимое? Магическое слово "снятие" кружило умы не одному поколению искателей истины и свободы, хотя и многим противникам свободы и даже обскурантам оно также не было чужим. И нам ли позабыть рубеж, когда, покинув берег чистой рефлексии, диалектика разума вместе с Марксом глубоко вторглась внутрь материка действия — и навсегда осталась там... Так ли легко и просто вернуться ей "назад" — к первообразу, к "чистой" несовместимости истоков? Призраки кругом. Голоса мертвых требуют не покаяния и даже не расплаты. Это — малая цена. Малая, поскольку не сделает следующие поколения чище и мудрей. Итоги ставят под сомнение не только осуществителей, не только зачинателей, но

и сам *зачин*: ибо испытанию на разрыв подвергся вместе с коммунизмом (и внутри его) весь — в целом — критический разум, запечатлевший себя и в вековом движении новоевропейской культуры и в коллизиях *европейски-всемирной* истории. И такому же испытанию на разрыв подвергся вместе с коммунизмом, в нем самом, тысячелетний порыв исторического человека к равенству — неутолимая потребность, которая разрушала границы "локализованных микрокосмов", выводя человека на простор всеобщего развития.

Выводила — и не вывела. Напротив, столкнула всеобщность с развитием. Это признать всего труднее. Как признать, что у Свободы, *без которой нет развития*, в противниках Равенства — *без которого нет всеобщности?! Легко бы признать это ревнителю элитарности, но марксисту, коммунисту, демократу..!* И еще признать, что в этом противостоянии, в этой несовместимости замешаны и разум, и диалектика, и что "фокус" несовместимости не где-нибудь, а в самом коммунизме — от Маркса и до наших дней, хотя родословная ее ведет счет едва ли не от Адама-кроманьонца...

Не там ли, не на стыке ли различий: первоэтносов, разноязычий, не на границе ли "своего" с "чужим" зародилась эта смутная, тянущаяся к сознанию потребность — быть равными, сравняться; возникла вместе с "обменом", "товаром", "деньгами", "войной" и их квинтэссенцией: *рабством* — равносильным первоэтносовому равенству, но более способным оказаться основой межчеловеческих отношений; из столкновения их — новинка: *свобода* — эмбрион всемирной истории, которая и начиналась как противостояние несвободы и свободы, мира свободы миру несвободы, Полиса — Империи? И "через" свободу, которая значила — по сей день значит — не больше, чем отрицание рабства, не меньше, чем антирабство, *открыл* исторический человек и самое рабство, с громадным запозданием увидел, опознал его и тем "заново" *открыл* равенство, ощутил притягательность и недостижимость его, естественность и противоестественность в одно и то же время, его абсолютную реальность, равную жизни и смерти, и именно потому невозможность его: Невозможность, повелительно требующую другого Мира. "Ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного..." Так, во имя искоренения рабства, во имя равенства, объявляемого единственным всеобщим принципом, ему — равенству — приносилась в жертву свобода: *антирабство личности*, и завязывался узел на века, который разру-

бали, чтобы завязать покрепче, и снова разводили в стороны, одной из которых становилась свобода, утверждающая себя вертикалью восхождения, ступенчатостью, превращением всего, что было, в свою, себе творимую "предысторию", – свобода, равнозначная *развитию для себя*, а стало быть, немыслимая без доноров развития и потому вновь и вновь производящая на свет – "злодеев развития", в их числе – *злодеев для себя*, изнутри удушающих свободу насилием и развращением.

А на другой стороне этого планетарного разведения полюсов остались гигантские фрагменты эволюции *вне* вертикали, самодостаточные и самовоспроизводящиеся цивилизации, несводимые – сами по себе – к всемирно-историческому знаменателю, несводимостью этой воплощающие как равенство и всеобщность, так и нереализуемость равенства и нереализуемость всеобщности – вне контакта и вне ошибки с "развитием для себя", со "свободой для себя". На пересечении же того и другого величайшие из всплесков, свершений и трагедий, кровь, гибель, конец делению на "белую" и "черную" кость, поражения свободы и возобновления ее из пепла и крови – самое крупное, самое трагическое, самое обнадеживающее из возобновлений – ближайшее к нам: 1945-1956-1968... На пересечении того и другого: исторический Мир, который вместе с тем и не-Мир – "вертикально-горизонтальный" кентавр, движущийся к суверенности, к независимости всех исторических общностей, и раздвигающий границы несвободы, делающий – сделавший – ее одним из краеугольных оснований жизни на всех широтах и долготах. И все это суть мы, все "Я" и "Мы" без малейшего исключения. Это наша современность с ее тупиками и предкатастрофами, прорывом в космическую эволюцию и возвращением к исходному пункту человеческой истории, к возобновлению и обновлению Невозможности – невозможности уравновесить равенство и свободу, отождествить различия развитием их, как и невозможности вне этого, без этого сохраниться роду "человек": вот он – единственный источник новых, еще неопознанных возможностей, если таковые есть, если успеет современный человек открыть их, если не оборвутся искания и открытия – *совместимость в этом* – не оборвутся тем, что за порогом: невыносимостью совместной "жизни ради сохранения жизни"...

И ко всему этому причастен коммунизм? И без всего этого его нет? Говорящий – отчасти – языком "развитых" и мучимый их недугами, разочарованиями, их ограниченностью – неэкстраполируемостью в Мир?! И говорящий – отчасти – языком "развиваю-

щихся”, терзаемый их тупиками, ножницами, бьющийся над их неразрешимой апорией: *только догоняющий – не догонит?! И даже здесь, у нас – он дома, поскольку нынешние мы: неразвитые, неразвивающиеся* – тоже от него, и даже больше других от него. Ни с первыми, ни со вторыми, ни с третьими – с кем же: ни с кем или *со всеми?..* Подобно Миру – ни в будущем, ни в прошлом: *нигде?! Да, так.* (Оговорка – в моих глазах – бессмысленна, к чему бы иначе писать...). И только такой он, коммунизм – одна из многих надежд и нерастраченных возможностей. Только такой он близок к “дополнительности” человеческих миров: осмелюсь утверждать – ближе остальных идейных традиций и движений. Ближе, но при условии, что окажется способным открыть себя заново, раньше всего – самого себя, и тогда не минусом, не обвинительным актом, не синодиком, а плюсом – нравственным и мозговым императивом, виной и возможностью вместе окажутся его история – без единой пропущенной страницы – все его Голгофы и все судьбы: им освобожденных и им же погубленных навсегда людей, добровольцев действия или вовлеченных туда силой. Только так. Иное – обман. Обман и самоубийство.

Самоубийство – жалкие “однако” и “все же”, пресловутые “зиг-заги”, недостойные всемирного духа увертки и ссылки на дурную локальность, сетования на тупых разносчиков, перероженцев, злых гениев... Коммунизм, нуждающийся в адвокатах, снисходительно и научнообразно указывающих на существование других и даже худших разновидностей зла (“не в одном же месте все оно...”) перестает быть коммунизмом. На таком поприще Миру Маркса не выдержать встречи – один на один – с “Архипелагом ГУЛАГ”. Ибо не в достоверности каждого факта – колоссальная сила этого произведения и тем более не в политических страстях и призраках, гнездящиеся в голове его автора. Сила этой книги бытия – в масштабе, а масштабом этим является – по сути, по смыслу – не одна “зона России”, не одна Россия, не один Советский Союз, а *Мир. Зона Мир.* Мир человеческих страданий, которыми исключается коммунизм.

Не приемля этот абсолют отрицания, что противопоставит ему оппонент, отклонивший отречение? Конечно же, *не меньше, чем Мир.* Тут бы сказать: Мир человеческих страданий, которыми исключается антикоммунизм... – если бы не предельная двусмысленность в современном употреблении последнего термина, даже не термина, а ярлыка, без малого – параграфа уголовного законодательства. Но главная трудность все же не в подыскании слова

или очищении термина. Как ни очевиден, как ни неоспорим архипелаг ГУЛАГ, как ни документируй его возникновение — год, день — его происхождение остается тайной. Тайной всемирной истории. Разгадка одной неотделима от раскрытия другой. Тому, кто усомнится в этом, я назову самое сильное из доказательств — самого Солженицына. Его появление, его художнический дар, его — солженицынские — несовместимости, взлелеявшие этот дар, его прикованность к земле и неотрывность от Земли — в духе старой и совсем новой русской, российской традиции. И его Мир, его зона Мир, они — его и не его. Если пристальнее взглядеться, это — колоссальный перевертыш. Его предмет — тот же, что он отрицает в качестве предмета. Это — сигнал бедствия, слышимый повсюду, это призыв к спасению, но еще не прообраз его, даже не проблеск. Он задает масштаб вопрошанию, но не вопрос. Он вообще не спрашивает, а только отвечает — проклиняет, отлучает, заклинает, и считать это личным недостатком самого автора было бы непростительной нелепостью. Для вопроса, видимо, нужна другая духовная, мыслительная почва.

А она — где? В чем?

Если бы она была, если бы можно было указать на нее пальцем, то не было бы ни вопросов, ни желающего вопрошать. Было бы... не станем сейчас об этом говорить. Рано. И — стоит ли, взывая к признанию *вопросов без ответа*, начинать с ответа на самый коренной, самый трудный сегодня из всех вопросов? Стоит ли, признавая за *непониманием* право *быть*, начинать с того, чтобы указывать, каким ему следует *стать* — стать, чтобы добросовестное *не-понимание* не стало такой же жертвой старого непонимания — убежденно-го, злостного, самоуверенного и властвующего! — такой же жертвой, как еще не нашедшее себя, еще себя ищущее нынешнее *понимание*?

...Текст, открываемый этим Введением, писался по поводу проекта Конституции. Вскоре тот перестанет быть проектом. Сомневаться в этом не приходится. И так, перевернется еще одна страница. Что узнаем на следующей? Льщу себя надеждой, что написанное представит некоторый интерес для всех, кому эта следующая страница, по меньшей мере, небезразлична.

Что же касается вступления, то я хорошо сознаю недочеты его: повторы сказанного ниже, нестройность изложения и незавершенность многих мыслей. В оправдание: я написал вступление для себя и друзей, с кем не один раз обсуждал затронутые здесь сюже-

ты. Мы недоспорили. С призывом к продолжению спора я обращаю к ним эти листки.

Я поставил эпиграфом предсмертные слова Твардовского. В одном из опубликованных вариантов первая строка их звучит иначе: "Но еще *не* бездействен ропот огорченной твоей души..." Я избрал вариант без "не". Мне кажется, он более глубок и точен. Вероятно, он просто ближе моим сегодняшним мыслям.

24 августа 1977 г.

БЕРНАР-АНРИ ЛЕВИ

ВАРВАРСТВО С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ*

(Отрывки)

Об авторе

Бернар-Анри Леви (род. 1949), выпускник Эколь Нормаль Сюперьер, агреже философии, ответственный сотрудник издательства "Грассе". Книга его – теоретический проспект новой антилевой "ереси", написанный горячим и задиристым ее представителем.

Почему "антилевой", почему не просто правой и что тут нового?

"Новая философия" – она себя, кстати, и называет так – не отголосок старого консерватизма. Наоборот, духовные собратья Леви постоянно подчеркивают, что вышли из бедра европейской левой – при этом из левого же ее бедра!.. И если сегодня в Европе нет более страстных оппонентов еврокоммунистической идеологии, чем "новые философы", меткость их выпадов в болевые центры левой интеллигенции выдает и родство с ней, знание, которым не может обладать простой "перебежчик" – ренегат – это знание через самих себя, через собственную моральную и мозговую уязв-

* Публикуется издательством "Детинец" с любезного разрешения Бернара-Анри Леви.

ленность. "Новые" – на самом деле не новые, а те же: это "левая совесть", обратившаяся на этот раз против самого "левого мозга" – точнее, расхожей левой безмозглости, "этой сомнамбулической и слегка зашкающей левой, которая все еще пережевывает неясные споры о реформе и революции и чей теоретический кругозор не выходит за пределы давно уже не свежей полемики Ленина и Гильфердинга" (Б-А. Леви)...

Да, к своим-то и бывают так безжалостны. Неистовость "новых" – это азарт охоты на самообман, усиливаемый очевидным одиночеством в этом занятии. Нежелание прочих следовать им – нежелание быть левыми до конца. До невозможности быть левыми. До признания исторического поражения.

Многое в языке и восприятии "новых философов" нам недоступно, – волею скорее власти, чем судеб, мы не знали эпохи буйного цветения неомарксизма, превратившей его на Западе в сумму оппозиционных общих мест (судьба, ожидающая у нас, вероятно, либеральный антимарксизм). Интересно, однако, другое – несмотря на жаргон, речь их понятна нам. Но разве по причине антилевизны, антимарксизма? Ведь, марксизм, отвергаемый ими – это независимый, добровольно принятый и опробованный путь, – вовсе не тот, над которым мы хихикаем, когда он не может считаться с бумажки слово "перспектива". Близость, видимо, не в результатах, а в озадаченности ими: не в словах, а в сомнениях, в темпераменте сомнений! Мы видим перед собой не очередной случай "левых угрызений" (чешский август, советские процессы), в которых не бывало ни грана, сверх звучащего ничтожно и даже издевательски безопасно с берегов Сены – "не согласны... отягощает дело коммунистического строительства..." и т. п., да и того часто не было. Разве мы нуждались в охлаждающих сорбонских тампончиках на синяки и ушибы наши, а не желали, наконец, знать – действительно ли там и здесь мы одно, правда ли, что у нас и у тамошних левых одна, общая шкура?.. Зачем иначе эта симпатия без общности, эта европейская совестливость с того берега, уверенная, что, конечно, ее "дилеммы" и "альтернативы" весьма отличны от советских распрей, питаемых "бюрократическими искажениями" и "традициями восточного деспотизма"!.. Не левая идейность, не левая теория, а левое самодовольство отвратило прежние упования: их дом проседал с Востока, а они собирались строить "подлинный социализм" на третьем этаже.

Но вот первые левые, кто почувствовал на плечах российскую шкуру, и с нею – пустоту под ногами и принципами. Кто стал

продумывать и сводить наши концы. Правда, не слишком основательно. Правда, чересчур художественно. В заядлости "новой философии" подчас видна старая повадка студента, расписывающего стены лозунгами – нет, не в Ленинграде, а в Париже, беспечно!

В условиях западной безопасности западный левый прежде всего обязан опасно мыслить. Это – первоочередное.

Мы намерены еще вернуться к более обстоятельному знакомству с "новой философией" в лице ее, возможно, более обстоятельных представителей. Отрывки из книги Леви недостаточны для того, чтобы спорить с "новой философией", но делают спор необходимым и заставляют его желать.

П. П.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Гитлер не умер в Берлине, он выиграл войну, став победителем своих победителей в этой каменной ночи, куда он спихнул Европу.

Сталин не умер в Москве, не умер на XX съезде, он здесь, среди нас.

В этой книге я не делал иных попыток, кроме, как продумать до конца пессимизм в истории.

Часть 1. Пастух и его стадо

...Нет раскола альтернативы, нет множественности, нет расхода, которые быстро бы не сводились к гримасе единого... Государь — другое имя мира. Господин — метафора Сущего. Нет онтологии, которая не была бы политикой.

Сторонники Делеза верно заметили, что власть где-то затрагивает природу человека, что она не навязывается человеку, а происходит от него... Это... имеет отношение к самим условиям выживания человеческого рода... Возможно, власть означает не что иное, как волю жить или волю выжить.

Конечно, я думаю о философах, о печальных знатоках абсолютного Зла — Платоне или Шопенгауэре... И еще о Руссо, да, Руссо, которого я не осмеливаюсь назвать своим учителем, которого боюсь трогать, настолько он узнал больше, чем кто-либо, что значит мука. Руссо... забитый и замастурбированный насмерть своим веком... выдвинул прекрасный и страшный тезис о невозможности социализации Блага и Счастья... Пора перечитать первые страницы "Общественного договора", чтобы увидеть в них противоположное тому, что видят глупцы... Скажем, буквально прочесть знаменитое определение договорного обмена, который "каждый производит с самим собой" и, следовательно, не производит с другими; это не договор о мире и свободе между равными, о сообщничестве между соседями, но договор, радикально рвущий с самой идеей социальной связи. И, может быть, особенно следует переосмыслить место "Эмиля" (во всем творчестве Руссо)... вернуть ему по праву принадлежащее центральное место, определенное самим автором в известном письме... ("Эмиль возвестил.."), что простое отношение к другому, поскольку оно предполагает "сравнение", поскольку оно преобразует чистую "любовь к себе" и "себялюбие", поскольку разделяет в человеке "быть" и "казаться", становится злосчастной ареной, на которой выковываются

цепи народничества... Идея хорошего общества – абсурдная мечта; идея публичного Блага – ...идея мечтателей, быстро становящихся убийцами.

Сегодня, на двухвековом отдалении, нужно уметь видеть оригинальность (мысли Руссо), видеть, что отличает ее одновременно от пессимизма правых и оптимизма левых – от двух разновидностей проблематики естественного права. С одной стороны говорят: власть идет от природы и, следовательно, она вечна. С другой стороны: власть идет от культуры и, следовательно, она тленна. Руссо же впервые... уходит от альтернативы, оставляющей выбор между первородностью зла и посулами грядущего блаженства. Он говорит другое: что власть является тленной и нетленной одновременно, нетленной, как общество, и как оно же тленной. Он не утверждает, что несчастье будет длиться столько, сколько человеческий род: оно продлится столько, сколько человеческая природа будет кристаллизоваться в социальную связь. Он не говорит, что завтра будет лучше, потому что История изменится и культура шагнет вперед, но что завтра будет, как сегодня, – до тех пор, пока будут история и культура... Иными словами, его (Руссо) пессимизм – это не пессимизм Боссюэ..., это уже пессимизм Гегеля, связанный с таким определенным событием как рождение Истории и человечества как стада.

Они хорошо знают, бунтари всех времен..., что бунт немислим в недрах реального мира, что тщетна попытка социализировать бунт..., что нет в этой истории бунтарей, которые бы не были прежде *беглецами*... Говорено и переговорено: какая-то странная загадка таится в механизме московских процессов и в поведении их жертв; в этой безгласной покорности, с какой они соглашались играть навязанную им роль; в их молчаливом одобрении своего поражения; в той чепухе, которую они продолжали повторять и на эшафоте, о партии, "никогда не ошибающейся" и против которой не прав никто... Сил их лишили не пытка и террор: актом бунтарства они сами приговорили себя к молчанию и к десоциализации... Старые большевики без имени и без лица, не уверенные в почве под ногами, безразличные к своему веку, они платили за бунт абсолютной общественной смертью.

Власть... – это то, благодаря чему общество обретает структуру, живет, гармонично упорядочивается. Символ скорее, чем отражение, власть не столько увенчивает, сколько *основывает* общество... Власть... – это демиург, без которого общество ничто... Что делает

Власть? Она непрерывно делает общество существующим. Что такое Государь? То, благодаря чему, лишь отделившись от Блага, объединяются люди.

Часть II. Господство во всех его состояниях

Народы говорят, они говорят так, что не остановиться, — но никогда они не переставали говорить на языке своих господ.

Если есть слово, значит есть социальность, а социальность значит война. Раз есть языки и язык, значит есть нужда, нехватка, а, стало быть, несчастье.

Реальность не существует...

Власть не завладевает миром, она непрерывно порождает его во всей совокупности его измерений...; она и есть ткач, вырабатывающий ткань всякой реальности...

Порядок вещей — это власть, любое принуждение также в ее распоряжении; она соперничает уже не с гражданским обществом, а с Богом самолично, с перводвигателем планеты; ”вы будете как боги”, заявил Гитлер немецкому народу, обнажив невольно глубочайшую истину Власти.

История не существует.

Прошлое нет вовсе, есть только одновременно строгая и вольная операция, производящая реальность, которая затем подразумевается и на которую рассчитывают... Никто, наконец, лучше Пруста не понял, до какой степени время является пустотой, история — прерывистостью, а прошлое — чистым небытием...

Центральный вопрос...: если история не существует, а существует лишь, строго говоря, человеческая деятельность, искусственно вырабатывающая ее ткань..., как тогда Запад обрел такую память, откуда у него тогда такая сильная сращенность с исторической душой, каким образом он вскормил иллюзию необратимого, тотального и исполненного смысла времени...

Пример буржуазии, по-видимому, самый красноречивый. Не случайно ее пришествие совпало с наступлением Новой истории. Она (буржуазия) с неизбежностью перевернула наше отношение ко времени в той мере, в какой она революционизировала отношение мира к правилам власти... Жюль Ферри и радикалы с необходимостью колонизировали Африку и Индокитай, потому что они были верными учениками Просвещения, им виделся огромный часовой механизм, функционирующий от края до края еще не открытых земель, — то, что Маркс, например, называл универсальной

историей... Буржуазия обретает власть в той степени, в какой она получает власть над временем...

Господа — это прежде всего частные собственники времени. Отсюда ошибка социалистов, их фундаментальная глупость, вытекающая из самого, пожалуй, непоколебимого и самого позитивного их верования: их веры в Историю и их согласия с прогрессизмом. Они... рассматривают мир в его субстанциальной изменчивости, его разрывах и сдвигах; тем самым они садятся в сани Государя, берут внаем принадлежащее ему пространство-время, заключают новое в рамки длящегося, над которым он полный господин...

От Спартака до китайской культурной Революции нет бунта, который не был бы бунтом против времени, утратой памяти и забвением. История не существует, говорил я; теперь надо уточнить: История не существует как проект и сфера революции.

Вначале было Государство... Нет естественного состояния, природы не существует, нет ничего, что предшествовало бы власти (ключевое утверждение последовательного пессимизма), отсюда ряд следствий. Первое следствие. Вопреки тому, что давно утверждают демократы, *общественного договора не существует*, нет пакта, основывающего связь между людьми, нет прав граждан и обязанностей Государя... Политика Просвещения утверждала: с одной стороны, существует человеческая природа, с другой — Левиафан, и задача идеологов разместиться в промежутке, в этом узком, стесненном пространстве, откуда можно следить за соблюдением договора. Пессимистическая политика должна заявить обратное: на одной стороне есть индивид и на той же стороне — Государство, на одной стороне Левиафан и на другой стороне Левиафан, и нет, следовательно, никакого промежутка. Второе следствие. Если нет ничего, что предшествовало бы государству..., то значит оно первично, непроизводно, непроизводимо... Энгельс, выводя государство из общественного разделения, забыл поставить вопрос о самом этом разделении, о том, что для его осуществления необходимо было бы более фундаментальное насилие, первополитика, архигосударство... Ничто не производит его (государство), не вызывает его, не приводит к нему. А это значит — и здесь загадка — что Государство не имеет истоков, не имеет даты рождения, не имеет истории, *не является фактом Истории*. Третье следствие. Нет, стало быть, предшествующей государству Истории. История обретает смысл только с государством, они продукт одной и той же революции, ими открывающейся и ими продолженной.

Со всей строгостью можно сказать..., что только с государством

время становится Историей... Возникновение государства необратимо.. В этом, вероятно, смысл того, что Гегель понимал под таинственным "концом истории". Четвертое следствие. Индивид не существует, он всегда двойник государства... Мало показать, что нет индивидов до того, как они собрались вместе. Нужно идти дальше и сказать об индивиде то, что Ницше сказал о сознании: что индивид запоздал, что он чистый и пластичный продукт того, что было до него... Индивид не *есть*, он *становится*, он *становится государством*... Конкретно же, нет индивидуализма, который не нес в себе зародыша или обещания той или иной формы тоталитаризма: первый из них размножает то, что объединяет второй – и это называется демократией; второй всегда в наличии, он незаметно ограничивает крайности и результаты первого. Пятое следствие. Если индивид появляется лишь как слуга и опора власти, нужно отказаться от устарелых и связанных понятий угнетения и освобождения... Человек не обладает ничем, потому что им обладает государство. Чужак, он таков по призванию, ибо нет собственности, которую можно было бы у него отнять... Освободить можно лишь... нечто, онтологически укорененное, но у человека нет такой укорененности, поскольку онтологично лишь государство... Шестое следствие. "Революция" мыслима лишь при условии разрыва со всеми этими предрассудками. Революция – не что иное, как чистое отрицание реальности, Истории, Желания, Языка... Но есть и другое. Индивид ничто без государства, допустим: но опыт показывает, что государство без индивида – это голое насилие и лагеря. Собственная воля – лишь передатчик воли Господина, снова допустим, но опыт опять же показывает, что без первой последняя погрязает в страшнейшем варварстве... Именно здесь трагедия: та воля, которая является подручным власти, становится в самые черные часы прибежищем против тотального государства; антинатурализм, философски необходимый, будучи доведенным до конца, может означать варварство.

Часть III. Закат социализма

И вот, может быть, лозунг для окаменелого поколения: свернуть шею оптимизму и его довольному рассудку, облачиться в латы пессимизма, оглушить себя отчаянием.

Социализм – не просто одна из версий оптимизма, это самая опасная и самая грубая его карикатура, сумма и энциклопедия его лжи... Социалист ни о чем не забывает, ни о чем не сожалеет, ничего не отвергает. Все события и все несчастные случаи Истории немед-

ленно как бы раскладываются по полкам в гигантской памяти, по отношению к которой он хочет быть бдительным стражем и архивариусом. Он не знает, что такое Поражение, подлинное, неизбежное Поражение: он всегда осмысливает его как *отставание*, или как *этап*, или как *военную хитрость*, или как *откат* в таинственной борьбе, пути которых неисповедимы, но исход не оставляет ни малейшего сомнения... Для социалиста нет Зла, которое не было бы тенью Блага. Нет ни одного шага назад, который бы не был выкупом или предчувствием одного, двух шагов вперед... Так что, Гароди был, вероятно, прав в споре с Альтюссером: социализм действительно немислим без гегелевского ядра, функционирующий социализм требует, чтобы существовал Дух, который обнаруживает и познает себя в процессе самоутраты, Абсолют, который медлит, но никогда не уклоняется от пути, требует, чтобы была диалектика, которая не ведает ни энтропии, ни ущемления бытия.

И это они – социалисты – могильщики Капитала? Они скорее его официальные хроникеры, титулованные историографы, вводящие лад и смысл в хаос бессмысленного... Они, естественно, стерильны, пассивны и бессильны. Ибо *говорить* об Истории не всегда значит *делать* ее. А в буржуазную эпоху это значит навсегда закрыть ее от себя. Ничего удивительного, что им так редко принадлежит политическая инициатива. За свое призвание нотариусов они расплачиваются странной неспособностью к слову, к делу, к инновации. Ничего удивительного в том, что они функционируют как эрзац: платой за их чудесную память является у них атрофия воображения.

Социализм, по сути, никогда не выбирает ни поля борьбы, ни оружия борьбы. Он умеет лишь отвечать, реагировать, возражать – этот верховный современный исполнитель древнего закона "око за око, зуб за зуб..." Ставшее общим местом утверждение о том, что социализм неспособен создать проект общества, не лжет: ибо его общество – это общество Капитала и даже, к несчастью, не в перевернутом виде. Не лжет и то общее место, которое провозглашает бессилие социализма управлять государством, если не захватить власть, то по крайней мере удержать ее, поскольку функция и миссия социализма в другом... В век буржуазии, которая в отличие от феодального класса не объясняет, почему, каким образом и как она пришла, социализм стал этим "почему" и "как", стал разумом и сознанием ее (буржуазии) слепого действия.

Социализм – это не только мстительный ответ на рабство и угне-

тение, это также сопротивление, которое программируется, упорядочивается и продуцируется на высших уровнях Власти.

Перечитайте великих классиков (социализма), я имею в виду Блюма, Жореса, раннего Сореля. Они согласны в том, что, по меньшей мере, социализм необходим для борьбы на двух фронтах. Для борьбы слева против чистой революции, против этих вспышек мильенаристского бунта, которые наступают, как приступы лихорадки и которые необходимо легализовать, организовывать вокруг реальных, четких, гранулированных требований. И для борьбы справа, с другой опасностью, не менее страшной, конечно, но которую следует осмысливать в корреляции с первой, — с опасностью интегральной грануляции, тотального выравнивания социальной арены... (Социализм) резонирует в терминах арбитража, регулирования, гармонизации. Он представляет собой геометрическую точку, где сходятся различия, точку отдохновения в конфликте, экономию ничейного исхода. Интернационализм это не война. Борьба классов вовсе не борьба. И как раз для того, чтобы забыть войну и борьбу, Запад изобрел социализм...

Я не отрицаю, что он (социализм) в определенных обстоятельствах может быть сопротивлением варварству и даже, парадоксальным образом, тому варварству, которое он сам развязывает. Я просто требую, чтобы перестали, наконец, смешивать уровни и разновидности, чтобы словам вернули их смысл, а уровням анализа — иерархию. Да, левый социализм в его либеральной версии может оказаться наименьшим злом в мире, окоченевшим от Зла: но он не золотой ключик, отворяющий двери рая, не альтернатива несчастью и вечной боли жить... Его глубокое призвание в другом: отрицая бытийственность Зла и трагическое в Истории, будучи переполненным прошлым, следы которого он пережевывает, не мысля политики иначе, как в плане реакции и превращая эту реакцию в суд над иррациональностью буржуазии, социализм является по отношению к последней историком, моралистом и одновременно полицейским, он делает повешенных счастливыми, утопленных блаженными, он золотит болота и расчищает конюшни... Перевернутый образ капитала и фантазм поработенных, социализм также приобретает форму власти: как и власть это ложь, но ложь, дающая возможность жить.

Эта умиротворенная, населенная мнимостями и воображаемыми райскими местами история... держится, по правде говоря, если только ее опереть на существование своеобразного исторического класса, которому выпала по диалектике универсальная миссия.

Если есть разница между социалистическим оптимизмом и его предшественниками, то она в том, что последние ухватывают реальность, а первый рвет с нею; отличие "фермера" от "пролетария" в том, что первый существует во плоти, тогда как второй курьезным образом *не существует*... Этот парадоксальный, а для некоторых скандальный тезис ясно провозглашен самим Марксом ("Еврейский вопрос"): ни один класс общества не испытывает потребности или способности к универсальному освобождению... класс этот, следовательно, необходимо сконструировать, сконструировать априорно, средствами разума дать ему плоть, которой он не имеет в реальности. "Вот наш ответ, говорит он (Маркс): *нужно* сформировать класс радикально поработанный, класс буржуазного общества, класс, который был бы аннигиляцией всех классов". Императив недвусмыслен: *нужно* лекарство теории для трагической болезни бытия, нужно абстрактно заполнить вполне конкретную пустоту, нужно подчинить эту конкретность требованиям немецкой философии... Страшное признание, которое почти не комментируется: с акта своего рождения пролетариат — это невозможность, понятие, которой следует выработать вопреки Истории... Попытка могла бы стать величественной... Но Маркс не стал этого придерживаться, и есть другие тексты, утверждающие совсем другое. Тексты, где не описан пролетариат теоретически, он пытается описать его в реальности общества. И тут-то, к несчастью, он воплощает его в знакомой, слишком знакомой материи...: он *попросту* вылепливает его *по модели буржуазии* (доказательство приводится в книге Франсуазы Поль-Леви "Карл Маркс: история одного немецкого буржуа", Париж, 1976). Марксов пролетариат — это лишь перевернутый образ буржуазии, аналитически очищенный от своих исторических и политических изъянов; статус одного в капиталистическом обществе идентичен статусу второй при феодальном строе... Если пролетариат вправе надеяться на возведение своей особенности в ранг Универсального, то потому, что он также наследник 89-го года... Власть рабочего класса мыслится по схеме взятия власти буржуазией... И разве удивительно? Где здесь "скандал"? Это неизбежно с того мгновения, как наполняют содержанием понятие, его не имеющее, с того момента, как хотят идентифицировать класс, провозглашая в то же время его универсальное предназначение.

Пролетариат у власти — это быстро и с необходимостью низкий фарс танков в Будапеште и Праге, восстановление угнетения в

интересах нового Государя, взошедшего на навозе обманутых народных надежд.

Нет социалиста, который не был немного *часовщиком*, нет прогрессиста, который не устанавливал бы *час*, когда в силу "аккумуляции" противоречий хронология надламывается, разбивается и переворачивается... Успешное восстание всегда *своевременно*, потерпевшее поражение всегда *преждевременно*... Нет также социалиста, который не рассуждал бы как биолог, зоолог или эволюционист. Капитал — это *живое тело*, подчиненное, как и все живые тела, естественному закону *эволюции*. Коммунизм таится в его *лоне*... Всему соответствует время *расцвета*, потом *упадка*, о чем говорит метафора *созревания*... Нет также социалиста, который не вел бы себя как врач, который видит в противоречии лишь разновидность болезни... Политика — это искусство *диагностики*... Революция — это *кровопускание*, когда орудуют скальпелем то в слабом, то в сильном звене... Часовщик, биолог и врач — таков всегда прогрессист..., именно в эти три пункта следует направлять критику.

Час, который не приходит, это час, погружающийся в вечность; противоречие, которое созревает — это разрешающийся кризис; класс, который вооружается, это всегда интегрирующийся (в систему) класс, учить его терпению значит учить (классовому) сотрудничеству... Капитал это логика Времени. А значит нет кризиса во времени, который не разрешался бы в пространстве. Нет "хронического" противоречия, которое не имело бы "логического" разрешения; нет кризиса, нет противоречия, которые не возвращались, хотя бы сталинским кривым путем, к фатальности господства... Осмыслять капитализм как вид правления, подчиненный подобно другим видам неколебимым законам биологической эволюции, — значит игнорировать его отличия от всех исторически предшествующих способов производства, это забывать, что он (капитализм) изобретает тип общества, впервые пытающегося отрицать собственную смерть... Дело не в том, что кто-то пытается остановить процесс смерти. Напротив, ее постоянно вызывают, программируют в форме "морального износа" товаров, "обращения" капиталов, "цикла" производства... Капитализм живет смертью, живет за счет смерти, отрицая ее и отказываясь представлять. И в этом его тайна. Вот подлинная революция. Из этой смерти, которую он (капитализм) организует, отказываясь ее осмыслить, он делает средство утверждения собственной жизни... Существует, конечно, перманентный кризис, анализируемый Марксом, между частным характером присвоения и общественным характером производства.

Но отнюдь не завязываясь, этот кризис развязывается, чтобы завязаться дальше, т. е. переместиться.

Политический взрыв — не что иное, как драматический способ расширенного воспроизводства Капитала. Социальный кризис — не что иное, как гомеостаз общественных выделений. И поэтому хватает кричать о победе каждый раз, когда дрожит земля: система, которая носит в себе смерть и размещает ее не на периферии, а в самом центре своего функционирующего организма, — такая система в полном смысле слова бессмертна.

Посмотрите, к примеру, на чем греческий полис основывал свою легитимность. В его бессознательном пространстве ему был необходим миф о природе, куда он в беспорядке вытеснял все, что было вне и до закона. Он нуждался то в золотом веке, то в веке дикости, как в матрице, по которой происходило исключение... Только с капитализмом появляется тип общественной связи, больше основанный на включении, чем на исключении... Нет никого, вплоть до собственных мятежников, кого он (капитализм) не старался бы включить (в свою систему)... Для Капитала нет больше варваров, он претендует на универсальный язык. С другой стороны, если он бывает вынужден исключать и приговаривать к маргинальности, это тоже выступает дополнительным средством его упрочения... Нет бунта, который не становился бы фактором укрепления порядка.

Капитал всегда осмыслили как восход, как восход нового мира, который все еще начинается; все указывает на то, что это закат, сумерки без возраста и без конца... Если Капитал означает конец Истории, то в том строгом смысле, что он есть истина Запада и его необходимое следствие.

Часть IV. Обыкновенный фашизм

Если нет оптимистического конца, то есть, может быть, как компенсация, трагический конец или концы; если хорошее общество — благоглупость, то ад, может быть, возможен и реален. И в этом действительно урок века... Говорено и переговорено: фашизм и сталинизм будут иметь для современного мира, возможно, такое же значение, как для классической эпохи потрясение 1789 года. Да, капитализм — это конец Истории: и ввиду этого конца нам, к несчастью, известны и будут известны лишь кровавые и варварские развязки.

Если я говорю о варварстве, то чтобы описать будущее, которое

не является этапом, не является диалектически выведенным из чего-то иного, чтобы описать чудовище, которое не является плодом греха во чреве капитализма; (если я говорю об этом) то, чтобы предсказать некое "по ту сторону", которое не есть "вне" или "после", но — *тупик*. Варварство — это не иное Капитала, это сам Капитал, всегда Капитал, Капитал в его истине; варварство это не динамика, а именно статика, это даже не состояние, а Капитал во всех его состояниях... Сама марксистская теория, поскольку она освещает гегелевскую мечту мира-становления истины и становления — истины мира, приходит к идеалу, который, как увидим, является одним из определений современной тирании. Если верно, что капиталом завершается Запад, то сталинизм есть завершение самого завершения.

Что такое ГУЛаг? Это эпоха Просвещения минус терпимость. Что такое пятилетний план? Это буржуазный экономизм плюс террор и полиция.

Хорошо известны обильные ссылки во всем творчестве Маркса на "социальную природу", которая медленно, постепенно заменяет изначальную природу своими машинами, своей искусственностью, своими приборами. Уничтожить частную собственность в этой перспективе — не что иное, как до самого последнего уголка превратить мир в *поле для эксплуатации*. Уничтожить материальную нищету — не что иное, как генерализировать *господство техники*. Экспроприировать экспроприаторов — это до конца освоить пространство и свести его разом к *абстрактной сверхприроде*, той, что управляется технократами... Что значит социальное равенство для социалиста, как не политический итог такого роста *производительных сил*, о котором и самые дьявольские капиталисты не осмеливались мечтать... Маркс не просто философ техники (см. Костас Акселос. "Маркс — философ техники"), он также и прежде всего философ фабрики, единственный, который отважился додумать ее идею до самого черного дна. Мало сказать, что он загнипнотизирован промышленной революцией и буржуазией своего времени, надо пойти дальше и сказать, что он и не воображал нового мира иначе, как их истины и тотального воплощения. Социализм у власти — это не только модальность Капитала, это его *варварская* модальность, которой не страшно никакое короткое замыкание истории на пути к стерильности, обещанной обществом Капиталом.

Техника, вождество, социализм — вот три типовых облика

современной трагедии. Вот три угрозы, нависшие над судьбой Запада...

Три образа варварства... имеют общий знаменатель..., который с эпохи Просвещения зовется на Западе *прогрессом*.

Быть социалистом — это верить в необходимость, а верить в необходимость — это сплавлять старое и новое в ядре безвариантного.. Недаром марксистские государства самые репрессивные из существующих — ведь буквально толкуя необратимость прогресса, они превращают малейший ложный шаг в недопустимое отпадение... Если социализм — это чудовищная реальность, воплощенная в ГУЛаге, то не потому, что он что-то деформирует, искажает, предает, а потому что он верен, *до предела* верен идее прогресса в том виде, как она возникла на Западе.

Прогресс это не иллюзия, не прихоть угнетенного сознания, это *аутентичная реальность*, реальность посюстороннего мира... Разломы и разрывы развития не затрагивают фундаментального единства, фундаментальной *тенденции* к единству; Ростоу, если исключить несколько неточностей, прав в том, что прогрессировать — это прежде всего продвигаться к упадку... Двигаться вперед и идти к упадку — два модуса одного и того же процесса... — прогресса, который суть ужас варварства. Нужно верить в прогресс, верить в его бесконечную мощь и кредитовать его в той мере, в какой он требует; но нужно также и обличить его как реакционный механизм, ведущий мир к катастрофе... Нет, мир не блуждает и не теряется в лабиринте возможного, он прямо шагает к единообразию, мелководью, усредненности; и протестуя против этого, сегодня впервые нужно провозглашать себя *антипрогрессистом*.

В тоталитаризме... — новизна и неслыханность нашей эпохи, ее непроходящее прошлое и облик нашего будущего... Сталинизм и фашизм — не отклонения от маршрута, как долго полагало наше беспамятство, это планетарные перегонные аппараты, где уже 50 лет экспериментируются новые формы власти... Гитлер и Сталин... — истинные философы политической мутации, какой Запад не видел, быть может, с начала своего упадка.

Нет власти, которая не была бы устремлена к абсолютной власти.

Если фашизм неотразим, то чтобы его осмыслить, нужно освободиться от понятия сопротивления, а также перестроить понятие власти... (нужно отойти от) власти, толкуемой в метафорах войны..., власти, воплощенной в политических крепостях и революционных осадных машинах, (нужно отказаться) от общего багажа

ортодоксальных марксистов и тех, кто подобно Фуко, определяет класс как стратегическое соединение, политический текст как устав бойца, общественные отношения – как позиционную войну.

Новая почва, на которую я хочу сейчас встать – это почва, указанная Платоном в знаменитом мифе, где он определял Политику как небесного пастыря, управляющего человеческим стадом. Эта почва, которую намечал Кант, когда он пытался анализировать современное государство как следствие или отражение монотеистического феномена. Это также почва, исследованная стареющим Фрейдом в его замечательной "Болезни цивилизации". С самого своего возникновения Запад не переставал осмыслять власть в зеркале Божественного. Он не нашел до сих пор лучшей общественной связи, чем классическая религиозная связь. Политика – не что иное и никогда не была ничем иным, как образом Религии...

Сегодня впервые оно (государство) обходится без внешнего авторитета, без привязки к божественному. Первый раз оно порывает с диффузным теизмом, без которого общество никогда не обходилось. Закат богов, прелюдия к закату людей. Переосмыслить прошлое религий, чтобы понять наше грядущее...

От деспотической монархии до просвещенного деспотизма, от античного феодализма до республиканского идеала я не знаю политики, которая не делала бы себя зависящей от высшего Блага, которая не очерчивала бы небо своего идеала... В гитлеризме ничего нельзя понять, если забыть, что одной из его мишеней было запредельное, как прибежище индивида и ограничение властителя, образ трансцендентного как границы всемогущего и смертоносному бреду власти...

Тоталитарное государство – это не светское государство без верований, это, если быть точнее, государство, которое обмирщает религию и делает верования профаническими... Каждый раз, когда религия находит воплощение, а Священное опускается на землю, каждый раз, когда Религию из неба политики превращают в ее земную подпорку, – и варварство, и мертвящий бред близки.

Тоталитаризм – это состояние политики, при котором Государь впервые полагает себя Сувереном. Закон тоталитаризма функционирует и осмысляет себя как чистая регламентация, простое управление разделением труда; закон либерализма признает другую роль – символическое учреждение общественной связи. Общественное разделение для либерала всегда первичный и онтологический факт; свойством сталинофашизма является его сведение к простому техническому разделению труда.

Тоталитарное государство – это не полицейские, а ученые у власти; это не разнузданная сила, а взнузданная истина; это не грубая репрессия, это наука и точность; кто говорит тотальная власть, говорит на самом деле тотальное знание... Берегитесь республики ученых! Она стоит казарменного режима... Тоталитарное государство не является и не может быть управлением вещей: ибо мобилизуемое им знание не только надзирает и запрещает, но также производит и преобразует.

(Слово граждан) тоталитарное государство не пронзает штыком, не подвергает цензуре, не душит. Если оно действительно стремится к абсолютной власти, то оно стремится к господству над душами также, как над телами; если оно стремится к господству над душами, ему необходимо зондировать сердца также, как терзать плоть; и если оно стремится привязать к себе их, то не зондируешь их лучше, чем понудив их к словоизвержению, собирая затем это вольное слово и конфискуя его... Нет преуспевшей диктатуры без введения в действие этих процедур, с помощью которых приглашают, заставляют говорить. Тоталитаризм – это исповедь минус Бог.

О всеприсутствии (тоталитарного государства) можно заключать не без оговорки, поскольку оно стремится к тотальной власти через тотальное знание. Эта тотальная власть, это универсальное знание достигается и реализуется (государством), когда последнее делается невидимым и почти отсутствующим... Государство является тоталитарным, когда растворяя политическое начало, оно притворяется, что аннулировало и упразднило его... Его идеальный образ – это исчезающее, тихое, неприметное государство; его законченный облик – это государство, которого больше не видно, настолько оно повсюду.

Часть V. Новый Государь

Похоже, что нам остается только выбрать между той или иной формой тоталитаризма... Будет ли это тоталитаризм Карла Шмидта или Иосифа Сталина?.. По-моему, игра сыграна: для нас, людей Запада, будущее варварство примет самый трагический облик: "человеческий" облик социализма.

Я больше обязан Солженищину, чем большинству социологов, историков, философов, размышлявших последние 30 лет над историей Запада. Загадка этой книги ("Архипелаг ГУЛag") в том, что одного ее публикации достало для смещения нашего ланд-

шафта и наших идеологических вех... Это прежде всего *произведение искусства*, которое, как все произведения искусства, буквально ничего не доказывает, но обличает необличимое, именуется неизменное, побуждает к *вере* в то, по поводу чего довольствовались *знанием*. Солженицын – это Шекспир нашего времени, единственный, кто умеет показать чудищ, заставить узреть ужас, пристально всмотреться в Зло... Это произведение нужно было для того, чтоб стали разборчивыми, просто *разборчивыми* слова, которые висели у нас на кончике языка, но которые мы не решались произнести, которые мы предчувствовали, не зная, или знали, не говоря: что червь не подтачивал плода, что грех не был поздним, поскольку червь это и есть плод, и грех – это Маркс... И нужен был Солженицын-зэк, Солженицын-гэз, чтоб расставить вещи по своим местам... Советский лагерь является марксистским, настолько же марксистским, насколько Освенцим – нацистским... Нет лагерей без марксизма, – говорил Глюксман. Нужно добавить: нет и социализма без лагерей, нет бесклассового общества без его истины в терроре...

Марксизм – религия нашего времени... Фаталистичный и практический, реалистичный и "обыкновенный", марксизм становится современным видом здравого смысла... У нас есть марксистский урбанизм, марксистский психоанализ, марксистская эстетика, марксистская нумизматика. Нет больше области знания, куда бы марксизм позабыл заглянуть, нет больше заповедной и запретной территории... Сейчас, когда я пишу, Рим становится *столицей Запада*. Вечный город христианства и город марксизма, он является точным местом их исторического компромисса. Снова – Пакт Романа, пакт между Государем-вечности и будущим Государем мира сего...

Марксизм чувствует себя хорошо, он никогда себя так хорошо не чувствовал, кризис марксизма существует только в наших головах и в наших книгах. Он шестует..., пропитывая, несмотря на свой интеллектуальный упадок – тончайшие слои и мельчайшие поры гражданского и политического общества... Современная Франция говорит языком материализма, как Журден прозой. Завтра, а, может быть, уже сегодня, она окажется марксизированной до такой степени, какую и представить не могут ученые доктора и "властители дум". Конечно, этот марксизм не прописан в книгах и ученых трактатах. Он соотносится с несколькими простыми формулами, с конечным числом клише, которых довольно, чтобы составить мозаику духа времени...

Язык всех — это смерть членораздельной речи, и достаточно "найти общий язык", чтобы перестать понимать. Марксизм одновременно и непротиворечиво — мышление нашего времени и препятствие его мысли.

...Антимарксист? Да, им нужно быть, и это означает две вещи. Будучи бессильным осмыслить революцию вне ее сведения к схемам, которые душат ее самосознание..., марксизм в буквальном смысле стал контрреволюционной мыслью: если вдруг вопрос о Революции может вновь обрести смысл, если безрассудный проект изменить жизнь и изменить мир может сегодня иметь какое-то основание, если Западу понадобятся новые резоны для борьбы и новая добыча для стихии бунта, то старая мечта воплотится лишь в сражениях с современным Государем, в сражении с *Политикой*, какова она есть; следовательно, в сражении с материализмом и только с ним одним. Нет "проблемы марксизма", есть лишь, в который раз, проблема Революции. Идея *антимарксистской политики* абсурдна, непригодна, противоречива по определению. Антимарксизм — ничто иное, и не может быть ничем иным, как современной формой сопротивления Политике...

Послесловие

Нужно уметь говорить НЕТ. Нет соблазну размягчающего эскапизма. Нет — самозабвению и опьянению всевозможных "зачем" и "почему". Я попытался заложить краеугольные камни того, что назвал "пессимизмом в Истории"... Этот проект имеет смысл лишь на основе этики, которую плоско можно бы назвать *этикой трезвости и правды*. Пессимизм чего-то стоит только тогда, когда он в самом конце высвобождает небольшое, но прочное основание для *уверенности и отказа*...

С какой позиции сопротивляться? Это следует само собой: никогда больше мы не будем советниками Государей, никогда больше мы не возьмем власть и не нацелимся на нее...

Каким оружием бороться? Здесь снова уверенность: никогда больше мы не станем вождями и маяками народов, никогда не поставим себя "на службу" восставшим. На что массам эти тщеславные "принципы", прививаемые книжниками — жалкая тень тысячелетнего рабства? Что значит для бунтарей все знание — разве история не свидетельствует о том, что они начинают бунт именно для того, чтобы *не знать*, чтобы опрокинуть ход времени, память и план...! Нужно навеки отказаться "служить народу"...

Путь очень труден, а дверь узка. Если верно, что мы не чиновники и не рычаг истории, что Король смеется над мудрецами, а мудрец не король, что массам плевать на просвещение, а просвещение злоупотребляет массами, нам остается просто-напросто быть тем человеческим видом, который Запад зовет Интеллектуалами... Вот почему я утверждаю: интеллектуал-антиварвар будет прежде всего метафизиком...

Конечно, мы не будем больше политическими активистами — надолго сосланные от того, что зовется политикой. Но остался еще вопрос, относящийся к нам по праву, об *онтологических* возможностях Революции... Осталось требование, которое будет нашей заботой — выдержать самое безумное, самое бессмысленное из всех пари, пари за изменение человека в глубочайших его глубях. Да, мы знаем, что мир склоняется перед диктатом Господина и мы *не верим*, что этот закон когда-нибудь уступит нашим желаниям, — но мы будем продолжать *мыслить, мыслить без веры*, осмысливая невозможную идею — Мира, избавленного от Господства. Зачем это — спросят глупцы. Зачем упорствовать в том, что сегодня выглядит окончательной ошибкой? Потому что только отсюда и только из этого пункта, начиная с этой, как вы говорите, "ошибки", возможна облава на иллюзии...

Вот почему я утверждаю: интеллектуал-антиварвар будет также художником. Ибо Искусство — тысячелетиями возводившаяся плотина против пустоты смерти, хаотической бесформенности, зыбучих песков ужаса...

Вот почему я утверждаю: интеллектуал-антиварвар будет, наконец, *моралистом*, и когда я говорю слово "моралист", я имею в виду его классический смысл, смысл Канта, Камю или Мерло-Понти. Я хорошо знаю секреты и колесики категорического императива, — но я предпочитаю эту ложь лжи историцистского предрассудка, то есть мораль мужества и правды — вялой трусости фатализма. Мне также известно, что после Ницше Бог мертв, но я верю в ценности атеистической духовности перед лицом теперешнего слабоволия и смирения.

КУЛЬТУРА

Г. ПОМЕРАНЦ

ТОЛСТОЙ И ВОСТОК

Эта работа – доклад, тема которого была мне предложена проф. Витторе Бранка для выступления на конференции "Гуманизм Толстого" в Венеции (окт. 1978 г.). Я не рассчитывал, что меня самого пустят, но доклад написал и отправил по почте. 11 ноября заказное письмо пришло обратно с разъяснением, что рукописи Московский почтамт к отправке за рубеж не принимает: для этого уполномочены некоторые организации по особому списку. Я имел случай убедиться, что обращаться в подобные организации (мне, по крайней мере) бесполезно. В 1977 г. пришел гонорар за переводы моих статей (ранее опубликованных в СССР) в журнале "Диоген". ВААП соглашался выдать мне деньги, если какое-нибудь учреждение даст бумажку, что не возражает против этого, т. е. против перевода моих статей, прошедших довольно жесткое редактирование и главлит. Институт, в котором я работал, отказал: институт, отвечавший за сборник, в котором была опубликована одна из статей, тоже отказал. Из Тарту мне не ответили, после этого опыта не имело смысла обивать пороги. В самом лучшем и почти невероятном случае пришлось бы подчиниться предварительной цензуре, что-то вычёркивать... А я свое отслужил, более не сотрудник Академии наук и от опеки над своей мыслью устал.

* * *

Тема "Толстой и Восток" давно привлекала внимание; не раз уже отмечено было адаптивное Толстым классиков китайской

философии, его влияние на Ганди, переписка с Ку Хун-мином и т. д.¹⁾ Можно поставить Толстого в ряд со многими европейцами, находившими на Востоке поддержку в своей полемике с другими европейцами, в своем индивидуальном духовном развитии, не укладывавшемся в европейские колен. Однако Толстой принадлежит скорее европоизированному миру, чем собственно Европе, и существует также возможность рассматривать его в одном ряду с мыслителями и поэтами Азии, испытывавшими влияние Запада. Обе эти возможности нас не вполне удовлетворяют. Мы сталкиваемся здесь с трудностью, которую вызывает любое углубление в проблемы русской культуры (к какому миру принадлежит Россия?) и еще с одной трудностью, связанной с расплывчатостью понятия Восток.

Запад — вполне определенный "культурный круг" (Шпенглер), "цивилизация" (Тейнби), "коалиция культур" (Леви-Стросс) или субэкумена²⁾ Но что такое Восток? Все, что не Запад? Тогда лучше так и говорить Незапад, подчеркивая условность объединения нескольких культурных миров Азии, плюс Африка, плюс не вполне латинизированные страны Латинской Америки, плюс Россия, — каждый мир со своей историей и судьбой... Толстой (как и вся Россия) принадлежит Незападу, не принадлежа Востоку; во всяком случае, — ни одной из устойчивых цивилизаций Востока: ни миру ислама, ни индоевропейскому миру. Можно говорить о восточности России в рамках средиземноморской дихотомии: Россия продолжает традиции восточной ветви вселенской церкви и Восточной Римской империи. Но как раз против этих традиций Толстой решительно восстает. Здесь "восточен" Достоевский, а Толстой в своей резкой критике русского византизма смыкается с самыми крайними западниками.

Что же такое Незапад? Можно ли говорить о культуре Незапада?

По нашему мнению, культурная общность Незапада создана только процессом вестернизации. Незападный (но и не собственно восточный) слой культуры характеризуется расколом на западников и этнофилов (защитников местного своеобразия) и спором сторонников и противников вестернизации, — чуждым как собст-

1) См. в особенности книгу: Шифман А. И. Лев Толстой и Восток, М.; 1971.

2) См. нашу статью: Теория субэкумен и проблема своеобразия восточных культур. Ученые записки Тартуского ун-та, 1976, Вып. 392. Труды по востоковедению, № 3, с. 42-67.

венно Западу, так и Востоку (до контакта с Западом). Этот модернизированный слой не очень глубок и прорывается, как только мы от социальных и политических проблем перейдем к религиозно-философским. Термин "Незапад", "незападные страны", продуктивный в социологии, тотчас теряет здесь смысл. В исследовании религии и философии в одну группу попадают иудаизм, христианство и ислам (сонаследники библейской и эллинской мудрости), в другую – страны индийского Востока, в третью – страны Дальнего Востока. Незападность Тагора и Лу Синя не создает их глубинной общности. Не определяет она и характерно толстовское в мирозерцании Толстого, – его позицию философского Робинзона.

Каким образом в России XIX в., рядом с западничеством и славянофильством, воплотилась мечта Ибн Туфейля, Руссо и Хаксли, и устами русского графа заговорил "благородный дикарь"? Этот уникальный случай, оставаясь уникальным, требует объяснения. Гомеровский эпос невозможен в век парашютов и железных дорог. Как же стал возможным толстовский эпос, с могучей медленностью "Войны и мира"? Каким образом человек, приехавший в Люцерн по железной дороге, написал "Люцерн", стряхнул со своих ног прах прогресса и стал писать так, словно впервые – пешком – шагнул в историю, пробуя ее босыми ногами? Философствовать так, словно до него не было никакой философии? Какая традиция привела к толстовскому отрицанию традиций высокой культуры? На какие слои народного сознания опирался его бунт?

Некоторый свет на феномен Толстого проливает концепция русской истории, изложенная в статье Г. П. Федотова "Трагедия русской интеллигенции"¹⁾. В первой части статьи, "Пролог в Киеве" Федотов подчеркивает двойственное значение славянского перевода Библии: русский язык обогатился греческими кальками; но отнят был стимул изучать греческий, как Запад изучал латынь; языковой барьер отрезал Русь от философской традиции Средиземноморья. "Не хотели читать Платона – стали зубрить Каутского" – эпиграмматически заключает Федотов. Но с отсутствием философской традиции можно связать и некоторые достоинства русской культуры, или, по крайней мере, русского романа XIX в., впервые открывшего для русского духа его философское измерение.

¹⁾К сожалению, у автора нет под руками книги Федотова, и он лишен возможности дать точную ссылку.

Русские мыслители начала XX в., как-то вдруг появившиеся после нескольких нефилософских веков, вырастают из романов Достоевского и Толстого, как натуральная школа — из гоголевской "Шинели". Почти все они комментируют Достоевского и полемизируют со Львом Толстым, обнаруживая так называемую "почву", в которую уходят своими корнями. Философская насыщенность текстов Достоевского и Толстого не идет ни в какое сравнение с современной им западной литературой. Если есть какая-то параллель, то разве "Фауст" Гете. Но "Фауст" был переключкой поэзии с философией Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля. А Достоевский и Толстой слишком могучи, сравнительно с Чаадаевым, Белинским и ранними славянофилами. Русский роман не столько откликается на философское движение, сколько создает его, как библейский бог создал мир из ничего. В этой философской первозданности — сила русского романа. Великие русские писатели ставят коренные вопросы бытия так, словно их никто никогда еще не ставил. Это для Достоевского, для Толстого еще сама жизнь, а не предмет университетского преподавания (которому не место в изящной литературе).

С первозданностью философии связана и неловкость в рассуждениях, бросающаяся в глаза, особенно у Толстого. Достоевский лучше понимал технические трудности предмета и осторожнее их обходил, бросая заветные мысли короткой репликой, не разжевывая и не "унижая идею", а наивность утрируя и превращая в характеристику персонажа. Толстой чаще брался за указку учителя и чаще ставил себя в положение, которое было бы смешным, если бы не было великим (от смешного до великого так же недалеко, как от великого до смешного).

Прямолинейность мысли Толстого вызывала взрывы сарказма у мыслителей серебряного века; однако рассуждения самоучки из Ясной Поляны до сих пор интересны, до сих пор комментируются... Мы интуитивно чувствуем, что Толстой не был попросту плохим мыслителем. Банальная фраза, что хороший художник — плохой мыслитель, вряд ли когда-нибудь была совершенно верна. Во всяком случае, она неверна, когда писатель ставит философскую проблему как вопрос собственной жизни и смерти, — "до полной гибели всерьез" (Пастернак). Постановка вопроса — это акт мысли, и может быть более важный, чем ответ. Ответы, идеалы разъединяют (Восток от Запада, христиан от буддистов и проч.). Открытые вопросы объединяют людей и ставят каждого перед одной для всех вечностью.

Толстой велик как мыслитель в своем умении заново, — сдирая хрестоматийный глянец ответов, — ставить вечные вопросы: о бесконечности, смерти, несправедливости, страдании. Чтобы почувствовать силу его переживания абстрактных идей, достаточно привести несколько строк из романа "Анна Каренина" (ч. 8, гл. 9): "В бесконечном времени, в бесконечности материи, в бесконечном пространстве выделяется пузырек-организм, и пузырек этот подержится и лопнет, и пузырек этот я... Эта была мучительная неправда, но это был единственный, последний результат вековых трудов мысли человеческой в этом направлении... Это была жестокая насмешка какой-то злой силы... Надо было избавиться от этой силы, и избавление было в руках каждого. Надо было прекратить эту зависимость от зла, и было одно средство — смерть. И счастливый семьянин, здоровый человек Левин был несколько раз так близок к самоубийству, что спрятал шнурок, чтобы не повеситься, и боялся ходить с ружьем, чтобы не застрелиться".

Тот, кого это никогда не потрясало, может стать профессором философии, но мыслителем он не родился. Толстой родился мыслителем и отсутствие хорошей философской школы не отымает у него метафизического первородства. Он видит, чувствует мысли. В самом ужасе, с которым он отшатывается от метафизической бездны, есть глубинная достоверность; есть жажда глубинного знания, без которого жить нельзя; и в ярости, с которой Толстой разгребал груды ученых комментариев, добываясь подлинного духовного опыта, был его великий вклад в историю мысли.

У всякого гения были предшественники. Предшественником Толстого можно считать его любимого поэта Ф. И. Тютчева.

Разделительная линия, проходящая в толстовском мире между Добром и Злом, намечена тютчевскими стихами:

Невозмутивый строй во всем,
Согласье полное в природе.
Лишь в нашей призрачной свободе
Разлад мы с нею сознаем...

Романтический культ целостности природы и народного, близкого природе, сознания вообще не нов. Но романтики только какими-то короткими всплесками достигали своего идеала. Это именно идеал, а не жизнь. Поэтическое дыхание романтиков коротко. Уникальность Толстого — в широком дыхании его прозы, в создании художественного мира, где природа и народ приобретают

как бы вторую жизнь. Художественный гений Толстого неотделим здесь от нравственной решимости, с которой Оленин готов был записаться в казаки и жениться на Марьяне, и с которой сам Толстой ушел из Ясной Поляны. Чувство опоры на сознание миллионов и миллиардов недешево далось: и завоевание его связано было с некоторыми издержками.

Толстой несомненно осязал народ как живую реальность и в то же время строил его как головную конструкцию, вычеркивал то, что не ложилось в схему. Его народ не бунтовщик, и бесполезно звать его к топору (как делал Чернышевский). Но несколько веков имперского сознания тоже никак не отпечатались в толстовской народной душе. Толстовскому народу не хочется освобождать братьев-славян: он подозрительно недоверчив к империи, прицеливающейся навести порядок на гнилом Западе, и к православию он равнодушен, если не прямо враждебен. Народная вера в понимании Толстого, — не церковная вера. В полемике, вызванной романом "Анна Каренина", Достоевский обвинил Толстого в обособлении от народа. Однако Толстой обособился только от некоторых аспектов народного сознания, близких Достоевскому, и акцентировал другие (чуждые Достоевскому). За спором двух великих писателей стоит текучесть самого народного характера, в положительном своем аспекте утверждавшаяся как широта, а в негативном осуждавшаяся (тем же Достоевским) как беспочвенность.

Если взглянуть на историю России, бросаются в глаза крутые, не вытекавшие из внутреннего развития, навязанные судьбою переломы, сметавшие старые культурные связи во имя новых (в свою очередь недолгих). Европейские нации сложились в единых рамках Европы, крепких уже к раннему средневековью и несколько веков скреплявшихся католичеством. Перемены нового времени назрели в них самих и развивались в форме "концерта" национальных инструментов, направляемых единой, хотя и незримой дирижерской палочкой (духом европейской цивилизации как целого, духом сложившейся системы). А Русь то связана с варварским севером Европы, то с "полем" хазар, печенегов и половцев, то с Византией, то с Ордой, то с Западом рационалистов и просветителей XVIII в. Создать из этого что-то единое удастся крайне редко; и достигнутое легко теряется, вместе с гибелью узкого слоя, бывшего его носителем (например, — боярской верхушки, истребленной Иваном Грозным). Ни один стиль высокой культуры не стал до конца народным стилем (как в странах

устойчивой цивилизации). Народная культура противостоит культуре верхов, как древляне (жившие в лесу и молившиеся пням) — Киеву, как деревня XIX в. — Санкт-Петербургу. Достоевский считал беспочвенным только вестернизированный слой, созданный реформами Петра. Толстой шел дальше. Он отрицал, как чуждый, навязанный мужику, и византийский слой, для Достоевского (и за ним для всего серебряного века) почленно русский. С этим спором о границе почвы и беспочвенности связано отношение к Толстому как живому противнику, поныне сохранившееся в некоторых православных кругах.¹⁾!

Если византийско-православный слой — почва русской культуры, то слой, до которого добирается Толстой, — подпочва, и Толстой добирается до этого подпочвенного слоя именно благодаря своей беспочвенности, благодаря радикально нигилистическому сдираню исторической почвы. Можно рассматривать позицию Толстого как "обособление", эгоцентризм, чудачество; но есть в ней и нечто большее; за толстовским нигилизмом просвечивает тысячелетнее сопротивление восточных славян тяготам империи, сопротивление этнографии истории, народного быта, — сохранившего некоторые черты племенного быта, и нивеллирующей силе цивилизации. В какой-то мере за толстовским отрицанием исторического величия стоит сопротивление всего мирового крестьянства, мировой деревни — мировому городу. Это огромная сила, и Толстой понимал ее, когда говорил, что большинство человечества живет не в Англии, а в таких странах, как Россия, Индия, Китай.

Толстой одновременно ультра-традиционалист и нигилист. Его эгоцентризм, его прямолинейная манера рассуждать принадлежит той самой поверхностной цивилизации, которую он отрицает. В складе характера и ума Толстого своеобразно отразилась его эпоха, когда в России одновременно (а не последовательно, как в Европе) существовали просвещение, романтизм и позитивизм, то полемизуя друг с другом, то сплетаясь²⁾. Толстой и романтически глубок, и просветительски прямолинеен. Он ставит тютчевские вопросы — и отвечает так, как ответил бы Чернышевский (если бы не считал вздором, не заслуживающим ответа). Громит Шекспира,

1) Эта полемическая враждебность, в свою очередь, вызывает у А. Краснова-Левитина апологию Толстого (ср. "Лихие годы", П., 1977).

2) Подробнее см. в нашей статье: "Некоторые особенности литературного процесса на Востоке. В кн. "Литература и культура Китая", М., 1972, с. 292-303. На франц. и англ. языках в журнале "Diegore", 1975, № 92.

оперу, медицину, литургию как библейский пророк вавилонскую блудницу, и как Маяковский сбрасывал Пушкина с корабля современности. Срывает маски с подлинного лица культуры – вместе с кожей. Или, если воспользоваться другой метафорой, – сдирает с лукавки культуры слой за слоем, до нуля, до трех аршинов земли, которых довольно только покойнику, до призыва не рожать больше детей.

Во многих созданиях Толстого можно указать на связь недостатков его ума с недостатками его характера; например, в "Крейцеровой сонате" видно (по нашему мнению) раздражение эгоцентрика, пытающегося навязать молодости свое старческое чувство оскомины. Толстой слишком сильно чувствовал, чтобы иногда не оказываться во власти разрушительных порывов чувства. Однако центральная идея позднего Толстого – непротивление злу насилем – не может быть сведена к реакциям невротика. Эта идея рождена не поверхностными слоями рассудка, а последними глубинами человеческого умозрения. И то, что Толстой эту идею понял, принял и пытался освободить от оговорок, лишаящих силы, – это его немеркнущая заслуга. Здесь категоричность Толстого обнаруживает свою правоту.

Немеркнущей заслугой Толстого была и его попытка подняться над европейской гордыней культуры, над христианской гордыней вероисповедания, и увидеть в учениях Иудеи, Индии и Китая одну суть, одно горение любви, ищущей преобразить и спасти всех, не разделяя друзей и врагов. Здесь опять "доисторичность", "подпочвенность" Толстого позволили ему перешагнуть через рубежи, созданные историей.

Рассудочность Толстого исказила осуществление этой идеи, но не саму идею. Рассудочность заставила выломать из Евангелия, из Лаоцзы, из Анналектов Конфуция отдельные фразы и построить из этих кирпичиков свое собственное здание, слишком прямоугольное*

Было бы мудрее поставить вопрос, сформулировать задачу духа и предоставить духу ее решать – веками, постепенно находя в учениях Запада и Востока внутреннюю единую сущность. Толстовская манера опираться на восточную мудрость напоминает вольтеррианс-

* Впрочем, исследование структуры "Круга чтения" может (как заметила Е. В. Завадская) раскрыть некоторые типологические параллели, пересекающие границы Востока и Запада. В том, как Толстой группирует Цицерона с Конфуцием, а марку Аврелия с Лао-цзы, есть внутренняя логика.

кий деизм. Но вопрос, на который Толстой ищет ответа, — не просветительский.

Пафос творчества Толстого — упрек, который сама природа, дерево, падающее под топором дровосека, и простая жизнь миллиарда простых людей бросает цивилизации, исчерпавшей свои фаустовские ценности. Этот пафос, этот дух издавна назывался светом с Востока. Толстой — одно из имен, которые невольно вспоминаются, когда думаешь об этом (не совсем географическом) Востоке. В этом духе и смысле Толстой был актуален для Ганди и остается актуальным для всех нас. И в наши дни, может быть, больше, чем 70 лет тому назад, когда написана была статья "Не могу молчать", вся целостность духа Толстого отвечает на пароксизмы насилия всем собой: любовью.

* * *

P.S. Еще в шестидесятые годы мне пришлось писать, что движение интеллигенции или выродится, или примет характер сатьяграхи. Но сатьяграха Ганди — только усовершенствование нравственно-политических идей Толстого. Я знаю, что эти идеи высказаны несколько прямолинейно, угловато, и ничего не стоит поднять их на смех. Все равно. Суть, пафос призывов Толстого не устарели.

Я люблю Достоевского больше, чем Толстого. Толстой с ужасом отшатывается от темной бездны, через которую Достоевский как-то ведет к свету. Я об этом много говорил и писал. Но русская культурная традиция не вся вместилась в Достоевского. И слава Богу, Достоевский не без урона проходит сквозь ад; он не только обличитель бесовщины; он сам платит ей дань. Достоевский — один из самых острых углов русской культуры. В целостности культуры он непременно должен был быть чем-то уравновешен, и он был уравновешен. Уравновешен политически — традицией русского западнического либерализма. Мне пришлось уже говорить — в 1970 г. — что своим духовным руководителем я избрал бы Достоевского, а своим политическим консультантом — гр. А. К. Толстого. Сейчас мне хочется добавить, что еще более серьезный противовес Достоевскому (на уровне более глубоких слоев мирозерцания) — Лев Толстой. И это не против почвенничества в том смысле, в котором оно задумано было Достоевским и Аполлоном Григорьевым и отчасти осуществлено в пушкинской речи. Ибо это давнее почвенничество — не славянофильство в своей яростной крайности (которому Достоевский иногда платил дань), а попытка синтеза западничества и славянофильства, в широком понимании — задача синтеза всех разноречивых тенденций русской культуры.

В 1878 году, в полемике, вызванной последними страницами "Анны Карениной", столкнулись философия и этика истории с философией, этикой антиистории. Столкнулся византийский пласт русской культуры, с его глубинами православия и соблазнами империи, распявшей Христа, и пласт доисторический, догосударственный, антигосударственный.

И. Р. Шафаревич говорит в интервью корреспонденту газеты "Франкфуртер альгемайне цайтунг", май 1978 г., что в "русской культуре XIX в. величайшие гении... Гоголь, Достоевский, Толстой — тоже стояли на почве православия". По отношению к Гоголю и Достоевскому это верно, пусть в неодинаковом смысле: Достоевский "понимал под православием идею, не изменяя однако ему вовсе", по-моему, его православие открытее и плодотворнее; с точки зрения К. Леонтьева, это вообще не православие, но Толстой... Как можно, без всяких оговорок, поместить на почву православия человека, отлученного от церкви? Издевавшегося над литургией? И по сути своего мышления близкого может быть, христианским сектам, но *никогда* не способного смириться перед православием? В самые близкие к православию моменты своей жизни — не выходявшего за рамки *диалога* с церковью? Мне кажется, что под православие Толстого так же невозможно подтянуть, как и под революцию. Это *неправославный* гений русской культуры. И одного Толстого довольно, чтобы сказать: русская культура неотделима от православия, но она не сводится к нему. Она разностройна, и возрождение ее возможно только как возрождение *всех* ее течений с широким *диалогом* между ними и отдаленным идеалом синтеза.

Мысль Достоевского тоньше, мысль Толстого грубее. Но пусть она груба. Пафос антиистории, пафос бунта против истории в чем-то близок и дорог XX веку. И когда читаешь Шиманова, видишь, что Иван Карамазов, не желавший стать навозом ни для католического, ни для социалистического, ни для православного будущего, в чем-то прав. Несмотря на все усилия Достоевского привести себя к смирению перед империей.

Толстой близок мне (и думаю не только мне) своим отказом покориться истории и государству. Его этика — это одновременно этика рода, предшествующего государству, и личности, отстаивающей свою свободу вопреки государству. Как этика рода, она устарела, как этика независимости личности, она жива и должна быть серьезно понята.

14. 12. 78 г.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СБОРНИКИ «ПАМЯТЬ»

В апреле 1978 г. вышел в свет в издательстве "ХРОНИКА-пресс" (Нью-Йорк) первый выпуск исторического сборника "Память" *. В редакционном предисловии основной задачей сборника объявляется "возрождение общественной памяти", борьба с мифологией, заполонившей историю нашей страны.

"В деле возрождения общественной памяти особое значение приобретает проблема закрытости главных источников и возможности восполнения их общими усилиями всех заинтересованных добросовестных людей.

Сложно доискиваться исторической правды среди справочников, перекраиваемых ежегодно по последнему слову идеологической моды, в стране, где даже топонимика – самый устойчивый, как известно, элемент прошлого, – меняется дважды и трижды на протяжении жизни одного поколения..."

"Однако главные наши исторические тайны – особого рода. В эти тайны посвящены миллионы людей. Можно тайно подготовить

* ПАМЯТЬ. Исторический сборник. Выпуск первый. Москва-1976, Самиздат; Нью-Йорк-1978, XIУ, 600 стр., с фотогр., табл. Указ. имен: стр. 585-600.

1937 год, но осуществить его тайно представляется затруднительным. Миллионы свидетелей, и многие из них еще живы! Ни один историк никогда не располагал таким обильным материалом. Рядом с нами, на "дневной поверхности", лежат сокровища — нагнись и бери. Это парадоксально, но это так: всякий человек старше 70 лет может сообщить поразительные сведения, причем — никогда и нигде не фиксировавшиеся. Да и не в возрасте дело: ведь наше "позавчера" тоже зачастую предается забвению или фальсифицируется на наших глазах".

"Первоочередной своей задачей редакция ставит сбор исторических свидетельств и последующую публикацию их. Наиболее важным здесь для нас является извлечение исторического факта из небытия, спасение его от забвения и введение в оборот — научный и общественный.

Нас интересуют:

воспоминания, дневники, письма, устные свидетельства;

официальные документы: стенограммы, протоколы собраний, съездов, процессов; справки, заявления, постановления, ходатайства, статистические данные;

неопубликованные рукописи, корректуры, сигнальные экземпляры невышедших книг, первоначальные тексты произведений, исковерканные цензурой;

статьи, очерки, рецензии, библиографии;

любые материалы, связанные с историей культуры, религии, науки, политики, общественной мысли.

Редакция считает своим долгом спасти от забвения все обреченные ныне на гибель, на исчезновение исторические факты и имена, и прежде всего имена погибших, затравленных, оклеветанных, судьбы семей, разбитых или уничтоженных поголовно; а также и имена тех, кто казнил, шельмовал, доносил.

Мы сознаем, что названные задачи в полном объеме не по плечу не только самиздатскому сборнику, но и большому научному учреждению. Сделаем, что сможем".

"По отсутствию публицистической направленности, по возможности совмещения в одном томе самым разным образом окрашенных материалов "Память" стремится приблизиться к научному изданию... основное стремление редакции — это стремление к достоверности и точности публикаций.

В какой степени это нам удастся? Во многом это будет зависеть от читателей. Мы считаем, что наше начинание может иметь реальные шансы на успех только в том случае, если читатели будут

доставлять нам новые материалы, уточнять и дополнять наши публикации. Мы будем благодарны всем, кто примет участие в этой работе.”

”Редакция готова принимать как материалы, подписанные авторами, так и псевдонимные и анонимные работы.

Редакция берет на себя ответственность за судьбу рукописей, предоставляемых в ее распоряжение для публикации (немедленной или обусловленной сроками), для использования при подготовке других публикаций, а также для хранения. Этой ответственностью в значительной степени обусловлена анонимность самой редакции.”

Содержание первого выпуска сборника ”Память”: От редакции. *Воспоминания*: М. Л. Шапиро. Харбин, 1945; О. И. Ясевич. Из воспоминаний; М. Штейнберг. Этап во время войны; М. Б. Шульман. Моя жизнь в письмах-новеллах. *Статьи и очерки*: М. И-вич. ”Молодежная террористическая организация”; Судьба ”нищих сибаритов”; Н. Песков. Дело ”Колокола”; Н. Попов. Памяти Анны Петровны Скрипниковой. *Из истории культуры*: Вступительная заметка; Письмо М. А. Волошина Каменеву; Два письма Н. Я. Мандельштам; Письмо Л. Ю. Брик Сталину. Екатерина Павловна Пешкова и ее помощь политзаключенным; Письма В. О. Левицкого из ссылки; Н. П. Эпизод из истории Соловков; Три письма старому революционеру; Лагерь на острове Назино; Девочка в матроске: комментарий к фотографии; Победителей не судят.. Два свидетельства; Партийная реабилитация. Из рассказов Е. Осипова. *Рецензии*: И. Вознесенский. Имена и судьбы (над юбилейным списком Академии Наук); Л. Надвоицкий. Недорисованный портрет или История пишется объективом; Р. И. Пименов. Заметки о книге А. Шифрина ”Четвертое измерение”. *Документы*: Кассационная жалоба А. П. Бабича; Заявления заключенного Р. И. Пименова; Приговор по делу ”Колокола”; Обращение А. П. Скрипниковой к XXIII съезду КПСС; К статистике Архипелага. *Библиография*: Н Стогов. Тюремная печать 1921-1933 г.г. *Указатель имен*.

ГЛЕБ ПАВЛОВСКИЙ

ПАМЯТЬ И МЫ

(Память. Исторический сборник. Выпуск 2. Москва.
Самиздат. 1977)

Как и все живое, Самиздат подвержен возрастным переходам. Одни давались нам проще, например, от начального *сам* — издана (сам: пишу, печатаю, сам же и распространяю) — к смещению центра тяжести на *там* — издат (пишу — сам, а печатают — "там", тем самым отбирая, что будет распространяться).

Другие — труднее. Из труднейших — переход от *самовыражения* (разоблачение, протест, оценка, декларация) — ко *вниманию* — узнаванию и заинтересованности в *других* (позициях, людях, стремлениях,.. другом времени,.. другом — внутри себя).

Ничего в этом нет странного, ведь вольная печать в СССР двинулась в высоких исторических берегах установок, не так-то просто поддающихся пересмотру. Правда, темой Самиздата и был поначалу "пересмотр", "ревизия" — но и тут угол зрения жестко задавался (той *моральной жесткостью*, без которой наше Сопротивление осталось бы смутой в кордегардии, отказом служаков пить шампанское во здравие государыни...).

Замысел сборника "Память" родился уже в ходе *вторых пересмотров*, обращенных "изнутри — вовнутрь", на себя; и даже

если с точки зрения его издателей это не так — их ребенок свободен от многих семейных признаков самиздатской литературы.

* * *

”В Самиздате текучи редакции...” — заметил в свое время А. И. Солженицын. Проще сказать, — их, обычно, нет. Верней, их заменяет резвость формулировок, резкая остроумная оценка, что в сумме оборачивается и видимостью ”разрешения вопроса”. Даже логики и математики в Самиздате начинают страдать развязанностью и кокетством.

Но это неизбежно при изъяснении — наспех, в ожидании обыска — или в ответ на вчерашний арест. Горячка поведения, активности, борьбы, в свой разгар втягивает все внимание и мозг человека — все, что *нужно в текущий момент*, все, что полезно для дела. Да маятник не качается в одну только сторону. Злоба дня превращается в злобу *вчерашнего* дня, а вчерашняя злоба — уже не злость, — а *сомнение*.

Нет, она не — ”снята с повестки дня”, а переросла себя и повзрослела, попав в иную ”рубрику” твоего отношения — в *прошлое*. Не ”снятое”, а — отстраненное от страсти, отпавшее в опыт, став — сомнением в себе, вниманием к деталям, особенно непритертым стыкам проекта и результата, идей и средств. Отпадающее — но не ”к черту”, а в *былое, в этап*.

ПАМЯТЬ тоже родилась на перекрестке сразу нескольких сдвигов и отстранений: от ”эксцессов сталинизма — к ”Архипелагу ГУЛАГ”, от ригористических ”разоблачений прошлого” — к умственной озадаченности им, от перманентного ”Борьба... продолжает-ся” — к основанному на неустрашимости Сопrotивления *поиску* его среды, предтеч, совопросников и ”почвы”. Инициатива ПАМЯТИ относится к попыткам учета и систематизации тех духовных пространств, которые высвобождены двадцатилетним опытом живого слова и десятилетним — личного неповиновения.

Разоблачительная литература 60-х годов открыла, что никакого *славного* прошлого у нас нет.

Моральное Противостояние власти зачастую склонялось к тому, что у нас вовсе нет никакого *прошлого*, и вообще, не теории нам писать, а вести б себя поучиться!..

Солженицын предложил перевыбрать критерии ”славности”, ведь никакого *прошлого*, кроме ”славного”, помыслить нельзя.

”Память”, похоже, допускает, что *прошлое было*, и это-то самое трудное, так как, во-первых — *что было то было*, и, во-вто-

рых,.. что же все-таки было?.. Ввиду этого в жаркие споры о "славном прошлом" редакторы ПАМЯТИ не ввязываются.

* * *

Нет, что ни говори, отчаянные они ребята – редакторы ПАМЯТИ! Чем они собираются обуздать эту многоголосую историческую пестрядь? Вот он второй выпуск, эта гора бумаг. Около девятисот страниц машинописного текста; двадцать три наименования разных материалов, размещенные по пяти рубрикам. А если считать примечания к ним (о чем особо) – число удваивается.

Но дело-то не в массе! Послесталинская эпоха знала уже тысячелистные мемуары, исчерпывающие толкования необъяснимых дел в десятках рукописных томов. Но сегодня их можно отрецензировать двумя-тремя страничками, а смысл, сводящийся к личной точке зрения автора на все и вся – сказать в трех словах. ПАМЯТЬ озадачивает противоположным – *несводимостью всего в одно*, в заведомый тезис: пусть даже тезис этот – "Архипелаг". Перед нами не отбор под заданным углом зрения, не подборка под тот или иной образ "славного", "черного" или "подзапретного" прошлого, а оно прошлое *само*; и оно не выстраивается в две шеренги по команде прапорщика: "От Октября – стр-р-ройся!", "Пр-р-редательство!" или "Лагер-р-ря!". Пугающий факт – прошлое никак не оправдывает наши о нем сегодняшние представления. Оно не работает на тех или этих..

Конечно, на свой вкус и отсюда можно выбрать нечто одно. Например – "Лагерная тема в ПАМЯТИ". Одного этого хватит на увесистую статью. Материал разнообразен – тюрьмы двадцатых годов, кашкетинские расстрелы, судьба немецкого мальчика из Саара, ставшего в тридцатые годы советским гражданином и попавшего на сталинскую витрину героем детского оптимистического комикса "Губерт в стране чудес", – чтобы разделить вместе со Страной Чудес ее чудесный 37-й..

Очерк "Светлой памяти одного чекиста" заставляет подозревать в названии горькую иронию, которой в нем нет: это краткий рассказ о краткой судьбе парня, которого революция привела в партию и ЧК, а совесть вывела и оттуда, передав для расстрела тому же ЧК.

Есть другое, будто бы уже известное, будто бы уместяющееся в рамках солженицынского космоса (если бы он сам уместился "в рамках" чего-нибудь!..), но обыденностью своей поворачиваю-

щее все к той же вечной загадке, абсурдной простоте зла. Например — отрывок из записок Д. Гринкевичюте "Литовские ссыльные в Сибири":

"Каждый день 2 бригады могильщиков, по три человека в каждой... вытаскивали из барачных мертвых, клали их на сани и, впрягшись в лямки, на себе свозили их за несколько сот метров от барачных и клали в штабеля. Они сами были очень ослабевшие и часто не имели сил поднять мертвого с нар, поэтому привязывали веревку к ногам покойного и стаскивали с нар общими усилиями. Во льду стены часто оставались клочки волос покойных". (833-834)

Как ни странно, эта история со счастливым концом, — едва ли не самым страшным:

"В феврале 1943 г. стало очевидно, что погибнем все. Смертность достигла своего апогея. (...) На нарах лежали уже почти все скрючившись, с неподвижными от цынги суставами, и поносили от истощения и цынги. Испражнялись на нарах, кто посильней — с края нар на снег пола. Наступал финал. И когда никакой надежды ни у кого уже не было, в Трофимовск прибыл Человек, который спас от смерти оставшихся в живых. Это был врач по фамилии Самодуров, Лазарь Соломонович. Он пробирался в каждый барак; осмотрел больных, штабеля трупов и начал очень энергично действовать. (...) Уже на завтра получили по порции горячего горохового супа, по 1/2 кг. мороженой рыбы на человека, которую, по совету доктора, кушали сырую, чтобы не пропали витамины. (...) Заработала баня, могильщики переквалифицировались в санитаров и теперь на себе возили живых в баню" (836).

Это — Архипелаг. Его очевидность, простота. В непридуманной "притче — весь цикл, и тайна его рождения и испарения — *ненавсегда*. Но есть и другое, что едва бы уместилось в "Архипелаг ГУЛАГ", как и во всякую идеализацию:

Вот, например, мемуары В. В. Янова. Толстовец. После революции продолжал жить в СССР. Спроси кого угодно, и тебе расскажут его судьбу наугад. Толстовец при Сталине? *Лагерная тема!*

Верно, тюрем, лагерей и следователей в книге Янова довольно, даже Воркута есть. И приговор к вышке (неисполненный). Но как здесь это выходит? Вот, например, Янов в Сибири в ссылке.

"Я, рваный и босой, пошел в Тасеевское к энкаведешникам и сказал, что я бежать никуда не буду, но сделайте так, чтобы я не бедствовал. (...) И вот молодой энкаведешник сказал мне:

— Все о твоей работе и положении я знаю, и поэтому говорю:

ищи себе работу, какая нравится и где хочешь, в пределах Тасеевского района. Но я советую тебе в Машуковку...

Потом подошел ко мне комендант Брагин и говорит:

– Меня переводят в Машуковку, и я тебя заберу туда, а работу там выбирай, какая нравится, не спеша.

Я сделал себе плотик и отправился вниз по рекам. На реке Усовка был затор, я кое-как выбрался, и сплавщики помогли мне устроить новый плотик из трех бревен, и я оказался на широком просторе реки Тасей (приток Енисея). По сравнению с этой могучей рекой я чувствовал себя ничтожным, на своем плотике убогом, но уж раз так, я улегся спать и спал крепким спокойным сном на всех 50 километрах пути.

Проснулся я к закату солнца. Вижу впереди высокие трубы, дымящиеся, и по берегу поселка люди. Я их спрашиваю: Это что за город? Как его имя? Одна женщина мне ответила: – Это город Машуковка. – И я причалил свой плотик. Пошли распросы: откуда? Из какой губернии? Где родина? Я объяснил.” (189)

Так написаны все мемуары. Поразительный, тихий и светлый тон. Не в каких-то местах, а везде, даже о камере смертников, от самого начала жизнеописания.

Они – что непривычно – вообще пропитаны какой-то эстетикой тишины. Тишины, последней решимости и простоты, ибо судьба принимается им не всхлипом навзрыд, а сполна. Я думаю, об этих записках еще будут писать особо. Надо ли нам знать такие *необщие судьбы*? Не ответишь заранее. Как раз общие-то места заедают: подумаешь, мол, ”толстовство” – нечто давнее, да и со всех точек зрения несолидно – и не научно, и не церковно (то ли дело Церковь!.. или Сартр!... или Махаяна!..).

А здесь – не частный случай общего, здесь – *другая история* с ним, чем вошедшая в два канона: канон и антиканон. И напрасно составители сборника замечают в предисловии, что записки ”неисторичны” – перед нами другое прошлое, которое не вошло в сегодняшнее обобщенное, в общее место памяти. – Есть, я говорил, и тюрьмы, и следователи, в иных из которых даже по запискам Янова легко угадать типичного тогдашнего ”зверя” – но зверь зверствует все же где-то ”там”, по ту сторону отношения к Янову: и линии ”бед и злосчастий” не выстраивается. (Это не значит, что правомерно по судьбе Янова сделать противоположение о судьбе всех).

”В эту власть с самого ее возникновения на троне я прохожу полный курс страданий десятками лет, но меня никто не бил,

даже пальцем не тронул, и в словах никто меня не обижал, кроме вчерашнего... – Я не знаю обо всех отказывающихся от военной службы по религиозным убеждениям при этой власти, но лично я встречал и понимание и жалость. Я вегетарианствовал, и мне давали сухой паек, считались со мной, не давая погибнуть, и это было в разгар борьбы политической, когда горела злоба в людях, а мне все же попадали капли жалости... (187-188)

И это говорится в кабинете следователя, причем Янов просто отвечает на вопрос, а не подбирает выражения. Каков вопрос, таков ответ. За день до того в том же кабинете так же вдумчиво он отвечал другому.. "существу":

"Потом подошел ко мне со свирепым выражением и, оскалив зубы, закричал: – Чего все время молчишь, как осел?"

Я... сказал горячо и громко:

Правы все философы и мудрецы, утверждая, что каждый человек в другом человеке, как в зеркале, видит самого себя. Мы все часто походим на собаку, которая видит свое отражение в воде, бросается на нее, думая, что это другая собака. Так и этот оратор. Вчера рвал эти побрякушки с других, а сегодня разукрасился ими, как кукла. Апостол братства народов с пистолетом в кармане." (182)

И что же сидевшие тут мерзавцы? – "Мне никто ничего не сказал.."

Случайностью не объяснить жизненный путь длиной в полвека. Здесь – большее, связанное с путем самого человека, с ним самим. А что – не знаем.. Высшее, ведь, *нетипично*.

Можно ли и этот путь списать в отклонения от нормы? Разумеется! Но тогда уж не сетуйте, если норма оказывается все более склочной, если она опрокидывается и на будущее, если норма исподволь, из-под разума начнет подстрекать и провоцировать на бунт, подменять совесть... Не сетуйте, когда ваши "теории" станут бесстыжими, а теоретики – сволочами, и наконец, когда сперва их поставят к стенке, затем вас – их расстреливать – не сетуйте!.. Выпрямлять так выпрямлять. Теории на пальцах. История – на пальцах одной руки. Культура – на пальцах обеих ног. Итог – все истреблено, вывод – осталось истребить истребителей и пособников их... а остаток?

Таковы прошлые полтора века, что все на свете для нас пошло в отклонения, пока мы со своей прямизной для всего света сами не стали историческим уродом, мировым "отклонением"! (Все на Западе подтвердят, даже еврокоммунисты..)

Поэтому нам нужно *все*. Нужны, вот, мемуары советского революционера Пименова? (Без кавычек — и советского, и революционера). Зачем? — Да кто его знает, зачем — а нужны. История вообще *ни к чему*. Когда она становится *зачем-то*, когда она загромычала нам в уши *славой* — мы выходим на прямой путь к Зияющим Высотам. Вот и доводится собирать в ПАМЯТЬ все подряд, перегружая свою (без того бы "знаменитую"!) родословную всяким мусором, случайными именами, обрывками ничемных подробностей. А то, чего доброго, мы станем придирчивы и научимся отличать Великое Историческое — от нетипичного и случайного. Что, например, свидетельствует во славу христианского сопротивления ликвидации православной церкви — письмо епископа Андрея (Ухтомского), человека с мятущейся душой — некоему предсовнаркома Молотову? К тому же вот так заканчивающееся:

"Нет, наш русский социализм — это подлинная жизнь, воплощение слова Евангельского в дело христианское; этот социализм Евангельский живет уже 1900 лет, несмотря на гонения Неронов, и несмотря на лже-покровительство Николаев Романовых. Он, этот социализм, несравненно научнее так называемого научного социализма, ибо захватывает всю жизнь, а не часть ее.

Кончаю это мое дерзновенное письмо указанием на то, что было последним толчком к его написанию.

Недавно я шел по городской улице. Мне встретился молодой человек в форме Г.П.У., — высокий, красивый. Поравнявшись со мною, он снял свой головной убор и поклонился мне. Когда я от неожиданности остановился, то этот агент Г.П.У. быстро подошел ко мне и открыто, на улице, среди толпы поцеловал меня... Это меня глубоко поразило. И этот случай был последним толчком к тому, чтобы я стал писать это письмо, ибо душевная драма этого нового Савла, конечно, очень тяжела, как и многих русских людей.

Простите. Ваш покорный слуга в деле благоустройства нашей общей родины.
(759).

1933 г. мая 23.

Еще одно странное отклонение? И — от чего на этот раз? От которых канонов?

Начинаешь понимать, что все вообще наше прошлое — и великое, и небольшое, и запретное, и общеизвестное — за недалеким порогом нашего узкого взгляда скатывается в одно сплошное Отклонение — не от Генеральной Линии, так от Христова Завета, не от Нормального Прогресса, так от Коренных Первоначал, — и

там проваливается в никуда. Или, вернее, — к чорту.

И замечаешь, что отклонения-то и есть сквозной мотив ПАМЯТИ, источник ее цельности — самое интересное в ней: — отклонения от того канона сгнивших величий и сгнувших людей, что поместился в наших мозгах безвредно для логики и для совести. (Ведь и непоместительный ни во что "Архипелаг" — сюда, в наши квадратные черепа поместился — и ни гу-гу).

Но поместится ли там без кавычек — *память*? Та, которая вся из сплошных случайностей, встреч и отклонений?

Вот, например, совершенно *излишняя* со всех точек зрения вещь — мемуары Вацетиса. ВАЦЕТИС? Первая цепочка ассоциаций: Красная Армия, латышские стрелки, расстрелян, наверняка в 37-м. По школьному учебнику — чист, как стеклышко. Первый Главком, враг Троцкого (даже личный), лично предан Ленину и власти, в оппозициях не замешан и (для военного) респектабельная кончина — "трагически погиб". С точки зрения "Архипелага", наверное, тоже все просто: предался большевикам, сам латыш и руководитель цепных стрелков Ленина,.. "комически погиб", по известному выражению, от рук своих же хозяев.

А мемуары? — И никому не важны — совершенно непубликабельны. Чистейший случай *отклонения* — классический оттого, что само отклонение — в нюансах: поминается то и дело Троцкий, хотя и неизменно коварный — да на первых ролях!.. То и дело *не упоминается* — ни на каких ролях — Сталин. К тому же благоверно чтимый Ленин поминается не всегда там, где с точки зрения советского учебника он был необходим, а значит и "был там". По всему видно, какая идет свара левых политиков, а Вацетис расхлебывает военные последствия — мятеж эсеров в Москве, Восточный фронт...

Между прочим, примечания к мемуарам — как и вообще комментарии и примечания ко всем материалам ПАМЯТИ — едва ли не интереснее основного материала. Мало того, что ПАМЯТЬ собирает всякую всячину, она еще скрупулезно комментирует ее, удваивая объем сборника и удесятерив работу его составителям. Примечания, выполненные на самом профессиональном уровне, насколько это возможно при закрытии всех архивов, спецфондов, старых газет, сожжении источников и *отсутствии* почти всех живых свидетелей (старость и другие обстоятельства, — чаще, разумеется, *другие*), — тем не менее читаются, как роман. Вернее — оттого и читаются как роман: где еще, если не в примечании № 42 к мемуарам Вацетиса, можно узнать о судьбе М. Спиридоновой:

"Спиридонова Мария Александровна (1884-1941) – лидер Партии левых социалистов-революционеров. 6.07.1918 арестована в составе левозсеровской фракции У съезда Советов. В течение года находилась под арестом на "санаторном" режиме в Кремле, откуда бежала при помощи охраны. Была амнистирована ВЦИК после побега, но через год снова арестована и вплоть до последнего побега в 1937 непрерывно находилась в ссылках и в заключении. 8.02.1937 арестована в Уфе, где отбывала ссылку. Судилась 25.12.1937 выездной сессией Военной коллегией Верховного суда СССР. Обвинялась в подготовке покушения на Башкирское правительство, в создании центра, объединявшего все оппозиционные партии и группировки (от монархических до социалистических), в подготовке крестьянских восстаний и т. д. Во время следствия неоднократно объявляла голодовки. Приговорена к 25 годам тюремного заключения. Была переведена в Ярославский, затем во Владимирский и, наконец, в Орловский политизолятор, где, по неокончательно проверенным сведениям, расстреляна осенью 1941 при подходе немцев к городу" (98-б)

А ведь таких примечаний – пятьдесят девять к одному Вацетису!..

Не один только Архипелаг и его палачи и мученики не могут быть вспомнаны вслух, – ни тем более враги его, – но и перво-создатели его едва ли не все интернированы цензурой в пределах трех букв – "и др."

Вообще *ничего* сегодня не помнится под собственным его именем, все переназвано, переврано, утрачено; забыт и язык, на котором оно говорило.

Оно – это *прошлое*, а беда его в том, что оно *было*. Потому его не переучишь косноязычно лгать по бумажке, не выговаривая при этом тех именно слов, на которых в первом квартале текущего года велено запинаться. Ни опровергнуть, ни, упаси Боже, одобрить политику (текущего квартала) прошлое не может, именно потому, что оно *было*. Единственная самозащита, сопротивление прошлого – *память*. Ведь *равно оболганы* и большевики и меньшевики, и монархисты и анархисты. Только об одних наврано в миллионе книг, захлебывающихся от восторга, о других наврано в тысяче брошюр, всхлипывающих от негодования,.. И те и другие попеременно бывают прогрессивны иль ретроградны, никчемны или хороши – все они сегодня *ничто*. Немые полки исторических теней, послушных любому свистку. Они одобряют *все*: проекты "разоблачения" прошлого и расправы над ним у этих, у тех –

расправу с разоблачителями, восстановление из-под глыб — "нового", еще более "славного" и "великого" прошлого; у кого-то — отказ от истории ввиду "разочарования" в ней.

И вся эта суэта не имеет *никакого* отношения к Прошлому, пока... пока она сама не уйдет в прошлое, и став им — будет помещена в той же ПАМЯТИ. С комментариями и примечаниями, которые читаются как роман.

Надеемся, что это время приблизилось.

* * *

Ниже мы прилагаем редакционную аннотацию на 2-й выпуск "Памяти".

Аннотация. Воспоминания. И. И. Вецетис — ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА. 1918 ГОД. Предисловие и примечания С. Далинского. Два фрагмента из записок первого Главкома РСФСР посвящены разгрому выступления левых с.-р. в июле 1918 в Москве и назначению автора командующим Восточным фронтом. Кроме того, публикуется нелюбезный доклад Главкома Ленину о положении в Красной Армии в январе 1919 г. В предисловии — анализ воспоминаний и биографический очерк. Комментарий содержит, в основном, справки об упомянутых лицах и событиях. (9+69+6 сс.). В. В. Янов — КРАТКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ О ПЕРЕЖИТОМ. Предисловие и примечания И. Кривина. Один из редких в России образцов крестьянских мемуаров повествует о духовном становлении автора на путях толстовства. Действие разворачивается на дореволюционных заводах, на фронте, в с.-х. коммунах, в северных лагерях, в Крыму и Сибири (1900-е — 1960). В предисловии кратко изложена история толстовства и толстовцев при советской власти. В приложении печатается беседа нескольких толстовцев с атеистом репортером (1925). В примечаниях — малоизвестный фотографический материал. (4+88+4+3 сс., 1 илл.). Р. И. Пименов — ВОСПОМИНАНИЯ. Часть 1 — ОДИН ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС (1956-1958). Новая редакция автобиографического произведения, первая версия которого имела ограниченное хождение в Самиздате в 1968-1970 гг. Здесь рассказывается о формировании взглядов автора в конце 1940-х — начале 1950 гг.; о неофициальной общественной жизни в Ленинграде середины 1950-х гг.; о политической деятельности автора в тот период. Продолжение следует. (108 сс., 2 илл.). Статьи и очерки. Е. Гнедин — ИЗ ИСТОРИИ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ СССР И ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ (Документы и комментарии). Примечания Ф. Буркалова. Работа состоит из трех

разделов: реферат документов германского МИДа 1930-х гг. и тезисы автора о советско-германском договоре 1939, составленные им по поручению ЦК в 1962 и 1965; а также полную стенограмму его выступления на обсуждении книги А. М. Некрича в 1966. Среди комментариев автора — очерк о закулисной стороне советской внешней политики, главными героями которого выступают здесь К. Б. Радек и В. М. Молотов. В редакционном послесловии — биографическая справка об авторе, одном из ближайших сотрудников наркоминдела Н. М. Литвинова в середине 1930-х гг. (66+1+7 сс.). М. Поповский — ДЕЛО ВАВИЛОВА (Главы из книги). Вместо предисловия — интервью с автором. Примечания И. Мдивани. Заключительные главы из книги, посвященной последним 15 годам жизни акад. Н. И. Вавилова. На основании архивных документов и неопубликованных воспоминаний описывается следствие над академиком и смерть Вавилова в тюрьме. Также прослеживаются судьбы его института и сотрудников в то время. Автор является, по-видимому, единственным исследователем, которому удалось проникнуть в архивы НКВД. В предисловии к публикации интервью — обстоятельства двадцатилетней работы автора над книгой и очерк борьбы вокруг посмертной судьбы Вавилова в советском обществе. Текст сопровождается биографическими справками об обширном круге лиц, упомянутых в публикуемых главах (16+89+10 сс., 3 илл.). *Из истории культуры*. В. Г. Короленко — ИЗ ДНЕВНИКОВ 1917 — 1921 гг. Предисловие и публикация Т. Тиля. Примечания Т. Тиля и В. Рыжова. Выписки из дневников писателя, посвященные событиям Гражданской войны в Полтавской губернии. (3+43+8 сс., 1 илл.). НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ПИСЬМА В. Г. КОРОЛЕНКО К А. М. ГОРЬКОМУ. Публикация Храбровицкого. Публикуемые два письма — еще один шаг на пути к полной публикации послереволюционной переписки писателей, до сих пор известной лишь частично. (1+7+1 сс.). НЕОПУБЛИКОВАННОЕ ИНТЕРВЬЮ В. Г. КОРОЛЕНКО. Публикация А. В. Храбровицкого. Интервью, данное писателем корреспонденту РОСТА (26. 6. 1919), посвящено его отношению к практическим методам советской власти (в основном, к красному террору). (4 сс.). К БИОГРАФИИ О. Э. МАНДЕЛЬШТАМА, публикация И. Флаттерова. Материал относится к весне 1934 — последним месяцам Мандельштама на свободе — и состоит из двух частей: сочувственного письма ряда ленинградских писателей А. Н. Толстому в связи с инцидентом между ним и Мандельштамом и переписки поэта с В. Д. Бонч-Бруевичем о предполагавшемся приобретении послед-

ним архива Мандельштама для Литературного музея. (6сс.). ЕЩЕ ОДНА ВЕРСИЯ ЗВОНКА СТАЛИНА Б. Л. ПАСТЕРНАКУ. Сообщение Н. Селюцкого. Запись рассказа вдовы поэта З. Н. Пастернак об известном телефонном звонке летом 1934 относительно судьбы арестованного незадолго до того О. Э. Мандельштама. (2+2 сс.). У Д-д – НЕСКОЛЬКО ШТРИХОВ К ПОРТРЕТУ Б. Л. ПАСТЕРНАКА. Рассказ об открытке, полученной журналисткой А. А. Лебединской от Пастернака в заключении в 1944. В приложении опубликовано одно из лагерных стихотворений Лебединской. (3+3 сс.). НА ДОКЛАДЕ ЖДАНОВА. Рассказ Д. Д. Публикация В. Смирнова. Первое известное, по-видимому, свидетельство о выступлении Жданова перед ленинградскими писателями в 1946, явившемся сигналом к погромной кампании против А. А. Ахматовой и М. М. Зощенко и др., сопровождается вступительной заметкой и примечаниями. (1+4+2 сс., 1 илл.) А. Булатов – О ПОСЛЕДНИХ ИЗДАНИЯХ АХМАТОВОЙ (Заметки писателя). Критический обзор современной ситуации с публикациями Ахматовой, сводящийся, в основном, к детальному анализу качества редактуры и истории выхода в свет двух стихотворных сборников: ИЗБРАННОЕ, М., 1974 и СТИХИ И ПРОЗА, Л., 1976. 40 примечаний. В приложении – фрагмент из предисловия К. И. Чуковского к невышедшему сборнику Ахматовой (Л., 1968), представляющий собой воспоминания об Ахматовой и Н. С. Гумилеве. (12+6+7 сс.). Из истории религии. ДВА ПОРТРЕТА (По воспоминаниям В. Я. Василевской КАТАКОМБЫ XX века). Сообщение В. Глазова. Реферат записок о "катакомбной церкви", посвященных, в первую очередь, психологическим портретом о. Серафима (С. М. Батюкова) и о. Петра (П. А. Шипкова). Приложено два письма автора – от о. Серафима (1937) и о. Петра (1944) (44 сс.). Еп. АНДРЕЙ (кн. А. А. УХТОМСКИЙ) О ПУТЯХ ПОРЕВОЛЮЦИОННОЙ ЦЕРКВИ. Публикация М. Поповского. Послесловие К. Лазарева. Работа включает в себя биографический очерк о еп. Андрее и три его произведения – письмо ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВНАРКОМА гр. МОЛОТОВУ (1933), ДЕКЛАРАЦИЮ ЦЕРКОВНИКОВ-ОБЩИННИКОВ (1927) и трактат О НРАВСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (1932). В послесловии полемически освещается общественное значение еп. Андрея в истории религиозной мысли России. (21+10 сс.). ИЗ МАТЕРИАЛОВ К БИОГРАФИИ В. Ф. ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО (Архиепископа ЛУКИ). Сообщение М. П. Материал состоит из трех частей – краткого биографического очерка об арх. Луке, заметки К ИСТОРИИ СОЧИНЕНИЯ "О

ДУХЕ, ДУШЕ И ТЕЛЕ” и текстов двух проповедей архиепископа (1927 и 1951). (9 сс., 1 илл.). *аг а.* СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ОДНОГО ЧЕКИСТА. Из воспоминаний Дм. Т-ского. Описание камеры в Таганской тюрьме (1923) и судьбы чекиста А. Новикова, оставившего впоследствии свою службу и обосновавшего это решение в письме в “Социалистический вестник”; был тайно расстрелян. (11 сс.). ПОБЕГИ. Из воспоминаний И. Костюрина. Несколько историй о побегах из лагерей в конце 1930-х — начале 1950-х гг., т. е. в тот период, когда сравнительно с первыми годами советской власти они случались крайне редко. (10 сс.). КОЧМЕС, 1937. Устное сообщение А. С-вой. Несколько эпизодов из истории Кашкетинских расстрелов представляют собой очерк доносительской деятельности некоей з/к Зинаиды Немцовой. (4 сс.). Н. А. — ГУБЕРТ В СТРАНЕ ЧУДЕС. Заметка о подлинном герое одного из советских бестселлеров 1930-х гг. — Губерте Лесте, привезенном в СССР из Саара М. Е. Кольцовым и попавшим вслед за своим опекуном в сталинский лагерь; делается попытка проследить дальнейшую судьбу Губерта. (3 сс., 1 илл.). ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ С. С. МАРГУЛИСА. Два отрывка — вступление к воспоминаниям и эпилог (1958) — пронизывает убеждение автора, большевика образца 1920-х гг.: все зло советской системы коренится в бюрократизме и бездушии государственного аппарата по отношению к простым гражданам (под которыми автор неизменно подразумевает рядовых партийцев). (9 сс.). Д. Гринкевичюте — ЛИТОВСКИЕ ССЫЛЬНЫЕ В ЯКУТИИ. 1942-43 гг. (Отрывок из автобиографических записок). Послесловие М. И. Скупое описание трагической картины вымирания литовских женщин и детей, сосланных за Полярный круг. Множество имен ссыльных, а также сотрудников НКВД-МГБ, точные даты и географические пункты. Кратко сообщено о судьбе автора после ссылки в конце 1950-х г. — начале 1960-х г. В послесловии рассказывается о нынешнем положении автора и дается характеристика публикуемому отрывку. (13+1 сс.). И. А. Мельчук — МОИ ВСТРЕЧИ С КГБ. Послесловие Ф. ШАПИРО. Рассказ о трех приглашениях автора в КГБ: в 1957 — с предложением следить за участниками Международного фестиваля молодежи и студентов в Москве; в 1963 — настойчивая попытка заставить заняться провокациями в отношении зарубежных славистов; в 1968 — с просьбой рассказать (осталось непонятым, в каких целях) о положении в лингвистике с точки зрения самого Мельчука. Упомянуто также о знаках неявного внимания КГБ к автору. В послесловии — биографическая справка о Мельчуке. (13+1 сс.).

ПРАВСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ

Материалы конференции в Музее Современной Живописи

12 декабря в Музее Современной Живописи состоялась конференция на тему "Нравственное значение неофициальной культуры в России". Конференция проводилась по инициативе писателя Вадима Нечаева в рамках ленинградского Биеннале. В ней приняли участие наиболее известные представители культурного движения.

Два года назад в Ленинграде начался расцвет культурного движения – после "бульдозерной" выставки в Беляево произошла консолидация художников, поэтов, прозаиков, философов, религиозных деятелей. Возникли объединения художников-нонконформистов (ТЭВ), сборники независимой поэзии, появились открытые издания – журнал "37", книга-коллаж "Архив". Консолидация вызвала ответную жесткую реакцию со стороны властей.

В конференции участвовали: писатель Вадим Нечаев, художник Владимир Овчинников, физики Марина Недрובה и Марк Пеккер, ученый-отказник Илья Беспрозванный, д-р теологии Евгений Барбанов, священник о. Лев Конин, скульптор, автор проекта памятника жертвам культа личности Ольга Пеккер, поэт Виктор Кривулин.

Каждый из участников говорил о своем личном драматическом

опыте участия в культурном движении. Несмотря на различия взглядов, общим оказалось:

- 1) оценка настоящей культурной ситуации как трагической
- 2) признание того, что неофициальная культура в России выходит за рамки чисто культурных проблем и несет основное – нравственное содержание.
- 3) возникновение, в рамках Второй культуры, духовного сопротивления.

НРАВСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ НЕОФИЦИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Мне приятно видеть здесь замечательных людей – лидеров неофициальной культуры. Культурно-религиозное движение, которое существует уже несколько лет, настоятельно требует осмысления. Поэтому сегодня, 12 декабря, мы решили провести конференцию на тему "Нравственное значение неофициальной культуры". Мне кажется, в самой постановке этой проблемы содержится ключ к решению многих неясных моментов. А теперь разрешите мне приступить к докладу.

Неофициальную или "Вторую" культуру нельзя определить апофатически, через отрицание. Культура – не школа и не сводима к сумме эстетических принципов или набору стилистических приемов. Поэтому естественно, что попытка определять Вторую культуру, как независимую, как авангард, как этакое Арс Нуова, заранее обречена на провал. Скорее можно понять культуру через те идеалы, которые она утверждает и через те идеалы, которые она ниспровергает.

Не вызывает возражения понятие "независимый" художник или "независимый" поэт. Это человек, не связанный с официальными союзами и организациями. Но в термине "независимая

культура” слишком велик грех социальности. Определение ”Вторая культура” приемлемей, потому что оно нейтральней.

Идеалы неофициальной культуры всегда были шире идеалов официальной культуры. Соцреализм очерчен так жестко не потому, что он задан жестко стилистически, как одно время любили это утверждать — хотя бы рапповцы, а потому, что он служит утверждению официальных канонов. А содержание их определяется на каждый данный исторический момент верховной установкой. Произведение искусства принимается или отвергается в зависимости от того, в какой степени оно соответствует установке на данный момент. И если некоторые произведения вопреки этому допускались к читателю (автор малоизвестен или перешел в мир иной), то большая часть, не соответствующих канону, принципиально не приемлема.

Категорически отвергается христианская тематика, сатира, все, что расходится с идеократическим сознанием. Отсюда понятно, почему часто критикуют и осуждают не произведение, а писателя. Человеку, отпавшему от общепринятой идеологии, приписываются немислимые грехи. В глазах общества он становится еретиком, его шельмуют и дискриминируют прежде всего идеологически.

Путь независимого поэта и художника в России XX века — путь самопожертвования, полный риска и лишений. Примером может служить Осип Мандельштам. Если его и напечатали, так это был чисто престижный момент. Мандельштам как был недопустим, так и остался для читателя недоступен.

Какие же пути открыты перед советским интеллигентом?

В юности мыслящий человек осознает фальш окружающей жизни. Наступает период романтического нигилизма — нечто подобное тому, что пережило ”потерянное” поколение после I мировой войны. Недаром у нас так моден Хэмингуэй, и за ним Ремарк. Одновременно с тем, что интеллигент открывает безличность общепринятых догм, он узнает, что истинные ценности существуют, но скрыты от него. Они либо замалчиваются, либо искажаются. Лучшие произведения русской литературы — романы А. Платонова ”Чевенгур”, Замятина ”Мы”, Б. Пастернака ”Доктор Живаго”, А. Солженицына ”В круге первом” не известны русскому читателю, полотна великих художников К. Малевича, В. Кандинского, Н. Филонова хранятся в запасниках советских музеев, а религиозно-философские книги Н. Бердяева, Н. Флоренского, Н. Лосского практически недоступны.

И тогда он, как Простодушный Кандид, пускается в лихорадоч-

ную погоню за знаниями — начинается период самообразования. Он может найти помощь для себя в библиотеках, в домашних кружках, в "самиздате". Если ему повезет, у него окажется достаточно настойчивости, веры в себя, моральной убежденности и таланта, ему удастся создать нечто позитивное. И тогда выясняется, что его труды вне зависимости от качества, может быть, очень высокого, вызывают резкое недовольство у ревнителей канона тем, что они просто не соответствуют стандартам официальной культуры.

Перед ним встает дилемма: либо он должен стать конформистом, чтобы включиться в систему (профессионал-эстетик может, к примеру, быть страстным поклонником Андрея Белого, и в то же время писать о нем разоблачительные статьи, хотя к этому его не вынуждает борьба за кусок хлеба — он просто-напросто падла и конформист), либо судьба выталкивает его в подполье, где наряду с самоотверженными художниками обитают неудачники, несостоявшиеся поэты и поклонники богемы — символ его так называемый "Сайгон", кафетерий на углу Невского и Литейного, бывшая "Вшивая биржа". Творческий человек попадает в драматические обстоятельства.

И вот тогда возникает уникальная попытка создать свою культуру, свой мир со своей иерархией ценностей, своими понятиями о добре и зле. Мир, где стихи поэтов распространяются в "самиздате" и читаются на домашних вечерах, со своей прозой и философией, с выставками независимых художников на квартирах и открытом воздухе.

Когда официальная идеология терпит крах, естественным и натуральным является обращение к религиозным ценностям, тяга к христианству, как к целительному средству, как к спасению от омертвения души. В обществе явно наблюдается религиозное возрождение, а религиозные мотивы попали даже в официальную литературу.

Всегда была "Вторая культура", которая находилась в оппозиции к официальной. Достаточно назвать "проклятых" поэтов, битников и хиппи. Но это была либо автономная культура, либо проект контркультуры. "Вторая культура" в России отличается тем, что она шире официальной даже по эстетическим принципам. Люди, родившиеся в духовном подполье, решились быть свободными. Их окружают страхи, реальные и выдуманные, преследует нищета — но воля к свободе, к жизни в Истине сильнее страха, сильнее физического инстинкта самосохранения.

Именно это заставляет их отказываться от карьеры, от продвижения по социальной лестнице. Как правило, они занимают самые низкие должности. Подобно трагически погибшей художнице Татьяне Кернер они работают в кочегарках, в лифтах, сторожках — с дипломами об окончании Университета или Художественной Академии. Не случайно Эйнштейн говорил, что если бы он мог заново построить свою жизнь, он стал бы смотрителем маяка или мусорщиком.

Эта ситуация неминуемо порождает самые фантастические явления, которые непонятны даже тем, кто всего несколько лет назад вынужден был покинуть Россию. Прежде всего это так называемое "культурное движение". Если в неофициальной культуре прежде существовали лидеры, то они были генералы без войска. Теперь в Ленинграде, Москве и Прибалтике насчитываются сотни независимых художников, десятки поэтов, существуют религиозные семинары, открыто выпускаются журналы и альманахи.

Культурное движение — это не только новое количество, это прежде всего новое качество. Возник новый микроклимат, в котором существуют разнообразные духовные и эстетические тенденции.

В то же время отчаянный императив свободы привел к неожиданному и тесному соприкосновению с властями. Отсюда и страх, и бравада, и порой, спекуляция на страхе.

Мы должны отдавать себе ясный отчет в том, что Вторая культура живет все-таки в пограничной ситуации. А к пограничным ситуациям неприменимы обычные моральные и эстетические мерки, как невозможен обыкновенный быт во время войны или в концлагере и заменяется он бытом парадоксальным, абсурдным. Пограничная ситуация, я бы сказал так, превращается из стресса в быт.

И нередко "Вторую культуру" мы пытаемся рассматривать по неприменимым к ней меркам, как культуру духовного озарения, как выражения протеста или даже как патологию — на самом деле это *культура в блокаде*. Это экзистенциальный план. А социально-политический: общество в лице официальных представителей выталкивает ее из себя, терпит с раздражением, пытается опять загнать в подполье. И если посмотреть на культурное движение чуть со стороны, то видны сопротивление несчастьям, сила духа и возникает невольный момент восхищения.

В неофициальной культуре очень легко находить "недостатки", изображать ее явлением локальным. Я хочу напомнить, что это —

настоящий культурный взрыв. Мы не замечаем его масштабов, потому что находимся в эпицентре. Чтобы дать сравнение, я хочу рассказать притчу.

В 1953 году, сразу после процесса врачей к блестящему ученому, языковеду и филологу, профессору Адмони зашла в гости вдова Мандельштама — Надежда Яковлевна. Она отогревалась у печурки и горько говорила: "Все кончено. Сейчас стихи Осипа знают три человека — Вы, я и мой брат". Он ей возразил: "В глуши живут неизвестные нам люди, которые помнят и выучивают стихи наизусть, чтобы передать их детям, близким. Я думаю, их десятки, может быть, сотни".

Никто тогда не предполагал, какая слава придет к Мандельштаму. Для целого поколения он оказался "пророком в своем отечестве" — это еще задолго до выхода однотомника с жалким тиражом 10 тыс. экземпляров.

Теперь я хочу обратиться к истокам культурного движения, в каком-то смысле к истории. Распространено мнение, что независимое культурное движение началось после разоблачения культа Сталина и после венгерских событий в 1956 году. На самом деле оно возникло в 1952-1953 годах. Независимо друг от друга оформились в Москве — Лианозовская школа, учителем которой был художник и поэт Евгений Леонидович Кропивницкий, в Ленинграде — "Орден нищенствующих художников", куда входили А. Арефьев, В. Преловский, Р. Васми, В. Громов и поэт Роальд Мандельштам, а также Университетская поэзия, совершенно непохожая на ту, которая существовала до нее и одновременно с ней в официозе. Отличаясь скептицизмом ко всем сферам жизни, она противостояла всему миру. И тем не менее непосредственность бытия выражалась ею в непосредственной форме.

Одним из следствий тех лет было то, что здание круговой поруки, фатальной неизбежности "внешне-исторических" событий было разрушено и человек обрел личное чувство ответственности и личную вину в истории и перед историей. Оказалось целое поколение виноватым, поколение отцов и даже дедов — и оправдываться было нечем. Ни страх, ни отсутствие информации, ни подчинение всегда правой верховной воле не могли служить оправданием перед миллионами замученных, пропавших, потерявших веру — положенных в основу, как кладут гальку и щебень в длинную яму, которой предназначено стать прямой дорогой к светлому Будущему. От 1954 года можно вести счет рождению совести,

той совести, основанной на любви, вере, верности и чести, для которой ранее не было места в теории классовой морали.

У нас не было иллюзий ни насчет прошлого, ни насчет настоящего, но сохранялись еще иллюзии относительно своей личной судьбы, хотя будущее довольно скоро и их разрушило.

Из кого состоял кружок университетских поэтов? — Это — Михаил Красильников, удивительно яркий, душевно щедрый человек, по натуре своей лидер, максималист по взглядам, поклонник футуристов. Это Владимир Уфлянд, ироничный, склонный к широким социальным формулировкам, он имел большой успех в студенческой среде. Поразительно актуально воспринимаются его тогдашние стихи, например, о русском эмигранте, или о Статуе Свободы, перекрашенной в черный цвет. Это — культурный поэт Владимир Лифшиц, резкий Евгений Рейн, ученик Хлебникова Михаил Еремин, чья крупнозернистая поэтическая строка не потускнела до сих пор, это самоуглубленный Дмитрий Бобышев, который и сегодня в России является подлинным поэтом, это блещущие умом Юрий Михайлов, Леонид Виноградов и Анатолий Найман. К братству поэтов примыкал художник Олег Целков и единственный прозаик — ваш покорный слуга. Поддерживали нас Кирилл Косцинский, Анна Ахматова, Борис Эйхенбаум, принадлежавшие к живой ветви русского искусства. Подполья не было, не было даже мысли о нем. Позиция жизни была проста: "элита — поэты", а весь остальной мир — дерьмо: эпатаж осуществлялся не только в стихах, но и в самом образе жизни. Поэты не ставили себе задачи быть выражением духа времени, они его просто выражали. В этот период уже можно было найти зачатки поэзии битников, поэзии хиппи, поэзии современных интеллектуальных поэтов. Жизнь, конечно, не гладила по головке, она их била по голове жестоко и беспощадно. Если 56 год для всей страны был годом облегчения, то для нас он был годом трагедии. Многие мои друзья вышли на демонстрацию с лозунгами, аналогичными тем, которые были в 1968 году у студентов в Париже, и все кончилось политическим процессом. Счастливый период этой-иной по интонациям и по свежести восприятия жизни-поэзии оборвался.

Я закончил Университет и уехал на Сахалин, а когда вернулся, то застал в культурном движении совсем иную картину. В центре ее был уже не Михаил Красильников и не Владимир Уфлянд, а Рид Грачев, который на протяжении университетских лет оставался как бы в тени. Он стал носителем нового пафоса. Если прежде друзьям все прощалось, впрочем, как и теперь у нынешних поэтов,

то в начале шестидесятых годов возник пафос морального отношения друг к другу, интеллектуального максимализма. Не прощались духовная вялость, индифферентность, литературная инфантильность. Если ты хотел быть "своим" в кружке Р. Г. — ты не имел права на ошибку — моральную или творческую.

Тогда не было проблемы — разрыва с официальной культурой. Наоборот, остро стояла проблема завоевания официального плацдарма. Даже крупнейший поэт тех лет Иосиф Бродский очень серьезно относился к этой проблеме. Он готовил книгу своих стихотворений — это уже после ссылки — даже для издания в "Советском писателе", но помешала случайность. В Доме писателей состоялся вечер: выступали Иосиф Бродский, Владимир Маразмин, Борис Вахтин, и экспонировались в гостиной картины Яши Виньковецкого; а сразу после вечера на его участников был сделан донос от Валентина Ш. И книга Иосифа Бродского была ему издательством возвращена.

Отчаянная борьба ленинградских прозаиков за то, чтобы пробить стену молчания кончается тем, что заболевает Рид Грачев. (Он первым, пожалуй, стал применять такие меры, как объявления голодовки, открытые письма и т. д.). Но ни о какой подпольной культуре нельзя было говорить, потому что писатели и поэты пытались свое творчество сделать доступным для широких масс, считая его художественно и социально значимым. Поддерживал тогда всех и авторитет Александра Исаевича Солженицына, который вел настоящую войну за право публикации своих замечательных романов. Мне самому издание нескольких книг, написанных в молодости, стоило немало крови. Многолетняя тяжба за публикацию зрелых и лучших вещей закончилась их запретом, и обошлась мне двумя тяжелыми сердечными приступами. Кончилось все тем, что я решил оборвать всяческие отношения с официальной литературой.

Это частное решение, к счастью для меня, как раз совпало с началом культурного движения, толчок которому дала "Бульдозерная выставка" в Беляево. В 1974 году произошел сдвиг в культурном сознании. Беляево — это преодоление социального страха и рождение творческой свободы. Следствия — выставки в парке Измайлово, на ВДНХ, в ДК им. Газа и "Невский", объединение 32 ленинградских поэтов в сборник "Лепта", появление самиздатовских изданий, которые имеют открытый, легальный характер. Так что ни о каком творческом вакууме в России, как считают некоторые западные искусствоведы, говорить не приходится.

ся. Скорее характерно пуританское следование культурным традициям, особенно в Ленинграде, стремление стать наследниками и преемниками достижений начала века.

Именно после выставки в Беляево появился новый термин — Вторая культура. У него нет автора, нет манифеста, нет даже определенной эстетической программы. Есть четко осознаваемое право на свободу творчества, свободу мысли и право на контакт с публикой.

”Вторая культура” и разрывает отношения с официальными установками, возвращая себе независимость, и заинтересована в контакте с официальной, и частично готова на диалог с ней.

Динамика культурного движения довольно сложна. В ней неоднократно отмечались периоды взлета и спада, успех сменялся разочарованием, столкновения с властями приводили к различным, подчас противоречивым следствиям. Некоторые поэты и художники, пошедшие на компромисс со своей совестью, или запуганные репрессиями, по существу ”смирились”, другие вынуждены были эмигрировать, третьи были высланы или посажены. Но и те, кто оказался на Западе или на Востоке, продолжают и развивают то, что они обрели здесь — в культурном движении.

Независимая, или ”Вторая культура” и не сможет слиться с официальной, потому что она отличается особым моральным климатом. У нее свои, в отличие от официальной, проблемы, свой пафос и свое бесстрашие.

Сейчас и на Западе и здесь идут споры: насколько высоки художественные достижения независимых писателей и живописцев, что нового принесла ”Вторая культура” в мировую.

Я абсолютно убежден в том, что это самобытное искусство. Я назову только некоторые имена: Иосиф Бродский и Михаил Шемякин, Владимир Максимов и Олег Целков — живущие в эмиграции, а в России — это Оскар Рабин и Георгий Владимов, Генрих Шеф и Владимир Овчинников, Дмитрий Бобышев и Игорь Тюльпанов.

А шифр неофициальной культуры раскрывается просто — прежде всего эта культура нравственная. Шифр нам, живущим в России, понятен, на Западе он нередко теряется, и тогда достижения культуры кажутся ”темными”, а то и сомнительными.

В чем же дело? Есть ”свобода от...” — свобода прав, которых мы практически не знаем, и ”свобода для...” — свобода для служения. — Путь поиска ее, обретения и утраты и составляет содержание независимой культуры.

Этим и объясняется общность задач культурных и религиозных деятелей, и совместная их деятельность.

Я сам не могу разделить в своей деятельности последних лет, что является ее причиной: долг религиозный или долг писательский. Если когда-то эгоистически-писательский долг властно говорил, что нужно менять "климат", если я хочу сохранить себя, как писателя, то осознание христианского долга дало мне силы остаться здесь. Принятие на себя этого долга оказалось не тяжестью, не веригами – наоборот, очищением от социального страха. Долг дал свободу духа и свободу поступков.

Вера спасала меня в самые тяжелые минуты моей жизни, минуты отчаяния и душевного мрака, когда ни творческие, ни человеческие отношения не могли служить поддержкой. Вообще же опыту современного художника характерно взаимопроникновение культурного и религиозного: идеалов устремлений, понятий. И творчество его определяется неразрывностью этих двух начал.

УЧЕНЫЕ И «ВТОРАЯ КУЛЬТУРА»

Когда говорят о "Второй культуре", то имеют в виду прежде всего людей искусства. Как ни странно, аналогичное явление происходит в науке. Когда человек занимается в науке, то какие проблемы стоят перед ним, если он живет в СССР? Какие люди вытесняются из науки? Есть несколько категорий таких людей:

1. Это прежде всего участники Демократического движения, выгнанные со службы, лишенные допусков, права публиковаться и т. д.

2. Отказники (люди, получившие отказ на заявление о выезде из СССР и лишенные возможности работать по специальности).

3. Политзаключенные (среди которых очень много ученых).

4. Ученые, которые отказываются по моральным соображениям способствовать развитию тех областей науки, от которых зависит военная машина страны.

Лишившись работы, такие люди практически теряют возможность научных связей и контактов. Публиковаться на Западе им очень сложно: неизвестна, во-первых, правовая сторона; во-вторых, крайне замедлена обратная связь (очень редки "оказии"), часто на годы; в третьих, возникает проблема языка (часто наше

знание языка оказывается недостаточным). Например, мне написали, что моя статья (по математике) будет опубликована, если исправить ее английский язык. Или пример Турчина, который, будучи ученым с мировым именем, испытывал большие трудности при публикации работ на Западе.

Поэтому возникает нечто подобное "второй науке". "Вторая наука" проявляется в таких формах активности ученых, как:

– научные семинары ученых-отказников (на квартирах)

– так как семинаров для обмена научной информацией не достаточно, необходимы публикации, то очевидно, что "вторая наука" нуждается в собственном научном журнале. Эта идея существовала давно, но как только мы попытались осуществить ее, наиболее активные сторонники этой идеи были изгнаны из страны (Л. А. Руткевич, Турчин и др.). Будет создан этот журнал или нет, сейчас проблемы не решить, и люди будут искать новые пути.

Я сам был исключен за два дня до защиты диплома (за Самиздат). Заочно сумел окончить матмех Ростовского ун-та. Подал документы на выезд – и сразу же из набора изъяли мою научную статью (весь номер математического журнала, где была моя статья, разобрали). Теперь вопроса о публикациях в СССР вообще и не ставится. Я "сизу в отказе" (потому что семь с половиной лет назад попал на военные сборы).

ОЛЬГА ПЕККЕР (СЛАДКОВСКАЯ)

ПАМЯТНИК ЖЕРТВАМ КУЛЬТА ЛИЧНОСТИ

Осенью 1976 года у меня возникла идея создать памятник Жертвам культа личности. Я скульптор, училась в средней художественной школе, во "Вторую культуру" попала в возрасте 16 лет, когда за протест против вторжения в Чехословакию в 1968 году была помещена в психбольницу. После этого мне в СХШ при Академии Художеств было сказано, что в Академию и пытаться нечего поступать: меня не примут по идеологическим соображениям. Потом я уехала в Пензу, где меня никто не знал, и там поступила в Пензенское художественное училище им. Савицкого, а через год перевелась в Таврическое училище в Ленинграде.

Еще в 1968 году на меня очень сильно подействовало то, как, по рассказам очевидцев, советские танки давили мирных людей. После этого я многое поняла и относительно прошлого русской новейшей истории. Так возникла идея "монументального осуждения" сталинщины.

Этой идеей я поделилась с Ю. Вознесенской, которая ее горячо поддержала. Эту идею поддержали супруги Андреевы, Лесниченко, Н. Полетаева, Ю. Луцкий, Д. Аксельрод, В. Филимонов и Ю. Штерн.

Мы направили Письмо-обращение к председателю Ленгорис-

полкома г. Зайкову, он переправил этот документ в Отдел культуры. Наш проект предполагал установку временной плиты с надписью: "Здесь будет памятник Жертвам культа личности". Кстати, камень с этой надписью был нами изготовлен и до сих пор находится в пределах города.

Через месяц после отправки письма нас вызвали в Управление культуры, где люди в штатском объяснили нам, что наша идея несвоевременна, что тема культа личности достаточно полно отражена в советском искусстве, что планируется "ПОДЗЕМНЫЙ ПАМЯТНИК ЖЕРТВАМ КУЛЬТА ЛИЧНОСТИ". Что это такое и где будет это установлено, нам сообщить отказались.

Активное участие в сборе подписей под нашим письмом в Исполком принимали Ю. Вознесенская и В. Филимонов.

Последствием нашего письма было то, что меня вызвали в деканат и исключили из Таврического училища "за профессиональную непригодность".

После этого я решила уехать из СССР.

Священник о. ЛЕВ (КОНИН)

ПРЕДУТРЕННИЕ СНЫ РОССИИ

Нам необходимо излечиться от болезни неофитов, которые, будучи ослеплены светом открывшейся им Истины, стремятся как можно скорее расторгнуть узы материального, раствориться в Абсолюте.

Но мы должны избежать и другой опасности – растворения в мире. К сожалению, некоторые художники, считающие себя верующими христианами, находят в религии особый род ”кайфа” и ничего не хотят менять в своей жизни.

Перед нами всеми открывается самый сложный путь – одухотворение жизни во всех ее формах и проявлениях.

Путь этот в условиях современной России труден вдвойне. Моя тема – это тема России, и я чувствую, что наши личные судьбы зависят от ее исторических судеб.

Я верю в особое историческое избрание России не как в факт богоизбранности, но потому, что здесь, в России, в силу особых исторических условий, сейчас складывается такая ситуация, разрешение которой может оказать решающее влияние на судьбы всего человечества. Одной из наиболее жизнеспособных и мощных сил, действующих в этой ситуации, мне представляется неохристианское движение.

Неохристианство — движение неоднородное, разношерстное, часто околочерковное. Им захвачены люди, интересующиеся вопросами этики, эстетики, религии, художники, писатели, ученые. Вначале казалось, что это мода, но я думаю, что с 1965 года, с того времени, как я обратился и впервые столкнулся с неохристианским движением, оно окрепло, укоренилось, эволюционировало. Обращение мое не было случайным: к нему подготовило меня знакомство с философией Гегеля и Канта, с Ф. Достоевским, когда я еще учился на физико-математическом факультете. Для меня никогда религия не противопоставлялась фактам культуры.

И мне кажется, что неохристианство — один из факторов нашей культуры. Значение этого феномена пока неясно. Церковь от этого движения ничего не имеет, государству оно не приносит ни вреда, ни "пользы". Но что-то есть в этом молодом "неохристианстве", что делает его подлинной силой, что заставляет этот "остаток" держаться.

Неохристианскому движению свойственно ощущение трагизма, кризиса. В этом отношении оно близко неохристианству начала нашего века. Сейчас, как тогда, трудно давать какие-либо оптимистические прогнозы. Мне кажется, чувство кризиса никогда не покидало религиозно-общественных мыслителей. Оно присутствует у Хомякова и у Бердяева, под влиянием которых сложились мои представления об историческом и духовном пути России.

Кризис религии начался еще в 17 веке (раскол, старообрядчество), усилился в эпоху Петра 1 (церковь стала казенной, возникла внецерковная интеллигенция, дворянство отходило от церкви). Поэтому, когда идеи социализма в середине прошлого века проникли в Россию, церковь ничего не могла противопоставить им.

Апатия официальной церкви привела к осуществлению хилиазма без Бога.

Накануне революции возникло оживление религиозной мысли, внутри церкви выявились тенденции к преодолению казенщины и вековой зависимости православия в России от власти. Много было мечтаний, стремлений к радикальному обновлению духовной жизни общества. Внутри церкви попытки обновления привели к созданию после революции г. н. "живой церкви", но было уже поздно. Обновленческое движение было использовано новой властью для борьбы с православием в целом. Короткий, но мощный всплеск духовно-религиозной жизни оказался тщетным. Это были вечерние сны России.

Россия впала в духовный сон, в бесовщину. Перед войной казалось, что вера окончательно искоренена в России. Но война вызвала взрыв религиозных настроений, хотя многое в этих настроениях было замешано на язычестве: за веру хватались, как за соломинку, как за последнее средство... Звучали бессодержательные и пустые проповеди, исполнялись непонятные народу обряды. В послевоенные годы церковь влачила жалкое существование, рабски подчинялась власти.

Общая "оттепель" 56 года коснулась и религии. С середины 60-х годов получает распространение массовое религиозное движение. Это не мода, а неотъемлемая часть культурного движения. Религиозное движение в России существует как факт.

Россия хотела строить Царство Божие на земле, но убедилась в ложности этого пути и стремится освободиться от иллюзии. То, что мы наблюдаем сейчас, — это уже предутренние сны России. Иона во чреве китовом — вот образ нынешней России.

Я уверен, что Россия восстанет, и все духовные силы ее возродятся, в противном случае нам грозит хаос и разрушение. И не только нам. Россия — стык Азии и Европы. От того, что происходит сейчас в России, зависят судьбы многих народов. Европа с надеждой обращает свой взор на Россию. Я говорил с католиком-итальянцем. По его словам, в Италии сейчас 9 млн. людей верует в марксизм, в этот хилиазм без Бога, который уже пережит нами. И наш опыт возвращения к Христу поэтому имеет решающий смысл.

ДЕРЖАТЬСЯ НА ВЫСОТЕ ЛЮБВИ

Я пришла во "2-ю культуру" не очень давно, года 3 тому назад. Я работала в социологическом отделе Русского Музея. Однажды мой начальник подошел ко мне и сказал, что в КГБ ему было предложено: или она, или отдел. "Так что решайте сами, Таня".

"Конечно, отдел"; — сказала я, и с легким чувством оставила свое место работы. С легким потому, что в отделе этом мы занимались всякими глупостями: несуществующими проблемами, подтасовками, безделием. Ничего существенного нам, как это полагается, делать не давали. Разговор с моим начальником состоялся после того, как я приняла участие в диспуте о христианстве, который происходил на квартире Юлии Вознесенской. Правда, к тому времени у меня были уже и другие грехи перед КГБ.

Так вот, я буду говорить о той части культурного движения, которую я представляю.

Культурное движение в Ленинграде и Москве не мыслимо без религиозного. В самом деле, что это за нравственный пафос, который подогревается только "выброшенностью" из официальной жизни и обидами. Сфера нравственности — это сфера автоном-

ных и потому положительных ценностей. Каковы же они, эти ценности?

Нужно сказать, что во 2-ую, неофициальную культуру приходят люди, прошедшие некоторый путь скептицизма и нигилизма. Им трудно соблазниться чем-то конечным и преходящим. Сама русская история, будучи всегда очень идеологичной, представляет собой процесс последовательного развенчания всех идолов и идеалов. Среди тех, кто крестился сам, среди нехристиан, значительную часть составляют люди, пережившие глубже других этот общий нигилизм. Тем настойчивее их поиск Абсолюта, абсолютного Образа Человека.

Среди участников религиозно-философского семинара в Ленинграде можно встретить самые разнообразные профессии (больше всего, конечно, православных христиан) и столкнуться с различными уровнями и степенями воцерковления. В церковь ходят немногие. Большинство обратившихся художников, поэтов, мыслителей склонны выражать свою любовь к Богу через собственное творчество. Конечно, здесь возникает соблазн субъективизма, несерьезности, соблазн эстетизма. Это — пороки людей культуры, которые подчас остаются младенцами в духовном.

Современные неохристиане — огромная тема, и я хотела бы остановиться здесь лишь на некоторых проблемах.

На нашей конференции не раз вставал вопрос о взаимодействии культурного движения и политики. Многие деятели культурного движения отвечали и отвечают на него однозначно: царство Кесаря одно, а царство Бога другое. Человек неофициальной культуры, неохристианин, имеет все основания для того, чтобы быть довольным. Здесь и преследования, и психушки, и различные другие измывательства.

Но я не встречала в нашей среде людей озлобленных. Ни одного. Власти перестали быть для наших христиан даже искушением, так мы к ним привыкли. И отсюда лозунг: долой политику. Наши христиане — люди бесстрашные и сострадательные. Об этом говорит хотя бы случай с о. Антонием Ворожитом, за которого заступились все, хотя этого человека почти никто не знал. Чтобы извлечь его из психбольницы, были сделаны самые невероятные усилия — и вот человек на свободе.

Мотив действий — чисто нравственный, мотив конкретной помощи ближнему. Это прекрасно. Но — человек существо еще и политическое, он может быть плохим политиком, если не видит дальше собственного носа и говорит "долой политику" и хорошим

политиком, если за частным видит общее и не пытается быть дуалистом, пренебрегая царством Кесаря. Политическое равнодушие может легко обернуться предательством. Дуализм двух царств привел некоторые протестантские круги в Германии к сотрудничеству с фашистами.

В нашем тоталитарном государстве нельзя пренебрегать целым и увлекаться отдельным. Политический индифферентизм — это миф, за которым угадывается наше бессилие и наш провинциализм.

И еще об одном. О важности того, что возникает. О тесном сотрудничестве культуры и религии. Пример тому — наш религиозный семинар. Он создан людьми культуры, верующими или стоящими на пороге веры. Я говорила о том, как опасен эстетизм и легкомыслие в отношении к Богу. Но есть и другая опасность, которая все более и более дает себя чувствовать (прежде всего в Москве). Отход современных верующих от культуры вообще, презрение ко всем "секуляризованным ценностям", сужение их интеллектуального и эмоционального горизонта. И самое страшное — забвение заповеди любви — осуждение всех, кто не ортодоксален, кто не таков, как я. Вспышка шовинизма, овнешвление религии, уход в быт.

Это уже не религия света, а религия мглы. Поэтому так важна открытость христианства миру и культуре, без которого оно становится язычеством, наполняется духом тяжелой ненависти, не просветляется ни знанием, ни критикой.

Замечательно, что у нас в Ленинграде все живое и новое появляется преимущественно в культурном движении. Оно — тот фон, который не дает увлекаться мракобесием и впадать в индивидуализм. Культура помогает найти узкие врата, идти вперед, уважая мысли и чувства другого, держаться на высоте любви.

СОБЫТИЯ И СУДЬБЫ

В. АБРАМКИН

23 ИЮЛЯ 1918 ГОДА...

Пожалуй, вся история человечества не вмещает в себя столько мифов, сколько создано их было за последние 60 лет в нашей стране. Порой кажется, что основным предназначением общества победившего материализма (самого научного материализма) является непрерывное расширенное воспроизводство и консервирование мифов. Мифотворчество пронизывает все уровни советского общества, мифотворчество — главный системообразующий фактор, обеспечивающий его магическую, сказочную стабильность. Это может показаться и казаться удивительным и невероятным. И действительно странно — каким образом эта мифическая энергия приводит в действие вполне реальные силы. Для западного, скажем, рационалистического склада ума непреложна аксиома: человек может действовать успешно, имея в голове более менее адекватную модель реальности. А тут в головах одни мифы — это с одной стороны, а с другой стороны — ракеты, спутники, танки и пр. Непостижимо!

В связи с этим, я вспоминаю следующую историю. Один путешественник, европеец, опытный врач попадает в джунгли — не то амазонские, не то африканские — и обнаруживает там доселе

неизвестное первобытное племя. Туземца этого племени кусает за щеку какая-то ящерица, у него происходит заражение крови и вздувается что-то вроде флюса. Европейский врач, использует все имеющиеся у него средства (антибиотики и пр.), тем не менее ничего не добивается. Но тут появляется местный знахарь, делает несколько балетных па, припадает к вздутой щеке больного, вытягивает из флюса крокодилий зуб, змеиный хвост и прочую гадость, выплевывает все это, и опухоли, заражения крови как не бывало. Потом он обращается к своему цивилизованному коллеге и объясняет, что европейские средства для туземцев столь же пригодны, сколь для европейцев балетные па и крокодилий зубы. Ну, можно ли здесь что-либо понять или, тем более, рационально объяснить?

Можно ли войти в строй жизни советского человека, в смысл и содержание его существования, разглядывая все это со стороны, или даже погружаясь на некоторое время в океан здешних мифов? Нет! Этим мифическим воздухом надо дышать, дышать глубоко и постоянно, эту фундаментальную потребность не только в мифах, но в непрерывном мифоощущении надо впитать с молоком матери. Можно ли со стороны — нет, нет не понять, а — ощутить, почувствовать, что значит быть выброшенным за пределы этого мифического мира? Рыба, бьющаяся в судорогах, лишенная привычной свободы движений, рыба с выпученными глазами, не видящая ничего вокруг, кроме набегающей и откатывающейся волны, и о чем мечтать ей, выброшенной на берег, кроме как о возвращении в родную мифическую стихию. Ах, слаб наш язык, и не передать полноты ощущения!

Самым тяжким грехом, куда более страшным, чем убийство-ровство-прелюбодеяние... у нас считается неверие в истинность устоявшейся системы мифов, в реальность конструкции ее существенных элементов. Отречение и раскаяние не искупят, никогда не искупят минуты безверия!

Даже, казалось несущественные изменения формы устоявшихся мифов могут привести к таким последствиям, с которыми не сравнятся последствия извержения вулкана или двадцатибального землетрясения. Известный политический деятель (чье имя принято теперь произносить не вслух, а про себя и с внутренним содроганием) объявил на одном историческом заседании, что земля покоится не на четырех китах, как было принято считать с незапамятных времен, а на трех. Говорят, что участников этого заседания пришлось прямо из зала отправлять в отделения реанимации московс-

ких клиник. Мир зашатался и едва не рухнул. Через некоторое время, когда весть об изъятии четвертого кита вышла за пределы зала заседания, в отделениях реанимации образовалась жуткая теснота, почти такая же, как в камерах лефортовской тюрьмы в самые пиковые времена. Промедли власти еще мгновение, и вся страна могла превратиться в сплошное реанимационное отделение. Четвертого кита, слегка обглоданного и обкусанного, быстро вернули на место. Последствия этого эксперимента сказываются до сих пор: все — от простонародья до высших мифо-идеологических сфер — заняты решением вопроса — как лучше пристроить потерявшего внешний вид и лоск кита между тремя остальными. Считают, что эту проблему можно решить, включив в кампанию к прежним четырем китам пятого...

* * *

Один известный ученый высказал догадку, что реальность подобна скорлупе яйца, миф — его содержимое. Ну, что ж, представим будущим мифологам решать проблему: каким образом высиживались наши яйца. По всей видимости, не ускользнет от их пристального взгляда и этот, приводимый ниже документ, имеющий отношение к созданию одного из самых важных мифов — мифа о диктатуре *пролетариата*. История этого документа вкратце такова. После 1-ого дня творения нового мифического мира, когда под ногами российских граждан стала возникать мифическая твердь (а октябрьский переворот стал постепенно превращаться в революцию, затем в Великую Революцию — см. полн. собр. соч. Ленина), часть не проникшихся духом свершающихся мифических перемен, рабочих, в своей наивности решила, что после октябрьского переворота власть перешла не к мифическим, а реальным пролетариям. Наивность этих граждан простиралась так далеко, что они в отсутствие мифического правительства, перебравшегося мифическим образом из Питера в Москву, собрали немифическое "чрезвычайное собрание уполномоченных фабрик и заводов Петрограда". Почему-то на этом собрании решались вопросы не мифической, скажем, мировой революции, а реальных, насущных проблем. Соответственно, такая постановка вопроса привела собравшихся к неутешительным (немифическим) выводам.*

* Брошюра "Чрезвычайное собрание уполномоченных фабрик и заводов" г. Петрограда. № 1-2. 18 марта 1918 года. Цитируется по журналу "Континент". 1975. № 2 стр. 385-419.

”...Рабочие оказали поддержку новой власти, объявившей себя правительством *рабочих и крестьян*, обещавшей творить нашу волю и наши интересы... Но прошло уже четыре месяца, и мы видим нашу веру жестоко посрамленной, наши надежды грубо растоптанными.

Новая власть называет себя *советской и рабочей, крестьянской*. А на деле важнейшие вопросы государственной жизни решаются помимо советов... советы, несогласные с политикой правительства, бесцеремонно разгоняются вооруженной силой... всюду голос рабочих и крестьян подавляется голосом делегатов, якобы представляющих 10-миллионную армию, дезорганизованную большевистской политикой, существующую только на бумаге... На деле всякая попытка рабочих выразить свою волю в советах путем перевыборов пресекается, и не раз уже петроградские рабочие слышали из уст представителей новой власти угрозы пулеметами, испытали расстрелы своих собраний и своих манифестаций.

Нам обещали немедленный *мир*, демократический мир, заключенный народами через головы своих правительств. А на деле нам дали постыдную капитуляцию перед германским империализмом... Нам дали мир, при котором мы не знаем даже точных границ своего рабства, потому что большевистская власть, столько кричащая против тайной дипломатии, сама практикует худший сорт дипломатической тайны и, уже покидая Петроград, до сих пор не сообщает полного и точного текста всех условий мира, самовольно распоряжаясь судьбами народа, государства, революции.

Нам обещали *хлеб*. А на деле нам дали небывалый голод. Нам дали гражданскую войну, опустошающую страну и вконец разоряющую ее хозяйство...

Нам обещали *свободу*. А что мы видим на деле? Где свобода слова, собраний, союзов, печати, мирных манифестаций? Все растоптано полицейскими каблуками, все раздавлено вооруженной рукой... Мы дошли до позора бессудных расстрелов, до кровавого ужаса смертных казней, совершаемых людьми, которые одновременно являются и доносчиками, и сыщиками, и провокаторами, и следователями, и обвинителями, и судьями, и палачами. Так вот во имя чего льется ручьями кровь рабочих и крестьян России. Так вот во имя чего разогнано *Всенародное Учредительное собрание*, за которое гибли на виселицах, на каторге, в тюрьмах и ссылке наши лучшие люди, за которое десятилетиями боролись мы и наши отцы...”

Кроме этих выводов собрание уполномоченных предприняло

и другие немифические шаги, направив на второй съезд советов своих представителей, которые должны были потребовать:

”1. Отказа утвердить кабальный, предательский мир.

П. Постановления об отставке совета народных комиссаров.

Ш. Немедленного созыва Учредительного Собрания и передачи ему всей власти для прекращения гражданской войны” и т. д.

Насколько нам известно, эти реальные шаги и реальные требования были поглощены набравшей силы мифической стихией. Еще несколько времени спустя, эти и другие немифические пролетарии* оказались в камерах реальной Таганской тюрьмы. Сей факт оказался отраженным и в мифической летописи событий (см. напр. В. И. Ленин, соч., изд. второе, XXIII, стр. 645) одной строчкой, затерявшейся среди куда более грозных и страшных событий (...6 июля убит германский посол Мирбах, левозсеровский мятеж, мятеж в Ярославле... 7 июля восстание в Рыбинске,.. 10 июля принята советская конституция... 16 июля расстрел Николая Романова (в миф не входит убийство всей семьи Николая Романова, включая 13-летнего цесаревича) ...20 июля совнарком принял декрет о мобилизации нетрудовых элементов...): 23 июля арест меньшевистской рабочей конференции... (кстати в тот же день проходила и мифическая губернская конференция мифических заводских комитетов, на которой выступил мифический вождь мифической революции) ...

И только несовершенностью тогдашней мифоидеологической структуры можно объяснить тот факт, что в карманах реальных пролетариев были обнаружены не доллары и инструкции ЦРУ, а рубли и бриллианты...

* – Из подписавших ”Открытое письмо...” А. Н. Смирнов, Н. Н. Глебов, Н. К. Борисенко, Берг, И. Шпаковский были выбраны чрезвычайным собранием уполномоченных Г. Петрограда делегатами на съезд (и) в рабочее бюро собрания.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО*
ЗАКЛЮЧЕННЫХ В МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ТЮРЬМЕ
(ТАГАНКА) ПО ДЕЛУ "РАБОЧЕГО С'ЕЗДА"

КО ВСЕМ ГРАЖДАНАМ!

Мы, участники совещания делегатов независимых рабочих организаций различных городов России (Петрограда, Москвы, Тулы, Сормова, Коломны, Кулебак, Твери, Нижнего-Новгорода, Вологды, Бежицы, Орла, Воткинского завода), арестованные на втором нашем заседании, имевшем место 23-го июля в помещении общества "кооперация", считаем своим общественным долгом довести до сведения всех граждан России о нашем протесте по поводу тех лживых, клеветнических сообщений, которые позволила себе казенная печать опубликовать 24-го и 25-го июля в известиях Ц. И. К., пользуясь тем, что ею одет железный намордник на всю свободную прессу, а мы, участники рабочего совещания, томимся в невероятных условиях тюремного режима.

Наше совещание не "тайный контр-революционный заговор" "зажиточных элементов", "интеллигентов" и т. п., а явное, открыто подготовлявшееся и освещавшееся всей, в том числе и коммунистической печатью, совещание представителей классовых рабочих организаций.

Не от "меньшевистских и эсеровских фракций" явились на совещание делегаты, как лживо сообщают "Известия", желая обмануть еще не покинувших правительство рабочих, а от собраний уполномоченных фабрик и заводов, за которыми стоят десятки тысяч избирателей. Общая норма представительства была — 1 делегат на 5 тысяч рабочих. В полицейском увлечении "Известия"

* Публикация подготовлена В. Гершуни

бесстыдно сообщают, что делегаты от Тульских рабочих, т. т. Поликаров и Пушкин избраны от 60 или 160 рабочих, в то время, как они делегированы Тульской конференцией, состоящей из выборных большинства тульских рабочих. В тех же местностях, где еще не организовано независимое рабочее представительство, делегаты на конференцию избирались отдельными крупными заводами.

Оклеветав рабочих представителей, как самозванцев, никого не представляющих, "Известия" не постеснялись со свойственным "Русскому Знамени", "Земшин" и т. п. изданиям царского режима наглостью напечатать ряд ложных сообщений относительно найденных при арестованных вещей, с целью бросить тень на нравственный облик рабочих делегатов. Так указывается, что у т. Берга найдено 6.000 руб., на деле всего 590, у т. Лейкина – 160 руб. серебра, на деле – 1 р. 65 коп., у него же, по сведениям "Известий" оказались: перстень, бриллианты и золотые часы между тем, как все его драгоценности заключаются в простых металлических часах, которые никто из тюремной администрации и не думал отбирать.

Так глупой, бессовестной ложью правительство старается оправдать нелепый арест рабочих делегатов, пожелавших проявить организационную самостоятельность.

Совещание рабочих делегатов по организации Всероссийского Рабочего Съезда заседало два раза; в повестке занятий совещания стоял вопрос о борьбе с распыленностью в рабочем классе, о возможных мерах его сплочения и организации и о подготовке Всероссийского Рабочего Съезда. Но правительство коммунистов, как и царские его предшественники не терпят никаких проявлений независимого рабочего движения, ибо в нем ему чудится близкая гибель своей власти, в нем она видит отражение продовольственного кризиса, и неспособное справиться со своими государственными задачами обрушивается на вождей рабочей общественности. На рабочие организации направляются неслыханные репрессии.

Да здравствуют рабочие организации!

Да здравствует их независимость и революционно-организационная самостоятельность!

А. Н. Смирнов – рабочий патронного завода, делегат Петрограда, Н. Н. Глебов – рабочий-путиловец, Ю. С. Лейкин – делегат Бюро Уполномоченных Нижегородской и Владимирской губ. Д. В. Захаров, рабочий, секретарь профессионального союза, Д. И. Замараев – рабочий от Сормова, В. И. Метвеев – рабочий Сормовского завода, И. О. Шлейфер – служащий, А. А. Чиненков – рабочий, Н. Новгород, С. П. Полукаров – рабочий Тульского патронного завода,

А. А. Вецкалин – рабочий плотник, член Ц. К. С.-Д. Латвии, Н. К. Борисенко – рабочий Петроградского трубочного завода, И. Г. Волков – член правления Петроградского союза металлистов, рабочий, представитель Петроградской рабочей кооперации. В. Г. Чиркин – член Исп. К-та Всероссийского Совета Профессиональных Союзов, рабочий-токарь (не делегат), Берг – рабочий электрической станции 1886 года, Д. Смирнов – раб. Арсенала, И. Шпаковский – раб. Русско-Балтийск., И. П. Фомичев – раб. Сормова, И. Вороничев – раб. Сормова, Уханов – раб. Кулебаковского зав., Томилевич – раб. Александровских мастерских, Москва. Башкиров – раб. Бежицкого зав., Храмченко – раб. Бежицкого зав., Пушкин – рабочий Тульского оружейн. зав., Лапков – раб. Воткинск. зав., В. Кац – от Коломенского зав., Виктор Альтер – от гл. К-та Бунда.

«НА КРУГИ СВОЯ...»

Потянуло знакомым запахом. У нас, стариков, чутье к новому, естественно, слабее, чем у молодых. Зато спектр ассоциаций у нас гораздо богаче. На повтор, на подражание наше ухо, глаз, чутье отзываются немедленно: *это* — или похожее — мы уже видели, слышали, читали. Наблюдая некую последовательность явлений, мы можем вывести из нее некие закономерности.

Так, мы пережили 30-е и 40-е годы. Мы неоднократно наблюдали повторяющиеся периоды, когда печать и докладчики вдруг взахлеб начинали кричать о шпионах и диверсантах, призывать к бдительности и "давать отпор вражеским попыткам". Как выяснилось гораздо позже, это вовсе не значило, что шпионов вдруг становилось значительно больше или что раскрыт какой-то страшный заговор. Это просто значило, что читателей и слушателей психологически готовят к новым репрессиям.

Поэтому сегодня мы очень хорошо понимаем, откуда несутся знакомые запахи.

Я вовсе не отрицаю наличия в современном мире шпионажа: смешно было бы отрицать его в XX веке, при наличии мощных соперничающих сверхдержав. Все мы прекрасно понимаем значение аббревиатур: ЦРУ, КГБ, какие там еще? Но на основании того же

исторического опыта легко установить, что когда речь идет о подлинных или даже предполагаемых агентах иностранной разведки, такого шума не устраивают. Тем более, что техника шпионажа усовершенствовалась — и в красочных услугах Мата Хари или Джеймса Бонда более не нуждается. Для подлинной охраны государства печатанье в газетах шпионских детективов бесполезно или даже вредно.

Кому же это нужно?

Многие бывшие узники сталинских лагерей и тюрем, вспоминая годы заточения, недоумевали: где же были действительные шпионы? Ответ прост: там, где охрана государства подчинена *охранке*, то-есть внутренней тайной полиции, преследованию подвергаются не столько шпионы, сколько те, кого *шпионами надо изобразить*. Кого надо таковыми изобразить, зависит от эпохи и обстановки. Так, в 30-х годах шпионами объявляли всех почти троцкистов, бухаринцев и тех, кого провозглашали троцкистами и бухаринцами. А кто были тогда сторонники Троцкого, затем — сторонники Бухарина? Несогласные. *Несогласные* — в чем бы то ни было — с генеральной линией, с руководством, с властью. По забавному обратному переводу на старинный язык религиозных разногласий, несогласные сейчас именуется модным словом "диссиденты". Тогда были оппозиционеры, сейчас — диссиденты, но принципы традиции были установлены еще тогда: всякий, в чем бы то ни было несогласный с властью, есть враг (по-нынешнему — "отщепенец"). А враг, скорее всего — шпион. Логика при этом такова: всякий несогласный с властью есть ее враг; власть — народная, следовательно, враг власти — враг народа; внутренние враги ищут поддержки у внешних; к ним, прежде всего, относятся разведывательные органы некоторых иностранных государств; следовательно...

Так можно вывести все что угодно из чего угодно. Помнится, одна моя гимназическая подруга из чистого озорства написала однажды на вольную тему сочинение: "О влиянии пинских болот на эмансипацию женщин". И очень последовательно, зацепляя один тезис за другой, обнаружила это "влияние" в пинских болотах.

С помощью такой же логики, но уже без всяких шуток, нам сегодня внушают, что люди, добивающиеся свободы мысли и протестующие против нарушения гражданских и человеческих прав в нашей стране, есть пособники и наемники иностранных разведок. А кроме того — уголовники: валютчики, тунеядцы, спекулянты, пьяницы и развратники.

Доказывать при этом ничего не надо: стереотип изображения вымышленного врага создан еще лет сорок назад, как и схема "легенды". Что именно говорят, думают и делают эти неведомые дессиденты, никто не знает и знать не может, ибо их подлинные, не перетолкованные стремления, деяния и объяснения нигде не сообщаются. Зато задолго до начала судебных процессов средства массовой информации широко распространяют материалы, цель которых — заранее внушить отвращение к будущим подсудимым. Вина их не только не доказана в судебном заседании, но даже следствие по их делу не закончено (а то и не начато), а уж печать во всю трубит об их "преступлениях".

И это мы помним, это тоже было. Ныне чуть модернизируется разработанный в сталинские времена метод. "Связь с иностранной разведкой" приписывалась всем обвиняемым на политических процессах 30-х годов и огромному количеству арестованных, осужденных заглазно так называемыми "тройками". Читая и слушая сегодняшние пропагандистские материалы узнаешь знакомый почерк, но видишь и редакторскую руку эпохи. Так, и тогда, и теперь сам факт ареста в глазах многих служит доказательством виновности (правда, появились уже люди, для которых разоблачение Сталина не прошло зря — и в их глазах тезис "у нас зря не сажают" потерял свою убедительность). Шпионаж, как тогда, так и теперь, служит главным, тяжелейшим обвинением, главным козырем властей в игре. Но сегодня к измышлениям о шпионаже в непропорционально большом количестве примешиваются обвинения в уголовщине*. И это понятно: тогда никто не утверждал, что у нас в стране нет политического разномыслия; наоборот, везде и всюду, в любой хозяйственной неудаче искали умысел политических преступников — вредителей, диверсантов и, конечно, шпионов. Сейчас задача другая: поскольку скрыть наличие инакомыслящих уже невозможно, требуется изобразить дело так, будто судят их не за их *убеждения*, а за уголовные деяния. Есть еще одно нововведение по сравнению с тридцатыми годами — густой антисемитский запах, идущий от обвинений в сионизме. Что такое сионизм, тоже никто толком не знает, но зато все знают, что сионисты — евреи. А для антисемитского сознания этого достаточно:

* В сталинские времена уголовщина лишь иногда служила легким фоном для главного политического обвинения. Так знаменитого московского врача, профессора Плетнева обвиняли не только в участии в заговоре против Горького, но и в сексуальной нечистоплотности по отношению к пациентам.

с евреями у антисемитов хорошо сочетаются все отрицательные явления.

Впрочем, если это ново, то только по сравнению с 30-ми годами. Уже в 40-х начало антисемитской травле, как известно, положил Сталин. Раньше, чем состряпать знаменитое "дело врачей" — с детективными политическими убийствами, с вымышленной шпионской сионистской организацией "Джойнт" — широко использовался метод массовой антисемитской пропаганды. С 1949 по 1953 годы наша пресса была наводнена "разоблачительными" фельетонами, пестрившими еврейскими фамилиями. Та же психологическая подготовка!

* * *

Разумеется, суда над членами Хельсинкской группы еще не было, и я не могу ни предрекать приговор, ни авансом опровергать его. Разумеется, ни для суда, ни для следствия не имеет ни малейшего значения, что я, автор данной статьи, ни на минуту не верю, что член-корреспондент Армянской Академии наук Юрий Орлов — клеветник, а распорядитель фонда помощи жертвам репрессий Александр Гинзбург — спекулянт (или наоборот). Никак не может быть для меня убедительным и мгновенное, без суда и следствия, объявление шпионом Анатолия Щаранского. Не собираюсь я здесь заниматься юридической защитой арестованных, предвосхищая прения с будущим прокурором. Вероятно, это лучше меня сделал бы профессиональный адвокат — при условии, что его допустят ко всем документам и гарантируют ему самому отсутствие преследований (случаи репрессий адвокатов за добросовестную защиту у нас уже бывали)*. Да и недостаточно знаю я — или вовсе не знаю — тех людей импровизированные обвинения которых вызывают у меня законное недоверие. Но в свете моего личного и исторического опыта меня интересует другое: как ухитряются все знать наперед "Известия" и "Литературная газета"?

Несколько лет назад — то ли в качестве аппендикса эпохи "оттепели" то ли в целях выпуска пара — в той же "Литературной газете" появились либеральные размышления двух-трех юристов. Они писали, что нельзя организовывать в печати общественное мнение против людей, чья вина не доказана в судебном заседании.

* Как стало известно уже после того, как статья эта была написана, иностранным адвокатам, согласившимся защищать членов Московский группы Хельсинки, отказано в визах на въезд в СССР.

О том, что адвоката следует допускать к подзащитному и к материалам следствия еще на стадии следствия. О недопустимости предвзятого отношения к свидетелям защиты. Ну, и еще кой о чем.

Как же, в свете этих либеральных размышлений, выглядит подписавший в печать редактор А. Чаковский, который ныне, глазом не моргнув, подписывает в печать подлую статью Петрова-Агатова в то время, как бывшему сокамернику автора А. Гинзбургу еще даже не предъявлено обвинение? Как насчет того, что нельзя заранее организовать общественное мнение?

Понимаю: мои риторические вопросы даже в качестве риторических звучат наивно. Редактор любой газеты в своем кругу может вполне искренне сказать, что он не знает случая *оправдания по суду* обвиняемого по политическим мотивам (как бы официально ни формулировалось обвинение). Он скажет правду. Досрочное освобождение — бывает. Перевод из обвиняемых в свидетели (если подсудимый "сотрудничает" с обвинением) — бывает. Реабилитация — было. Посмертная реабилитация — ого, еще как было! Даже освобождение и признание невиновными помимо судебной процедуры — и то было, в том же "деле врачей". Но чтобы так, ни с того, ни с сего, человека, судимого по политическому обвинению (или инакомыслящего, судимого по вымышленному уголовному обвинению), выпустили из зала суда оправданным (а он даже не давал "откровенных показаний") — такого я не припомню, во всяком случае в тех процессах, которые освещались в печати. Поэтому редактор, выполняя свои прямые обязанности, начинает заранее готовить читателей к вынесению обвинительного приговора. И чем гуще грязь, которой он обливает человека, у коего заткнут рот и связаны руки, тем эффективнее его журналистская деятельность. Не то, чтобы он был так уверен в безошибочности нашего правосудия, просто он уверен, что "на выпуск не сажают", как говорила одна простодушная узица тридцатых годов.

К тому же некоторые "покаянные" письма появляются отнюдь не в результате журналистской инициативы. Иные из них могут послужить не только психологической подготовке читателей, но и так называемой "юридической" подготовке процесса. Ну зачем, скажем, Петров-Агатов в своей слезнице мельком упоминает, что в Тарусе, где жил Гинзбург, произошло несколько краж старинных икон? Ведь он Петров-Агатов, не утверждает, что эти кражи совершил — или организовал — Гинзбург. Однако упоминание это сделано в контексте, вполне способном поощрить любого сидящего в Калужской или другой тюрьме рецидивиста, сделать соответ-

вующее заявление и дать соответствующие показания. Что его может удержать? Совесть?

Особенно характерно письмо Липавского ("Известия", 4 марта 1977 г.) Еще за неделю до опубликования этого письма автор его находился в самых близких, дружеских и теплых отношениях с Анатолием Щаранским, которого он теперь "разоблачает". В письме он пишет, что начал "более осмысленно и объективно разбираться в событиях". Когда именно начал разбираться? За неделю до написания письма? Немыслимо. Для сочинения, написания, отправки и комментирования этого детективного эссе — и месяца мало. Следовательно, Липавский *в течение длительного времени* действовал одновременно и как "диссидент", и как стукач, сочиняющий клеветнический донос на своих друзей. Такое совмещение не имеет другого имени, как *провокация*. Честный человек, убедившись, что ему не по пути с его бывшими друзьями, прямо объявляет им об этом и рвет с ними, а не продает их, служа и нашим, и вашим. Поэтому веры провокатору в любом случае быть не может. Будет ли Липавский выступать свидетелем обвинения против Щаранского, включают ли его в состав подсудимых в качестве очередного Добровольского или Якира, — он напишет, подпишет и скажет все, что угодно...

Не помешает ли это вынести приговор? И кто объяснит сегодняшнему читателю газет, что такое провокация, ложный донос и так называемое "чистосердечное раскаяние"? Мы-то, старые люди, все помним: и показания Радека, и обвинительные речи Вышинского, и знаменитую Лидию Тимашук, задолго до суда над врачами возведенную в "героини", а после реабилитации врачей исчезнувшую из памяти людей — и из жизни тоже.

В том-то и беда нашей страны, что из сознания следующих поколений запретом на мысль, как резинкой, стирается историческая память. А она необходима для понимания сегодняшнего дня.

Кто и где расскажет нынешнему двадцатилетнему или тридцатилетнему то, что знаем мы, старики? Чтобы *забыть*, или *не знать*, или *не помнить*, даже оруэловского переписывания прошлых газет не надо. Кто это роется в архивах, поднимает подшивки газет за десятки лет? Единицы, допущенные в архивы. А миллионы читают сегодняшнюю газету и смотрят сегодняшнюю телепередачу. И там ясно сказано, что шпионы, они же сионисты, уголовники и отщепенцы, — с одной стороны совершенно бессильные, а с другой чрезвычайно опасные, — с помощью иностранных агентов

пытаются подорвать нашу державу. И это вполне укладывается в воспитательный детектив.

Пусть это пишется по-газетному суконно, дешево, неубедительно, с фальшивым пафосом, с логическими неувязками. Но ведь ничего другого, противоположного, не пишется! Откуда же возникнуть сомнениям? Вот в связи с готовящимся 60-летием Октябрьской революции, по телевидению передается многосерийный фильм "Наша биография": каждому году посвящена передача. Сейчас идут тридцатые годы. Фильм "32-й": строительство новых заводов есть, первые тракторы — есть; голода на Украине — нет. Фильм "Год 37-й": перелет Чкалова есть; фальсифицированных процессов и массовых расстрелов — нет. То, что может наводить на неудобные ассоциации, просто вычеркнуто — из истории, из литературы, из кино, вообще отовсюду.

Мы помним, как менялась страна, мир, идеология, культура, социальные и людские взаимоотношения. Но мы скоро умрем. А серия "Наша биография" — фальсификация подлинной биографии страны — останется.

Сейчас в студиях телевидения идет, вероятно, подготовка к последней передаче — "Год 77-й". Это нынешний год, мы в нем живем, история продолжает вершиться на наших глазах. И одновременно создается ее спефическое "освещение": тут же, при нас, кипит похлебка, стряпается варево из показаний провокаторов, еврейских фамилий, какого-то таинственного К., каких-то инструкций, переданных Липавскому через "тайник" (зачем, если он чуть ли не ежедневно встречался со своими иностранными "приятелями"?) из старинных икон, сертификатов, и еще, и еще...

Что горит во мгле?

Что кипит в котле?

(А. С. Пушкин, "Наброски к "Фаусту").

Что сварится — посмотрим в обвинительном заключении. Но рецепт очень уж знакомый. По такому рецепту готовились и процессы 30-х годов, и дело Сланского, и дело врачей. Любителем таких острых блюд был, как известно, Сталин.

Выше уже говорилось, что сегодня, приготавливая дежурное блюдо, нельзя обойтись без такой специи, как уголовщина. Потому-то так щедро сыплются уголовные обвинения на тех, кто в чем-либо не согласен с властями.

Действительно ли они — уголовники, или уголовниками их нужно *изобразить*, так же как нужно изобразить шпионами?

Опять же оговорюсь: я — не юрист, не собираюсь заниматься юридической квалификацией деяний подследственных. Я — нормальный здоровый человек — пытаюсь сопоставить действительность с обвинениями, формулируемыми печатью.

Так Владимира Буковского наша пресса именует не иначе, как "уголовником, выдворенным за пределы СССР". И в этих пяти словах дважды лжет. Во-первых, не уголовник, а политический заключенный. Во-вторых, не "выдворен", а обменян на политического заключенного Чили, Генерального секретаря Чилийской коммунистической партии Луиса Корвалана. Об этом обмене знает весь мир — и только советская пресса не сказала о нем ни слова. Почему? Если сам факт такого обмена компрометирует СССР, зачем его произвели? Если он закономерен, почему его скрывают от советского народа?

Владимир Буковский был приговорен к 7 годам тюрьмы и 5 годам ссылки за то, что сообщил за границу факты о заключении в психиатрические тюрьмы людей, критиковавших действия правительственных органов. Отбывал он срок во Владимирской тюрьме по статьям 70 и 190¹ — статьям, явно противоречащим советской Конституции, но никаких уголовных деяний не предусматривающим. Ни шпионажа, ни валюты, ни насилия Буковскому даже не инкриминировали, а провокатор, пытавшийся всучить ему множительный аппарат, в этом деле не преуспел (впрочем, даже Николай П не считал печатание листовок уголовным преступлением). Однако, статьи 70 и 190¹ искусственно включены в Уголовный кодекс (ибо политических заключенных у нас, как известно, нет) — и на этом основаны истошные крики об "уголовнике Буковском".

Можно включать что угодно, куда угодно. Но этим не переислишь нормальный здоровый смысл. А этот нормальный здоровый смысл, как и общенародная — даже наднациональная — мораль, диктует такое понимание: уголовник — это тот, кто жестокостью, обманом или насилием, в своих низменных интересах, отнимает у других людей имущество, свободу и даже жизнь. Короче — уголовник это убийца, вор, грабитель, хулиган, насильник. Это понимают все. Любой честный человек, независимо от его взглядов, образования, национальности, поймет, что люди, подвергающие опасности только *свою* свободу, *свое* здоровье, *свою* жизнь, чтобы заступиться за других — беспомощных и беззащитных — никакие не уголовные преступники. И вообще не преступники.

Поймет-то каждый. Но чтобы понять, надо *знать правду*. А

откуда узнают ее миллионы людей, если запрещена любая информация, кроме официальной? Ведь за то и преследуют членов Хельсинкской группы, за то и арестуют их и обливают помоями клеветы, что они добиваются элементарных человеческих демократических прав, в том числе и права на свободу информации.

Действительно, страшные рецидивисты! Они хотят, чтобы в нашей стране каждый человек мог читать, писать, говорить и печатать то, что думает, ездить куда хочет, общаться с кем хочет и высказывать свое мнение — пусть и отрицательное — о тех или иных деяниях своего правительства.

Так кто же совершает преступление? Те, кто мирными средствами добивается свободы, или те, кто за это сажает честных людей в тюрьму?

* * *

Перебранка, которую затеяла с западной прессой советская печать по поводу нарушений прав человека, очень напоминает классическую базарную (когда-то ее называли "трамвайной") ругань типа: "Сам дурак!", "А еще шляпу надел!". Обвинения со стороны Запада наши газеты пытаются парировать рассказами о том, как нарушаются права человека в западных странах.

Да, конечно, нарушаются. Кто может это отрицать? Капитализм — достаточно жестокий строй, и не такая уж там "сладкая жизнь", как думают некоторые наши наивные люди.

Ну и что же?

Все контр-обвинения советской прессы, даже самые справедливые, самоуничтожаются тем фактом, что приводимые ею примеры взяты из американских, английских, французских, западно-германских и прочих газет. Да, в странах буржуазной демократии нетрудно обнаружить насилия и беззакония, творимые и судами, и полицией, и правительствами этих стран. Но нельзя обнаружить запрет на разоблачение их. Граждане и пресса этих стран, обладая свободой разномыслия, могут открыто и публично протестовать против этих беззаконий, даже если инициатором их является правительство.

А у нас ни таких прав, ни таких возможностей нет.

Есть такая восточная поговорка: "От того, что будешь кричать "рахат, рахат", во рту сладко не станет". От того, что будешь кричать "социализм, социализм" — справедливости не прибавится. Чтобы социализм стал действительно социализмом, он должен не отменить буржуазные свободы, а превзойти их.

А что получается?

Недавно "Правда" напечатала интервью корреспондента ТАСС в США с негром-священником Беном Чейвисом, осужденным расистским судом по ложному обвинению.

Беседа происходила в камере тюрьмы, где содержится заключенный Бен Чейвис, и тот подробно рассказал советскому корреспонденту о махинациях суда и властей штата и о своем — пока безрезультатном — письме президенту Картеру, опубликованном в американских газетах.

Не знаю, будет ли, когда и как будет пересмотрено дело Бена Чейвиса и всей "уилмингтонской десятки" — борцов за гражданские права негров. Но знаю, что *о несправедливости приговора можно говорить вслух и в печати*. И знаю, что у нас в тюрьмах и лагерях сидят многие незаконно осужденные борцы за гражданские права. А где об этом можно сказать?

"Эрика" берет четыре копии..." Для 250-миллионного народа этого, увы, недостаточно.

Ну давайте, ответьте на буржуазную пропаганду контр-пропагандой. Давайте, попробуйте: допустите, скажем, к Сергею Ковалеву в лагерный барак корреспондента "Ассошиэйтед пресс". Напечатайте в "Известиях" письмо Андрея Твердохлебова из якутской ссылки...

Как бы не так! Еще одиннадцать лет назад попытки говорить — не в печати, упаси боже! — о несправедливости приговора Синявскому и Даниэлю повлекли за собой новые увольнения, исключения, ссылки и аресты. А за эти одиннадцать лет мы далеко продвинулись к сталинскому идеалу.

И это тянется не годами, а десятилетиями.

2 апреля 1977 года "Правда" сообщила, что в Вашингтоне опубликован доклад специальной комиссии палаты представителей Конгресса по расследованию убийств Джона Кеннеди и Мартина Лютера Кинга. В докладе устанавливается связь убийц Кеннеди с ФБР и ЦРУ и убийц М.—Л. Кинга — с "ассоциацией бизнесменов".

Не торопится американская Фемида, явно не торопится! Со времени убийства Кеннеди прошло *четырнацать лет*, со времени убийства Мартина Лютера Кинга — немногим меньше. Правда, американцы не перестают следить за этими делами — и вот им публично сообщают факты, компрометирующие такие секретные правительственные учреждения, как ФБР и ЦРУ.

Но со времени другого "убийства века" — убийства С. М. Кирова — прошло *сорок три года!* Со времени XX съезда КПСС, создавшего комиссию по расследованию обстоятельств этого убийства, —

двадцать один год. Где эта комиссия? Что она расследовала? Что выяснила? Где можно прочесть об этом? Что известно советскому народу об этом убийстве, о его виновниках и инициаторе?

Нигде. Ничего.

Конечно, есть в нашей стране некоторое количество людей, которые *подозревают*, и еще меньшее количество людей, которые *знают*, что убийство Кирова, послужившее сигналом к массовым убийствам и провокациям, совершено органами НКВД (КГБ) по приказу Сталина. Но тех, кто знает, мало — и по законам возраста становится все меньше. Мало даже тех, кто помнит самый факт убийства (к примеру, автору данной статьи в 1934 году было *двадцать восемь лет*, сейчас — *семьдесят два*). А убийство Кирова было не единственным преступлением тех, на деяниях которых воспиталась историческая традиция, вскормившая сегодняшних ”поваров острых блюд”.

Подавляющее большинство советских граждан, даже инстинктивно остерегаясь самих поваров, понятия не имеют об этой исторической традиции. Потому что понятия не имеют о подлинной истории. И мы, пока мы живы, мы, знающие и помнящие, обязаны раскрывать им технологию лжи, технологию манипулирования общественным мнением. Ведь и нашим сознанием в свое время манипулировали — и мы обязаны рассказать *как*. Ведь и мы в свое время читали десятки таких обвинений, какие предъявляются сейчас... И все что полагается, там присутствовало — свидетели, документы, вещественные доказательства... И только много лет спустя, когда многие и многие невинные уже погибли, все это признали ложью. Поэтому мы особенно обязаны доказывать, что нельзя верить ни одному обвинению, которое запрещено публично опровергать.

* * *

Лишенные возможности апеллировать к общественному мнению своей страны, советские, чешские, польские и другие борцы за гражданские права вынуждены обращаться к общественному мнению других стран. И нет ничего удивительного в том, что западные круги очень широкого спектра — от государственных деятелей до еврокоммунистических партий — их поддерживают.

Причем тут вмешательство во внутренние дела? О чем идет речь? Об интервенции? Об ультиматуме? О ловле рыбы в чужих водах?

Вмешательство в дела другой державы может быть *военным* (из множества исторических примеров назову только войну США во Вьетнаме и оккупацию Чехословакии в 1968 году войсками Варшавского договора); *дипломатическим* (для примера - ультиматум лорда Керзона Советскому Союзу в 1923 году); *экономическим* (см. историю взаимоотношений США со многими латино-американскими странами). Но идейного "вмешательства" в дела другой страны не может быть по самому существу этого явления, *по определению*, как говорят ученые. Никакое международное право не запрещает гражданину одной страны выражать свое *мнение* по поводу дел в другой стране. Нас всегда учили, что в наших отношениях с капиталистическим миром обязательной и неотменимой является *идеологическая борьба*. Но всякая борьба предполагает как минимум две стороны. Так что же: когда мы пишем о "запрете на профессии" в ФРГ — это идеологическая борьба, а когда западно-германское радио сообщает об увольнении советских ученых за их разногласия с властями — это вмешательство в наши дела?

По какой логике?

А никакой логики и не нужно. Просто: наши критические высказывания о пороках и язвах капиталистического общества (которых достаточно и о которых свободно говорят и пишут противники капитализма на Западе) — это идеологическая борьба. А вот их критические высказывания о пороках и язвах нашего общества (которое нам запрещено называть иначе как социалистическим) — это вмешательство в наши внутренние дела. И тот, кто с такой логикой не согласен, — отщепенец и внутренний враг.

Я давно уже верю в мораль обычных людей больше, чем в мораль высокопоставленных государственных деятелей — к какому бы политическому лагерю они ни принадлежали. Я давно знаю, что за хорошими, чистыми и высокими словами могут скрываться корыстные, низменные интересы власти, господства, наживы. Знаю и то, что моральные соображения и личная выгода могут иногда очень удачно переплетаться.

Но какое мне дело, по каким мотивам иные западные деятели поддерживают А. Сахарова, В. Буковского, Ю. Орлова, А. Гинзбурга и других? Налицо факт: они поддерживают честных, смелых и благородных людей, борющихся за демократические и человеческие права граждан нашей страны.

Среди членов Хельсинкской группы и среди деятелей, которые их поддерживают, есть люди, взглядов которых я не разделяю. Но единственная надежда нашей страны — надежда на достижение

свободы высказывания различных, в том числе и противоположных, взглядов. Цели, которых добивались арестованные члены Хельсинкской группы и добиваются сейчас их друзья, включают в себя и свободу информации, и свободу совести, и свободу печати, и свободу выбирать себе место жительства, и всеобщую амнистию политзаключенных, и многое другое. Но среди этого многого другого нет ни наживы, ни насилия, ни личной выгоды. И поэтому — что бы ни написали в обвинительном заключении, судить членов Хельсинкской группы будут все-таки за защиту прав человека.

Март-апрель 1977 г.

P. S. Все это было написано прошлой весной, одиннадцать месяцев назад. С тех пор отпраздновали 60-летие Октябрьской революции и 70-летие Л. И. Брежнева, опубликовали проект новой Конституции и превратили его в Закон, с большой помпой (в доказательство расширения культурных связей с Западом) провели в Москве Международную выставку-продажу книги, до хрипоты наговорились в Белграде...

А Юрий Орлов, Александр Гинзбург и Анатолий Щаранский продолжают сидеть в тюрьме, в строгой изоляции (Орлов и Щаранский в Москве, в Лефортове, Гинзбург — в Калуге) — без адвокатов, без свиданий, без предъявления обвинений. Все сроки предварительного заключения давно прошли, но это как раз тот случай, о котором народная мудрость вещает: "Закон что дышло.." И поворачивают закон куда хотят! А бдительная прокуратура слепыми очами внимательно следит, чтобы Закон добросовестно нарушался.

И невдомек стряпающим это "дело", что чем больше они его затягивают, тем больше вылезает наружу, обнажается тенденциозность, предумышленность, недобросовестность обвинения.

В самом деле, возьмем "дело" Юрия Орлова. С самого начала было ясно, что ничего нельзя ему инкриминировать, кроме... Кроме рассылки главам правительств, подписавших Заключительный Акт (и, в первую очередь, — Советскому правительству), 19-ти документов, сообщающих о нарушении рядом советских государственных органов обязательств, подписанных в Хельсинки. Если судить его за эти документы, то ни года, ни девяти, ни даже трех месяцев не требуется. Разыскивать "вещественные доказательства" не надо: первые экземпляры всех документов аккуратно посылались в Верховный Совет СССР — и все в подшитом виде

давно хранятся где надо. Никакой тайны из своей деятельности члены Хельсинкской группы не делали.

Но судить за это не хочется. (И понятно: суду штата Северная Каролина тоже вольготнее было судить "уилмингтонскую десятку" за поджог лавки, а не за борьбу против расовой дискриминации). Во-первых, неудобно — особенно на фоне Белградского совещания — судить известного ученого за то, что он организовал содействие выполнению подписанных СССР международных обязательств. Во-вторых: объявить документы Хельсинкской группы клеветническими можно (все можно!), но *доказать* это при пристальном внимании международной общественности — доказать невозможно.

Стало быть, надо подыскать, найти, изобрести что-нибудь другое. Вот на что потребовался год (да, может, и его не хватит?). Вот уже год ищут, копают, вызывают на допросы десятки людей, в том числе и никогда не видевших Юрия Орлова, запугивают, запутывают... И к концу года объявляют родным: ага, мы нашли... Будем судить Орлова не по 190¹ статье, а по 70-й — срок вдвое больший...

А в чем, все-таки, вы его обвиняете?

Молчание.

Александр Гинзбург тоже не делал секрета из того, что он возглавлял Фонд помощи политзаключенным и их семьям. Об этом было объявлено всему миру, и в течение года с лишним в его адрес по легальным советским каналам шли деньги из-за границы.

Но опять же: перед лицом мирового общественного мнения трудно судить человека за то, что он организовал помощь голодным и преследуемым. Правда в свое время Сталин вовсе не постеснялся преследовать и судить за это самое старого революционера Д. Б. Рязанова. Но времена были проще. Сколько бы сегодня не кричала наша пресса о "вмешательстве", а что запросто делалось в 30-х годах, не звучит теперь. И, значит, надо замарать стойкого и бескорыстного человека уголовными обвинениями. А это, хоть "дело" и сопряжено с деньгами и имеет "на стреме" своих Петровых-Агатовых, не так просто, когда речь идет о человеке, известном своим бескорыстием и самоотверженностью. На все нужно время.

И Александр Гинзбург продолжает находиться в тюрьме более года. А обвинение ему все не предъявляют. Что-то с чем-то не компонуется.

Но больше всего хлопот доставляет нашей юстиции Анатолий

Щаранский. Точнее, она сама себе доставила эти хлопоты. Чуть ли не сразу после ареста всему миру (кроме собственной страны) было объявлено, что Щаранскому инкриминируется сотрудничество с ЦРУ, то-есть шпионаж. Тут на радостях было забыто все: и презумпция невиновности (то-то радовался бы А. Я. Вышинский!) – ведь, последственный еще не обвиняемый и, тем более, не осужденный; и то, что прежде чем объявлять, надо бы хоть для приличия оставить минимальное время на расследование. Нет, все было объявлено заранее. Но если вы все знали уже в момент ареста – что ж вы его не судите? Зачем держите одиннадцать месяцев в тюрьме?

Тут, видимо, действуют какие-то другие – антиюридические, сказала бы я, – факторы. И если есть тут "государственная тайна", то, мне думается, в действиях обвинителей ее куда больше, чем в действиях обвиняемого.

Однако нельзя сказать, чтобы за прошедший год повара острых блюд кое в чем не преуспели. Арестовано 11 членов Хельсинкских групп в различных республиках Советского Союза – двое из них, участник Отечественной войны писатель Руденко и учитель Тихий уже осуждены на максимальные сроки заключения. А из членов Московской группы по наблюдению за выполнением Хельсинкских соглашений – трое в тюрьме, двое в ссылке, трое вынуждены были уехать за рубеж.

Так что кое-чего "блюстителю порядка" добились. Только двух, самых главных своих целей они не в силах достичь: чтобы им поверило мировое общественное мнение и чтобы прекратилась в стране борьба за демократизацию, за права человека.

Не стоит пытаться предрешать вопрос о том, как будут проводиться процессы (или процесс?) Орлова, Гинзбурга, Щаранского. Но об одном обстоятельстве сказать надо.

Известно, что зарубежных адвокатов, которые берутся их защищать, к ним не допускают, а тех, кого им могут назначить, они, вероятно, сами не захотят. Напомним, кстати, что в 1922 году, в период ожесточенной классовой борьбы в Советской России, на процесс эсеров в качестве защитников приехали из-за границы ярые противники большевиков, деятели II Интернационала – Эмиль Вандервельде и другие. Если через 60 лет после Октябрьской революции руководители советского правосудия боятся допустить на процесс Орлова, Гинзбурга и Щаранского иностранных адвокатов, то это нельзя рассматривать иначе, как убедительное доказательство шаткости позиции обвинения. Тем более, что, в отличие

от подсудимых на процесс эсеров, сегодняшние обвиняемые выступают не как политические противники данной власти, а как сторонники выполнения ею своих обязательств.

Почему бы участникам Белградской встречи не предложить Советскому Союзу и Соединенным Штатам Америки обменяться адвокатами? Почему бы не пересмотреть дело "уилмингтонской десятки" с участием советских адвокатов, а дело Гинзбурга, Орлова и Щаранского – слушать с участием американских, английских и других желающих адвокатов? И печатать в ведущих газетах стенографические отчеты судебных заседаний (как, хотя бы, при слушании дела Бейлиса)? И пускать на эти заседания всякого, кто захочет?

Почему политическими заключенными обмениваться можно, а адвокатами – нельзя? Может быть, это послужило бы делу разрядки, делу гуманизма больше, чем заседания любых комиссий и подкомиссий.

Только вот те, от кого зависит ход событий, считают, вероятно, такое мероприятие "неконституционным". Ведь в их власти решать, что "соответствует" интересам строительства социализма, а что "не соответствует".

Февраль 1978 г.

КО ВСЕМ ГРАЖДАНАМ НАШЕЙ СТРАНЫ, КО ВСЕМ ЧЕСТНЫМ ЛЮДЯМ ЗА РУБЕЖОМ

Нас возмущает многое, но удивить нас уже ничем нельзя. И все-таки даже на этом фоне всеобщего, тайного и явного произвола выделяется сообщение о том, как лишили родины Петра Григорьевича Григоренко.

Семидесятилетний человек, дважды платившийся психиатрической тюрьмой за свою гражданскую доблесть и любовь к людям, захотел выехать на полгода в другую страну – чтобы повидаться с сыном и пройти курс лечения. Ему могли отказать, как отказывают большинству, тем более, что никакими репрессиями его не удалось запугать: несмотря на свой возраст и болезни, П. Г. Григоренко был активнейшим членом Хельсинкской группы.

Но с ним поступили иначе – его попросту обманули. В любом цивилизованном государстве он, конечно, мог бы купить билет на самолет или поезд – и поехать. У нас, разумеется потребовались

разрешение и виза. И - о, гуманность – разрешение и виза были получены – *в самый разгар Белградского совещания*. А через три с небольшим месяца после отъезда Григоренко Белградское совещание закончилось. И чуть ли не на другой день после этого (еще не все делегаты успели разъехаться) был объявлен Указ Президиума Верховного Совета о лишении Петра Григорьевича Григоренко советского гражданства. И тем самым лишить его возможности вернуться на родину!

В первый раз побоялись судить Петра Григоренко, и власти объявили его сумасшедшим. Ныне, испытывая тот же страх перед правдой, перед ним закрывают границу. И при этом еще предьявляют обвинение в подрыве престижа государства! Да кто может подрывать престиж государства более успешно, чем те, кто издает такие Указы?

Эти люди думают, что человек, исключенный из Союза писателей, перестает быть писателем. Что ученый перестает быть ученым, когда у него отберут звание, а герой теряет мужество, когда у него отберут ордена. Что человек, которого лишают паспорта, лишается чувства гражданства. Они не понимают, что только люди, не имеющие убеждений и чести, теряют все, когда они лишаются бумажек, свидетельствующих об их званиях, чинах и орденах.

Они лишили Петра Григоренко, сына украинского крестьянина, коммуниста, генерала и профессора, всех бумажек. Они отняли у него партийный билет, генеральское и профессорское звания, пенсию, а теперь и советский паспорт. Но не в их силах вычеркнуть из биографии Петра Григоренко кровь, пролитую в двух войнах за родину; его боевые и трудовые подвиги; его смелое выступление на партийной конференции в 1961 году в защиту крестьян от произвола (за это он впервые попал в психиатричку); его мужественную борьбу за возвращение крымских татар на родную землю (за это его терзали в психиатрической тюрьме *пять лет*). И не в их власти изгладить из нашей памяти и из истории облик подлинного ГРАЖДАНИНА нашей родины ПЕТРА ГРИГОРЬЕВИЧА ГРИГОРЕНКО, отбросившего как ненужный хлам все свои привилегии, чтобы помочь другим – угнетенным и обездоленным – добиваться своих человеческих и гражданских прав.

Он ни о чем не жалел и ничего не боялся. И, поняв это, они решили отнять у него единственное достояние, которым он дорожил – родину. Они украли у старого человека землю, на которой он вырос, воздух, которым дышал, природу, язык, песни, людей – весь народ, и особо – родных и близких. Именно украли – испод-

тишка, не осмеливаясь предъявить какие-либо обвинения.

Да и какие обвинения могли они ему предъявить? Знаток военного дела, генерал Григоренко не устраивал заговоров, не создавал подпольных армий. Его единственным оружием было слово – и этим словом он призывал не к восстаниям, а к справедливости и законности. И это СЛОВО семидесятилетнего человека звучало так страшно для мощного государства, что оно не постыдилось пойти на низкопробный обман, чтобы избавиться от него.

Выступая на пресс-конференции в Нью-Йорке, Петр Григорьевич потребовал от советского правительства дать ему возможность вернуться на родину и выразил готовность предстать перед судом. Но если бы такой суд состоялся – мы сочли бы честью выступить на нем плечом к плечу с мужественнейшим гражданином нашей страны – Петром Григорьевичем Григоренко.

Мы призываем всех соотечественников, всех честных и мыслящих людей мира требовать от Советского правительства:

ВЕРНИТЕ РОДИНУ ПЕТРУ ГРИГОРЕНКО!

**АЛЕКСАНДР ЛАВУТ
ТАТЬЯНА ВЕЛИКАНОВА
Л. ТЕРНОВСКИЙ
СОФЬЯ КАЛЛИСТРАТОВА
ВИКТОР НЕКИПЕЛОВ
РАИСА ЛЕРТ
АЛЕКСАНДР ЗИНОВЬЕВ
ВЛАДИМИР СЛЕПАК
ЕЛЕНА КОСТЕРИНА
ВЯЧЕСЛАВ БАХМИН
ЕЛЕНА БОНЭР
А. ШАЙ
гражданин США – СТОЛЯР
А. ПОДРАБИНЕК
ЕФИМ ПЕРГАМАНИК
ВИКТОР БРАЙЛОВСКИЙ
ИДА МИЛЬГРОМ-ШАРАНСКАЯ
ЮРИЙ ГРИММ
ТАТЬЯНА ОСИПОВА
МУСТАФА ДЖЕМИЛЕВ
РЕШАТ ДЖЕМИЛЕВ**

ИРИНА ВАЛИТОВА-ОРЛОВА
НАУМ МЕЙМАН
НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВА
ИДА НУДЕЛЬ
ВЛАДЛЕН ПАВЛЕНКОВ
СВЕТЛАНА ПАВЛЕНКОВА
МИХАИЛ КУКОБАКА
ТАТЬЯНА ЛАВУТ
ВИКТОР ЕЛИСТРАТОВ
ВАШЕВА ЕЛИСТРАТОВА
ЛЕОНИД ШАРАНСКИЙ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ
ЛЕВ УЛАНОВСКИЙ
ИРАИДА ШАРАНСКАЯ
А. ИВАНЧЕНКО
АДАЛЬ НАЙДЕНОВА
ИРИНА ЖОЛКОВСКАЯ-ГИНЗБУРГ
ЮЛИЙ КОМАРОВСКИЙ
ВЛАДИМИР СКВИРСКИЙ
ДМИТРИЙ СТАРИКОВ
ИОСИФ ЗИСЕЛЬС
ВЛАДИМИР ГЕРШУНИ
РОМАС ГЕДРА
ПЕТР СТАРЧИК
НАТАЛЬЯ ВАРШАВСКАЯ
ЮРИЙ ГОЛЬДФАНД
ПЕТР ЕГИДЕС
о. ДМИТРИЙ (ДУДКО)
ВЕРА СЕРЕБРОВА
ОКСАНА МЕШКО
ЮРИЙ ЯРЫМ-АГАЕВ
АЛЕКСАНДР ХАРНАС
СОНИЯ ГРИММ
НАТАЛЬЯ ДУЛЬКИНА
ИОСИФ ДУЛЬКИН
РУФЬ БОННЭР
ВЯЧЕСЛАВ РОДИОНОВ

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО МИКОЛЫ РУДЕНКО

Граждане судьи!

Сегодня перед судом стоит Слово. Припоминаете? Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все из Него начало быть и без Него ничто не начало быть, что начало быть.

Так начинается Евангелие от Иоанна...

Как бы мы не опровергали идеализм, а все же остается истинной: человек появился тогда, когда на земном шаре появилось Слово. Нет Слова – нет человека.

Говорят, человека создал труд. Но трудятся и бобры – валят деревья, строят плотины. Выводить человека из труда – это все равно, что выводить его из Природы. Ошибки здесь нет, но нет также полной истины.

Можно возразить: труд бобров не осмысленный, а в истоке человеческого труда стоит Мысль. Да, это верно. Но ведь Мысль и Слово – это фактически то же самое, ибо мы, как известно, мыслим с помощью слов. Следовательно, хотим мы или не хотим, а должны признать: человек происходит от Слова. Еще можно сказать и так: Слово нашло себя в Человеке. Оно, Слово, инструмент самой Вселенной. Это есть Логос – то есть, знание Вселенной о самой себе. Вселенная не просто живет – она должна знать, как и

ради чего живет. Живет ради того, чтобы мыслить. Мыслит она себя при помощи Слова. Мыслит себя в Человеке...

Отсюда вытекает, что вам, граждане судьи, сегодня приходится судить Вселенную. И никак не меньше! Вам ее приходится судить за то, что она Словом своим поселилась в Человеке.

Именно это имелось в виду, когда философы и юристы работали над текстом Всеобщей Декларации Прав Человека. Вселенная не знает никаких границ. Значит слово человеческое также не должно быть ограниченным. Оно должно свободно идти через границы сердец, душ, государств – иначе перестанет быть Словом. Сегодня, чтобы как-то ощущать свое преимущество над временами библейскими, люди изобрели термин "информация". Но что такое информация – материя или не материя? Нет, не материя. А раз не материя, значит Логос. Но ведь та информация, которая не вышла из человеческой головы – наружу – не есть информация. Она умрет вместе с человеком. Слово самоуничтожается – оно не способно пробить физическую оболочку Человека, чтобы исполнить свое предназначение. Следовательно, человек, который от страха или по другой причине замораживает Слово в себе, фактически не живет.

Земной шар можно сравнить с Космическим Мозгом, люди в нем – нейроны. Активность жизни этого мозга зависит от того, с какой мерой свободы люди общаются между собой – то есть обмениваются Словом, информацией. Для оценки общества – прогрессивное оно или регрессивное – существует единая мера: свобода слова, свобода информации. Другой меры быть не может, ибо речь идет не о муравейнике, где труд также высоко почитаем – речь идет о человеческом обществе. А человеческое общество – это слово. Или, как сказал Алексей Тихий, который сидит рядом со мной: "Язык народа – народ!" Это великие слова, святые слова!..

Свыше трех месяцев меня допрашивали – и ежедневно подполковники КГБ вдалбливали мне в голову вот эту истину: у нас за убеждения не судят – у нас судят за действия. Но что такое действие писателя, действие философа? Я говорю о себе и Тихом. Тихий – философ не только по диплому Московского университета. Он философ по всему составу своей жизни. А это значительно труднее, чем быть философом по диплому. Стало быть я спрашиваю: что такое наши действия?..

Наши действия – это изъяснение своих убеждений. Наши действия – это Слово. И ничего более! Такие действия называются

очень просто: быть Человеком. Не насекомым, не бессловесной черепахой, а Человеком. Чтобы стать Человеком, нужно не только мыслить, но и изъяслять свои мысли, иначе человек ничем не будет отличаться от черепахи.

Именно потому ст. 19 Всеобщей Декларации Прав Человека, которую я процитирую по памяти, сформулирована так:

Каждый человек имеет право на убеждения и свободное изъяснение их. Сюда входит право искать, получать и распространять информацию любыми способами и независимо от государственных границ.

Декларация узаконена подписью нашего Правительства. Значит она должна быть законом и для нашего общества.

Теперь, граждане судьи, прошу обратить внимание вот на что: из нескольких тысяч страниц моих произведений, которые следствием оценены как особо опасное государственное преступление, лишь 200 или 300 страниц я показывал друзьям. Все остальные произведения – поэзия, проза, философия – это мой писательский архив. Работники КГБ ворвались в мою квартиру, конфисковали архив и объявили его государственным преступлением. В чем же заключается это преступление? В том, что я не в состоянии мыслить иначе, чем с помощью пера. В данном случае слово даже не было изъяснено – никто этих произведений не видел, не читал, не знает. Архив есть архив. Тогда в чем же заключается преступное действие? На каком основании эти произведения попали в обвинительное заключение?.. Значит вы, граждане судьи, судите не меня – вы судите Вселенную. Насколько это целесообразно, я не знаю. Но знаю, что это именно так. Вы судите Вселенную за то, что она такая как есть, а не такая, какой хочет видеть ее КГБ.

Там, в КГБ, можно услышать и такое: ваше действие заключается в клевете на советский общественный строй. Но посмотрите: в документах, которые я изготовлял, проходит около 100 политзаключенных. Что касается конкретных фактов, то тут следственные органы не предъявили мне никаких претензий. Тогда в чем именно заключается клевета, если факты верны?

Я считал и считаю, что эти люди осуждены незаконно. Они осуждены за то, что утверждали: в нашей стране отсутствует демократия. Эти их утверждения квалифицированы не как убеждения, а как действия. Вооруженные бюрократы, пытаюсь доказать, что демократия существует, бросили их за колючую проволоку.

Я говорю: уважаемые граждане, таким способом невозможно доказать существование демократии. Наоборот, это лишний раз

подтверждает ее отсутствие. Тогда вслед за людьми, чьи права я защищал, арестовали и меня. Мои слова также квалифицируются не как убеждения, а как действие, направленное на подрыв Советской власти.

Где же здесь действие – в чем оно заключается? Лишь в одном: в изъятии моих убеждений. В том, что я сказал: у нас нарушается Всеобщая Декларация Прав Человека. Ведь она, Декларация Прав, предусматривает свободное, неограниченное изъятие убеждений – независимо от государственных границ! Так разве же эти аресты, которые ничем, кроме кагебистской софистики, не мотивированы, подтверждают громкие утверждения, что Декларация не нарушается? Даже ребенку понятно: наоборот – подтверждают ее нарушение...

Кто же здесь настоящий преступник? Преступник тот, кто пытается отнять естественное право человека: свободно, неограниченно мыслить, свободно и неограниченно изъяслять свои мысли. Именно это и есть святое право быть Человеком. А без этого права быть Человеком вообще невозможно.

Самой большой нетерпимостью к слову отличался русский царь Николай I, который за эту свою нетерпимость приобрел позорное прозвание Палкин. И все же Николай Палкин наказал тогда еще неизвестного поэта Лермонтова лишь тем, что сослал его из Петербурга в действующую армию на Кавказ. Но ведь Лермонтов был царским офицером – что ж это для него за наказание? Фактически его не было. А вспомните, как Лермонтов чернит "палачей, жадную толпой стоящих у трона". Он угрожает им будущим судом – судом беспощадным, от которого никто из них не спасется. Его предсказание сбылось на Николае II.

В России поэт всегда был пророком. Пророком его делали сами коронованные деспоты. Они создавали пророков с помощью тюрем и ссылок. Их ограниченный ум не позволял понять: ничто так не расшатывает деспотизм, как тюрьма. То, что предназначалось для охраны деспотизма, со всей неизбежностью превращалось в его могилу. Это можно считать законом истории.

Нет, я не считаю, что в моих суждениях нет ошибок. Но я не ошибаюсь в главном: никакого преступления против Советской власти я не совершил. Все, что я делал, было направлено не против Советской власти, а против бюрократических извращений нашего государства. Что такие извращения существуют – это мое глубокое убеждение. Я приобрел его от Ленина. В предыдущей речи я подробно это объяснял, повторяться не буду. Все мои слова, все мое

гражданское пристрастие направлены на устранение этих извращений. Стало быть, мои произведения и мои выступления направлены не на подрыв, а на укрепление Советской власти. И если в этом случае Слово стало действием, то я счастлив тем, что позволил себе его высказать.

**ГРУППА СОДЕЙСТВИЯ
ВЫПОЛНЕНИЮ ХЕЛЬСИНКСКИХ
СОГЛАШЕНИЙ В СССР**

27 апреля 1978 г.

№ 48

**ДЕСЯТЬ ЛЕТ
"ХРОНИКЕ ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ"**

Движение за права человека в СССР сформировалось более десяти лет назад под влиянием и в непосредственной связи с важнейшими и внутренними и внешними событиями того времени. Одним из важнейших факторов в формировании этого движения стало основание информационного издания "Хроника текущих событий". Первый номер вышел 30 апреля 1968 года. На титульном листе его, так же как и во всех последующих номерах, так же, как и теперь, — текст статьи 19 Всеобщей Декларации Прав Человека "Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ". Десять лет существования "Хроники текущих событий" — это десять лет борьбы за гласность, с нетерпимостью и несправедливостью нашего общества, борьбы за его открытость, демократизацию и общую гуманизацию. Все эти годы и по сей день публикации "Хроники" являются наиболее объективными, полными и точным отражением фактов нарушения прав человека в СССР. Они широко исполь-

зуются как в СССР, так и за рубежом при защите прав человека. В частности, "Эмнисти интернейшнл" регулярно публикует "Хронику текущих событий" на английском и других языках и широко использует ее материалы в своей деятельности по защите политических заключенных.

Все эти годы "Хроника" героически противостоит репрессиям и провокациям властей, неся тяжелейшие потери — преследуются редакторы, издатели, те, кто собирает материалы для "Хроники", те, кто ее распространяет и ее читатели. Одни из них сегодня в лагерях, другие были вынуждены эмигрировать, третьи продолжают свой ответственный, самоотверженный труд. И невозможно переоценить благородное воспитывающее значение "Хроники текущих событий" для всех участников правозащитного движения и бесчисленных читателей в СССР и за рубежом.

**ЕЛЕНА БОННЭР, СОФЬЯ КАЛЛИСТРАТОВА,
МАЛЬВА ЛАНДА, НАУМ МЕЙМАН,
ВИКТОР НЕКИПЕЛОВ, ТАТЬЯНА ОСИПОВА,
ВЛАДИМИР СЛЕПАК.**

ДЖОРДЖ ХЕЙФЕР

ПЕРЕВОДЫ С РУССКОГО

(Рецензия на книги Роберта Кайзера и Хендрика Смита "Россия", "Русские", пер. с английского; из журнала "Nautilus", июнь, 1976 г. печатается в сокращении).

Роберт Кайзер ("Вашингтон Пост") и Хендрик Смит ("Нью-Йорк Таймс"), чьи книги о России были опубликованы почти одновременно, жили в Москве с 1971 по 1974 год, в большинстве случаев пользуясь — до известной степени вынужденно — одними и теми же источниками информации, в силу то ли своих профессиональных интересов, то ли все той же вынужденности собирая сходные материалы и освещая близкие друг другу темы, с 1971 по 1974 год были свидетелями местного монолитного искусства и в своих поездках сопровождалась "хвостами", на редкость схожими между собой. Частичное дублирование оказалось неизбежным — неизбежность для многих, пишущих в России и о России — тем не менее обе книги во многом, от описания фабрик и до статистики разводов, дополняют друг друга.

Следует напомнить, что именно Кайзер и Смит были первыми западными корреспондентами, взявшими интервью у Солженицына, и о царском высокомерии этого писателя, которое много и легко обсуждается сейчас, они заговорили еще в 1972 году. Солженицын рисуется на страницах их книг не только яростным критиком Политбюро, но и человеком, являющимся неотъемлемой частью всей системы произвольной власти русского образца, систе-

мы, принимаемой и власть имущими и большинством подвластных. Охотно признавая литературное дарование Солженицына и весомость его разоблачений системы, оба автора между тем с некоторым скепсисом относятся к его дару предвидения.

В своих наблюдениях Кайзер и Смит пришли к выводу, что в отношении большинства русских к сталинизму (если не считать тех, кто мечтает о сильной руке Вождя) преобладает не протест или покаяние, а скорее желание забыть, отмахнуться от прошлого. Русские, по их мнению, не склонны конфликтовать с нынешними, не столь суровыми, как в недавнем прошлом, властями, и активной жажде каких-либо перемен предпочитают исподволь "надуть" начальство и обманывать систему, урывая от нее свой "кусочек". В какой-то мере, этот народ имеет достойное его правительство.

Оба автора склонны к мысли, что государственные институты русских, играющие роль церберов при правах и свободах, кроме этой, быть может основной своей миссии, предназначены, в сущности, лишь для того, чтобы всемерно ухудшать материальную жизнь людей и в конечном итоге превратить потенциально богатую нацию в бедную. Тиски дефицита, простота, но не от какой-то особой экономической гениальности, а от убожества, серое смирение длинных очередей — заставляют многих, практически каждого тратить все свое время на погоню за суррогатами, заменяющими недоступные блага цивилизации.

Патологическая недееспособность, обман, бессмысленная растрата средств, отчуждение, грязь и водка — все эти понятия придется вводить, по мере возможности научно, в экономическую теорию, когда речь идет о русской экономике, которая только варварской эксплуатацией ресурсов выполняет свою едва ли не самую главную цель: держать Запад в состоянии заблуждения и страха, и уж тут — пианисты-призеры, супер-танки, те или иные частные победы, очередность которых определяется государством. План, этот способ самим себе набрасывать на шею веревку, но подаваемый научным социализмом как инструмент распределения, свыше 40% всех средств выделяет на военные нужды. Управляющие этим грозным инструментом стоят на вершине византийской кастовой пирамиды. Кухни Вестингауза и другие привилегии надежно спрятаны за потайными дверями спецмагазинов, охраняются от простых смертных заборами вокруг особняков и скромными, но отнюдь не проницаемыми занавесками в лимузинах, от которых казакообразные полицейские с неизменной победоносностью отваживают

всякое излишнее любопытство. Гигантская бюрократия, отягощенная соответствующими атрибутами (такими, например, как "инициатива наказуема"), контролирует все легальные средства производства, обслуживание, искусство и напоминает армию, смысл существования которой – не сиюминутные, сегодняшние заботы, а приготовления к завтрашней войне. Партийные боссы, чье благоговение и ненависть к Западу порождает комплекс неполноценности у всех русских, нескончаемо хвастаются советским превосходством.

Они, даже отказавшись от идеологии "победы над загнивающим Западом" (на которой вскормлены), как пробу сил рассматривают всякие взаимоотношения с "чужаком". Западники, увлеченные теорией конвергенции, и бизнесмены, полагающие, что торговля ее ускорит, знают так же мало об этих лимузинных и позазаборных людях, как и о русской истории. Кучка русских, борющихся за либерализацию, не склонна к подобным иллюзиям. Полумиллионная армия КГБ всегда готова разделаться с горсткой диссидентов, оставшейся на свободе после разгрома "Демократического Движения", с самого начала неправильно интерпретированного западной прессой.

Фактически, мало кто из русских недоволен или возмущен происходящим, так что вмешательства тайной полиции зачастую и не требуется. Быть может, когда-либо по какой-либо непредсказуемой причине огромное здание Совдепа рухнет, но пока русские неосознанно верят во все, что им говорится, или, в лучшем случае, вера удобно переплетается с безразличием. С раннего детства они привыкают жить в состоянии раздвоения между общественным и личным. Атмосфера чарующей откровенности, открытости и тепла присуща русскому дому, вне его – цинизм и лицемерие. На восемь часов русский становится автоматом, выполняющим требуемые движения и произносящим разрешенные звуки на политических мероприятиях.

Вот почему инженеры и издатели, рабски выполняющие грязную работу в рамках режима, не всегда заслуживают того презрения, с которым к ним относятся борцы за свободу. Именно дихотомия между общественным и личным помогает карьеристу ужиться с самим собой.

Для того, чтобы выложить перьями свои частные гнездышки, русские не брезгают красть или иным образом отторгать от Плана материальные ценности: черный рынок, куда поступает все "отторгнутое", составляет, по всей видимости, до 10% от Плана. Но льви-

ная доля радостей русской жизни — от воспитания детей до собирания грибов и поэзии для ящика письменного стола — не материальна. Под панцирем авторитарности русские восхитительно безалаберны.

Важнейшим элементом, проясняющим отношение русских к жизни и собственной стране, является общение в узком семейно-дружеском кругу (недоступном человеку Запада), без которого не обходятся и диссиденты. И в глубине души почти каждый из них надеется, что социализм в конце концов переродится в некую безопасную разновидность капитализма. Идеология мертва, всеобщее политическое безразличие висит над страной подобно февральскому облачку. Единственно неподдельный энтузиазм вызывают западные рок-ленты, приобретенные на сером рынке (помесь между "черным" и "белым", разрешенным, рынком), или партия венгерских плащей, купля-продажа которых весьма напоминает битву. Даже пара Левис (джинсовый костюм фирмы Левис) не вызывает в душе какого-нибудь врача и малейшего ропота, хотя ему приходится выкладывать за нее свой трехнедельный заработок. Советская молодежь, явно тяготеющая к западным благам, между тем с отвращением, по крайней мере с опаской относится к свободному предпринимательству, производящему их. Свобода выбора собственных политических или экономических решений вызывает скорее страх перед неудачей, безработицей, смутой, чем тягу к ней. Ужас перед возможным социальным хаосом настолько силен, насколько это возможно у человека, пропитанного анархией до мозга костей.

Таким образом, несмотря на все жалобы своих подданных, "советский режим достигает цели. Почти все русские принимают его руководство и живут в соответствии с нормами, обычаями и критериями успеха, которые он санкционирует". Структура политического мышления уходит корнями в патриотизм Земли Русской, который настолько велик, что попросту ошеломляет несведущего человека. Вид советского еврея, рыдающего по земле своих гонений, находится, право, за пределами всякого понимания. Но и солидный трактат о русском пейзаже или о психологии русской души вряд ли поможет нам объяснить причины мистической любви к России.

Такова картина жизни современной России, представленная книгами Смита и Кайзера. Сказать, что, живя в России в течение многих лет, я отмечал пункт за пунктом все вышеизложенное, значит лишний раз подчеркнуть достоверность рецензируемых работ.

Важнейшим достижением я считаю также снятие покрывающей загадочности с России, жизненное, трезвое и осознанное ее описание. Превращение эры журналистики о России кончается. Наконец-то иссякает потенциал загадочности этой страны, способный генерировать лишь эмоции среди ее американских сторонников и противников. Теперь совершенно очевидно, что никогда не была она ни революционной, ни социалистической, и мало чему может научить нас, кроме того, что подобных методов и подобной демагогии следует избегать; становится совершенно излишним в чем-либо извиняться, защищать эту страну или выступать с предупреждениями. Время беспристрастного изучения наступило. После разбитых мечтаний и иллюзий возникает законное любопытство, ранее ими подавляемое. Благодаря этому Россия, изображенная Смитом и Кайзером, надолго сохранится в памяти американцев. Испытываешь некоторое облегчение, некое разжатие от имевших прежде место сомнений и мук, читая откровенные, ничем не приукрашенные отчеты талантливых и признанных журналистов, но именно их авторитетность и вынуждает меня укорять авторов за упущенное. Да, русская жизнь в общем такова, каковой они ее описали: но в то время как американцы пытаются разобрать ее по винтикам, они упускают ту ее составляющую, в которой есть что-то от полной эмоций и фантастики нерациональности. Угол охвата книг Смита и Кайзера во всем — от строительства гигантских предприятий до уловок, которые использует интеллигенция во имя сохранения своего достоинства -- широк, но не обладает достаточной глубиной. Они не объясняют, к примеру, почему в этой стране почти не встретишь человека, страдающего неврозом. Уже стало банальным отмечать, что частный вечер с русскими, даже если они занимаются при этом какой-либо грязной работой, куда непринужденней, честней и откровенней, чем с их западными антиподами. Это не чудо, и этому есть объяснение.

Отбрасывая заезженную мудрость о характерном сходстве между непринужденными американцами и непринужденными русскими, Кайзер и Смит определяют и основные несоответствия в отношении: к работе (русские против нее), к власти (ее русские не только принимают, но при случае и сами не прочь воспользоваться преимуществами диктаторского режима), к природе человека (русские видят в ней только пороки, что отличает их склонности от наших). Но никто не отмечает особенно важное сходство, подчеркивающие эти различия. Оба народа внутренне религиозны в

том смысле, что их жизнь наполнена стремлением к некоей высшей цели. Здесь я имею в виду не присутствие в разговорах постоянной темы о деньгах или о социализме, что отличает русских и американцев, скажем, от англичан, а существование мечты и связанных с ней иллюзий, духовных поисков, всякого рода жертв. Что и говорить, проникновение в глубь подобных явлений задача невероятной сложности. Парадокс заключается в том, что в погоне за достоверностью Кайзер и Смит нередко теряют ощущение атмосферы русской жизни, ее настроение. Чем больше прилежности, добросовестности, точности в их репортажах, тем меньше вырисовывается подлинное лицо России, тем больше и разрыв между сутью происходящего в этом загадочном королевстве и тем, что угадывает читатель.

Покидая Россию, вы испытываете смешанные чувства любви и ненависти к доброму и злему началу в ее жизни, ностальгию по русским пейзажам и отвращение к довлеющему надо всем бюрократическому духу, воспоминания о теплых дружеских пирушках и тяжести утреннего похмелья. Уезжая из России, вы чувствуете, что эта страна стала для вас более близкой, чем когда-либо прежде.

Остается только надеяться, что в свое время современный де-Тускевиль проряснит для нас истоки "русского опыта". Пока же знаменитые романисты XIX века остаются для нас лучшим источником для постижения русской души, пока великие русские писатели — лучшие репортеры. И без их творений Россию можно описать, но не понять.

Послесловие переводчика

Знакомясь с данной статьей, я встретил место, в котором автор указывает, что по книгам Кайзера и Смита американцы будут в течение многих лет судить о России. В связи с этим я решил более внимательно прочесть ее, следствием чего и явились некоторые замечания и размышления.

Почему обе книги так похожи друг на друга и рецензент (кстати, коллега корреспондентов) солидарен с их наблюдениями и выводами? Сообщается, что авторы работали в одинаково нелегких условиях и информацию черпали из одних и тех же источников. Не секрет, что власти всячески препятствуют передвижению корреспондентов, заботятся, чтобы в поездках вокруг них создавался вакуум, навязывают свое крайне тенденциозное освещение событий. Знакомства, не запланированные свыше, в основном из мос-

ковской среды, и, разумеется, самую значительную долю информации, расходящейся с официальной, поставляют диссиденты. Я не сомневаюсь в честности авторов. Но одинаковая ограниченность их условий работы ведет к сходной ограниченности их наблюдений и выводов. Московский быт — не типичный показатель жизни нашей страны, как Нью-Йорк не типичен для США. Никакая груда информации не заменит собственные глаза, уши и личный опыт. Таким образом, возможность дать полноценную и всестороннюю оценку происходящего в нашей стране весьма ограничена. Что не может не беспокоить каждого здравомыслящего человека.

Авторам, пишущим о нас, я горячо порекомендовал бы такой выход: пожить среди нас жизнью обычного человека без всяких привилегий — его работой, условиями и заботами. Как говорится, похлебать с нами из одного котелка.

Может быть, с благой помощью рекомендуемого метода, приобретя необходимый опыт, они лучше и ближе поняли бы многострадального Александра Исаевича. Во всяком случае, не думаю, что и тогда бы суждения авторов так поражали бы своим единством.

К сожалению, сегодня это невыполнимо — по известным причинам — да и не уверен, что при случае многие решились бы на подобную жертву. Видимо, ограниченность и односторонность опыта иностранцев привели к некоторой штампованности их суждений о нашей стране. И фактор этот крайне вреден. Штампы литературные приводят к штампам мышления. В частности, данная статья изобилует такими словами как "Россия", "русские", "Москва", "Кремль". Подобные оплошности — а я считаю нужным назвать их именно оплошностями — сияют даже в заглавиях рецензируемых книг. А ведь речь идет о всей стране, Советский же Союз — не только "русские". Мы многонациональная страна, и каждая нация имеет свою культуру, свои традиции; одни попали под общее ярмо раньше, другие позже. Соответственно, влияние их прежнего образа жизни различно на одни и те же факторы (система, сталинизм, партия и другие явления, описанные в статье Д. Хейфера). И некоторые важные события, способные изменить лицо всей страны и отношения в мире, соответственно, не будут вовремя замечены, так как глаза зарубежных аналитиков традиционно прикованы к району "Кремля".

Д. Хейфер укоряет Х. Смита и Д. Кайзера за неспособность понять русского человека, но и сам, между тем, погрязает в штампованных рассуждениях о русской душе, мистицизме, пейзажах

и классических романах. Это тоже результат однобокости опыта. Факты, столь прилежно собранные авторами книг, сами улеглись в два аршинные слова: "Рабский комплекс". Комплекс этот — естественное следствие тысячелетней рабовладельческой системы (у русских и некоторых других народов), официально отмененной чуть более ста лет тому назад. Срок, в масштабах истории, сравнимый со вчерашним днем. В каждом из нас все еще сидит раб, победить которого немногим сегодня достаёт сил и мужества.

Раб не способен жить без хозяина, надсмотрщика, жить своим умом. В обмен на труд он получает не только плетку, но и гарантированный кров, удовлетворительную пищу и другие подачки — при условии хорошего поведения. А самое главное, не надо ломать себе голову о конкуренции, проблеме работы и завтрашнем дне. За раба обо всем думает хозяин.

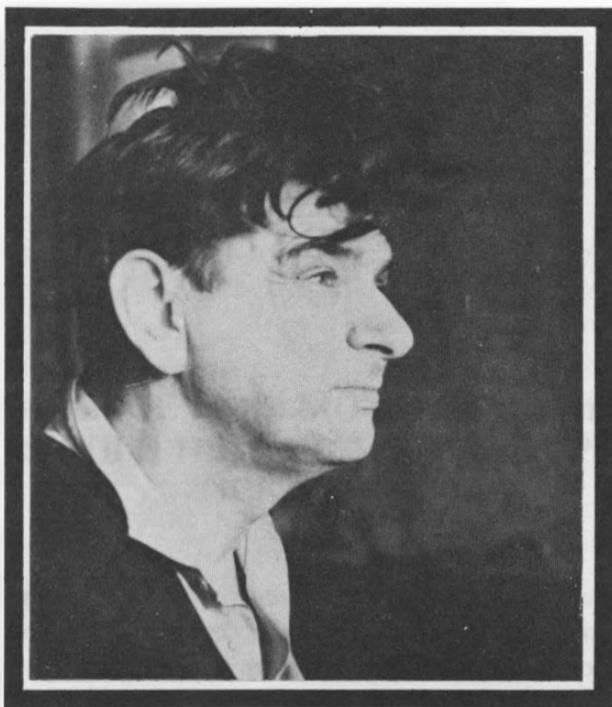
Отмена официального рабства, некоторая либерализация тогдашнего общества позволили взрастить кадры диссидентов (здесь присутствует аналогия с официальным концом сталинизма), оказавшимися способными в удобный момент пробить плотину прежнего режима. Но не построить новое подлинно демократическое общество. Не из чего было строить. Диссиденты были чужеродным телом в массе рабов. И освободителей уничтожили.

Джеферсон сказал: "Каждый народ достоин своего правительства и своих порядков". Не господь посылает нам руководство. Новые хозяева вышли из народа, и мы, хоть и пассивно, но поддерживаем их. Так что власть у нас — самая что ни на есть народная. Только от этого не легче.

Пока вырастет новая культурная прослойка, пройдет немало времени. А выживет ли она — зависит от остального мира. Необходима постоянная поддержка и защита всеми средствами свободного мира.

Возвращаясь к Д. Хейферу, я замечу, что мрачный тон его статьи не очень способствует этому. Но несмотря на перечисленные недостатки, подобные книги о нас, хоть и не будучи адресованы нам, представляют, я думаю, несомненный интерес в первую очередь именно для нас. Взгляд со стороны, не скованный нашими предрассудками, способен выявить многое, что не замечаем мы. Быть может, заставит испытать чувство стыда.

Р. В.



ЮРИЙ ДОМБРОВСКИЙ

29 мая 1978 года скончался талантливый русский писатель Юрий Осипович Домбровский, автор романов «Хранитель древностей», «Факультет ненужных вещей», стихотворений, рассказов.

Говорят: жизнь Мастера всегда трагична. Но как часто в России, помимо внутренней трагедии, трагедии изначальной, от Бога, настоящий художник должен нести крест тяжелых жизненных испытаний. Юрий Осипович — бывший узник сталинских лагерей смерти. Трагична и его писательская судьба: лучшие произведения Ю. Домбровского опубликованы на Западе, но здесь, у нас, в нашей стране, эти произведения остались недоступными для миллионов его соотечественников. Писать «остались» сегодня больно и трудно. Но смерть подвела черту под этим последним приговором (скольким художникам России был вынесен этот приговор!): при жизни быть заживо погребенным.

До последнего дня, несмотря на тяжелую болезнь, он продолжал работать. В ближайшем номере нашего журнала будет опубликован рассказ Юрия Домбровского, переданный нам писателем незадолго до смерти...

Редколлегия

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ КИТАЙСКОГО НЕЗАВИСИМОГО ЖУРНАЛА «ИСКАНИЯ»

Все редакторы и сотрудники неофициального московского журнала "Поиски" сегодня потрясены невероятным приговором Пекинского суда вашему главному редактору, достойному Вэй Цин шэну: 15 лет тюрьмы.

Вместе с большинством наших читателей, мы приветствовали начало китайского демократического "Самиздата", главным событием которого стал выходящий в Пекине независимый журнал "Искания". Возникшие почти одновременно в двух настолько разных мирах, как советский и китайский, оба журнала не случайно несут одно имя. Искания, поиски – это наш отказ пассивно следовать катастрофическому развитию событий в своей стране, символ недоверия к любым постулатам, угрожающим человеческой жизни, знак открытости новым решениям и идеям.

Мы уверены, что Китай, встав на путь общественной и технологической модернизации, нуждается сегодня в новых решениях так же, как наша страна, его сосед. Обе страны не могут существовать далее в надменной изоляции от экономических, социальных и духовных завоеваний человечества Запада и Востока, пробавляясь поверхностными и недалекими переделками и подражаниями. Но возвращение наших народов в состав человечества затрудняется тяжким внутренним наследством.

Провозглашая мир и сотрудничество, со всеми странами мира, СССР и Китай остаются странами с растущей внутривнутриполитической напряженностью. Обе страны некогда резко порвали со старыми традициями, и обе, как выяснилось впоследствии, оказались под

конец в моральнополитическом тупике, не сумев обеспечить никому обещанных всем гуманных, демократических и братских условий существования. Итак, утрачены прежние начала — и не обретенны более свободные новые. Идеологический догматизм, национальная спесь, казарменный образ жизни привел к равно разрушительным последствиям в СССР и в Китае. Моральная дисциплина общества подменяется принудительно государственной, внешней. Насилие либо применяют открыто, либо приветствуют, как легкое средство избавления от всех зол и от тех, кто о них напоминает. Старые преступления осуждены формально и вскользь, а преступники продолжают пользоваться почетом, занимая важные посты. Нет общего согласия даже в том, что считать преступлением, а чем стоит гордиться.

В двух странах, где проживает треть человечества и сосредоточена половина всех орудий уничтожения, сегодня отсутствуют простейшие условия гражданского мира. С одной стороны — самоуправная власть, с другой — разные группы и классы в самом народе находятся в состоянии ежедневной "холодной войны". Такое положение в истории наших стран не раз переходило в ужасные беспорядки и репрессии с миллионами жертв. Оттого демократии Запада не доверяют нашей воле к разрядке, пока носителем ее остается бесконтрольная власть, оттого они приветствуют советско-китайские распри, одинаково боясь при этом усиления любого из них. Оттого страны "третьего мира" часто ненавидят и презирают нас, несмотря на немалую им помощь — зная, что она равнодушна к их трудному развитию и диктуется геополитическим своекорыстием наших правительств.

Поэтому ни в чем так не нуждаются сегодня народы нашей страны, народ Китая, как в познании самих себя — обогащении и в обуздании себя этим знанием. Наш журнал стоит за международный диалог и приветствует требование китайского демократического движения — разрядки между СССР и Китаем. Но для этого, в дополнение к дипломатическому диалогу правительств, нам необходим и народный, демократический диалог — детант изнутри. Во времена, когда мир сохраняется только равновесием военных сил у сверхдержав, надо требовать, чтобы и внутри общества ни одна партия или другая группа не стягивали всей государственной мощи в одни руки, создавая опасный перевес власти над личностью. Демократизация власти, начинающаяся с демократизации общества — сегодня не лозунг какой-то партии, а первое условие внутри-

политической разрядки, без которой у Китая, как и у нашей Родины нет будущего.

Ни один народ сегодня не вправе безнаказанно ставить под вопрос право другого народа на его своеобразные ценности — и ни у кого нет исключительных ценностей, во имя которых стоило бы подвергнуть смертельному риску чужую жизнь и идеалы. Напротив, любая попытка силы посягнуть на соседей, используя их слабость и даже недостатки, призывает каждого из нас к срочному вмешательству.

Наши журналы вносят свой вклад в утверждение этого нового мирового порядка. Отстаивая свободу мысли от идеологической цензуры и человека от властей, вместе с тем мы отстаиваем достоинство всякой мысли, даже нам чужой — от шельмования ее со стороны других традиций. Всемирная этика сосуществования и согласия, этика диалога так вводится нами в среду реальной общественной жизни.

Мужественная деятельность Вэй Цин-шэна в качестве главного редактора неофициального демократического журнала "Искания", вызывает наше восхищение и с моральной, и с профессиональной журналистской точки зрения. Разоблачив систему китайских тюрем, наш коллега Вэй заложил основы для народного расследования тайных средств нагнетения страха в интересах власти. Такой же процесс в нашей стране привел к ослаблению этой инерции страха, установил связь узников совести с большим миром и не дал власти раздавить их бесследно в глухих лагерях и тюрьмах.

Выступая в защиту демократии против однопартийной системы, Вэй Цин-шэн указал на коренное зло политической системы, одинаковое у Китая с СССР. Такая система бессильна, когда надо выслушать общество и учесть весь спектр его интересов; она бессильна и вовремя дать отпор возникающим в недрах власти экстремистским группам.

Особый гнев этих теневых правящих групп вызвало вторжение гласности в "святая святых" — в секреты великодержавной внешней политики. Как сообщалось, Вэй осужден за огласку числа жертв вьетнамо-китайского конфликта — то есть, за трезвое упоминание о той цене, которую народы наших стран, именующих себя социалистическими, платят за бессмысленное соперничество своих государственных аппаратов.

Сегодня почти все народы "социалистической" Евразии — СССР, Китая, Вьетнама, Лаоса, Кампучии — втянуты в приготовления к междоусобным войнам. Никто не поручится, что их однопартийные

системы, завтра не станут вновь легкой добычей аппаратных узурпаторов, для которых война — удобный выход из внутренних трудностей. Судьба Вэй Цин-шэна, как и упорное, тупое преследование московскими властями нашего свободного журнала "Поиски", доказывают близость и мстительность этих сил — но и ту реальную им угрозу, какую представляет наше с вами открытое искание новых путей для своих народов.

Мы приветствуем главного редактора вашего, одноименного и близкого нам духом журнала — Вэй Цин-шэна, заложника китайской демократии, заложника всемирной разрядки Запада и Востока — и надеемся, что наше приветствие все-таки дойдет к нему поверх тюремных и всех прочих стен. Мы особо предостерегаем Запад от двойного счета в игре на советско-китайских противоречиях — ценой пренебрежения к защите таких людей, как Вэй Цин-шэн, отстаивающих внутри Китая интересы всего человечества.

Редакция свободного московского журнала "Поиски"
16 октября 1979 г., Москва

РЕПРЕССИИ ПРОТИВ ЖУРНАЛА «ПОИСКИ»

Журнал "ПОИСКИ" выходит в самиздате уже второй год. Наконец его содержание стало доступно и русскоязычному читателю на Западе. Будем надеяться, что отраженным эхом он вновь вернется в Россию и будет искать взаимопонимание. Закрывая последнюю страницу журнала хотелось бы, чтобы каждый читатель помнил о тех, кто стоит за журналом: его редакторах, авторах, распространителях и читателях, которые каждый день и каждую секунду рискуют своей свободой и жизнью за право ПОИСКОВ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ между людьми.

В январе 1979 года КГБ предприняло массивную попытку разгрома журнала, производя повальные обыски и изымая не только рукописи, но и чистую бумагу и пишущие машинки — единственное средство размножения журнала. По делу о журнале было открыто специальное дело, по стандартному обвинению в клевете. Дело поручено следователю Ю. Бурцеву, человеку не только не разбирающемуся в литературе, но даже неспособного толком сформулировать собственную мысль. Единственная "метода" следователя — это хамство и грубость, показанная во время допросов, в частности допроса С. Сорокиной.

29 мая на станции метро "Беляево" был схвачен и без объяс-

нения причин обыскан член редколлегии журнала Виктор Сокирко. После чего у него на квартире произведен ночной обыск, во время которого был подвергнут личному обыску один из авторов "Поисков" – Глеб Павловский. Позднее за Павловским постоянно следовали "неизвестные", угрожавшие ему "случайным" падением под поезд.

Средства грубого давления стали все шире практиковаться КГБ. Следователь Бурцев угрожал превратить члена редколлегии Валерия Абрамкина в заложника, если журнал не прекратит свое существование. Был арестован на 15 суток "за мелкое хулиганство" другой член редколлегии – Юрий Гримм. Угрожают арестом другим редакторам и сотрудникам журнала. Сотрудники журнала получают, явно инспирированные КГБ, письма с анонимными угрозами. Наконец неназванные официальные инстанции уведомили редакцию, что выход журнала будет прекращен *"не прибегая к суду"*. Эта угроза звучит особенно зловеще в свете загадочных и нераскрытых убийств целого ряда борцов за гражданские права. Наиболее зловещим из таких убийств было повешение умершего под пытками украинского композитора Владимира Ивасюка.

Но журнал выходит. Ибо люди, преодолевшие страх, непобедимы. Это давно следовало бы понять его гонителям. Хочется пожелать журналу дальнейших успешных ПОИСКОВ.

Издательство "ДЕТИНЕЦ".

КНИГИ НА СКЛАДЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ДЕТИНЕЦ»

Петр ГРИГОРЕНКО «МЫСЛИ СУМАСШЕДШЕГО»

1973, Амстердам, Фонд им. Герцена, 330 стр.

Книга содержит избранные произведения П. Григоренко, написанные им между 1965 и 1969 годами, включая его знаменитую работу о Второй Мировой войне, переведенную на целый ряд иностранных языков.

Мягкая обложка \$10

Петр ГРИГОРЕНКО «СБОРНИК СТАТЕЙ»

1977, Нью Йорк, «Хроника», 121 стр.

Сборник содержит избранные произведения Петра Григоренко, написанные им между 1975 и 1977 годами.

Мягкая обложка \$6

Петр ГРИГОРЕНКО «НАШИ БУДНИ»

1978, «Соучасність», 117 стр.

Рассказ о том, как фабрикуются уголовные дела на советских граждан, выступающих в защиту прав человека.

Мягкая обложка \$5

Андрей ГРИГОРЕНКО «А КОГДА МЫ ВЕРНЕМСЯ...»

1977, Нью Йорк, Фонд «КРЫМ», 210 стр.

Литературный портрет Мустафы Джемилева — одного из самых ярких представителей Движения за права человека в СССР, лидера Движения крымских татар за репатриацию. Книга содержит ряд уникальных фотографий и указатель имен.

Мягкая обложка \$7.50

Заказы направлять по адресу:

Andrew P. Grigorenko

43-30 48 St. # D1, L. I. C., N. Y. 11104. USA

Пересылка за счет заказчика.

КНИГИ НА СКЛАДЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ДЕТИНЕЦ»

Сергей МЮГЕ «ВНЕ ИГРЫ»

1979, Издательство ЧМО, 153 стр.

«В этом ощущении страшного как смешного, в этом открытии смешной природы страшного, по-моему, и заключается секрет обаяния этой книги. Приятно сопереживать человеку, который не теряет внутренней свободы в обстоятельствах, специально придуманных для того, чтоб люди ее теряли».

Наум КОРЖАВИН. Из предисловия к книге.

Мягкая обложка

\$5

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС В СССР. Сборник документов. Составитель *Роман КУПЧИНСКИЙ*.

Сучасність, 1975, 440 стр.

Сборник документов самиздата, освещающих проблематику нерусских народов СССР. Художественная обложка, перечень имен.

Мягкая обложка

\$7

Твердая обложка

\$9

СВОБОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ ЖУРНАЛ «ПОИСКИ» — единственный «толстый» журнал самиздата.

В журнале публикуются лучшие силы неофициальной культуры России.

Цена одного выпуска

\$12

Заказы направлять по адресу:

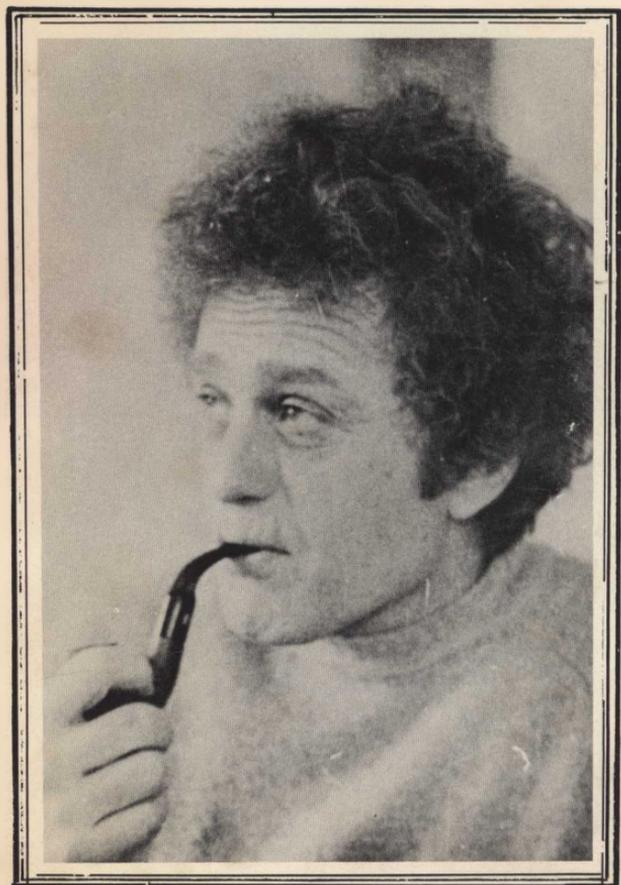
Andrew P. Grigorenko

43-30 48 St. # D1, L. I. C., N. Y. 11104. USA

Пересылка за счет заказчика.

Обложка работы худ. Льва МАКСИМОВА

Посвящается,
**ЮРИЮ ФЕДОРОВИЧУ
ОРЛОВУ**



**В дни суда, над которым завершалась работа
над первым номером нашего журнала.**